

УКРАИНА!

МЫ С ТОБОЙ В ТВОЕЙ БОРЬБЕ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



3 (23) 2022

ВРЕМЕНА

Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Выпуск 3 (23) 2022

Бостон
2022

ВРЕМЕНА

*Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Давид Гай

VREMENA

*International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary*

EDITOR-IN-CHIEF: David Guy

Published by **M•GRAPHICS | Boston, MA**

ISSN 2575-9558

Copyright © 2022 by M•GRAPHICS

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except for brief quotations in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

For any information about obtaining permission to reproduce selections from this publication, email or call to the publisher: mgraphics.books@gmail.com / 781-990-8778 or editor-in-chief: guydavid094@gmail.com / 646-270-9615.

Printed in the U.S.A.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
ВЛАДИМИР БАТШЕВ	(Германия)
МАРК ВЕЙЦМАН	(Израиль)
СЕМЁН КАМИНСКИЙ	(США)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(Англия)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
СЕМЁН РЕЗНИК	(США)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Дорогие читатели!

Продолжается подписка на журнал на 2022 год (4 номера).
Для получения всех номеров выпишите чек / money-order
на сумму **70 долларов** (почтовые расходы по США включены)
на имя компании-издателя: **M•GRAPHICS**

Вложите чек/money-order в конверт и отправьте по адресу:

Mr. David Guy 97-07 63th Road, Apt. 11H Rego Park, NY 11374

Телефон для справок: **646-270-9615**. Спасибо!

Вы также можете оформить подписку на нашем вебсайте:

vremena.mgraphics-books.com/subscription

Наши зарубежные читатели теперь имеют возможность оформить
подписку на журнал на нашем сайте с онлайн-оплатой:

vremena.mgraphics-books.com/subscription

Стоимость подписки на год для зарубежных читателей (включая
доставку журнала в любую страну мира) — **US \$80**

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК

Галина ИЦКОВИЧ

24 ФЕВРАЛЯ И ДАЛЕЕ... 8

ПРОЗА

Михаил ГОНЧАРОВ

НОВЕЛЛЫ 60

Майк ЛОГИНОВ

ЭЛИКСИР ДЛЯ ИЗБРАННЫХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 91

Елена ДУБРОВИНА

ДВА РАССКАЗА 131

Элина СВЕНЦИЦКАЯ

РАССКАЗЫ 178

Валерий БОЧКОВ

ЧЕРВИ-КОЗЫРИ 189

Иван ГОБЗЕВ

КАК МЕНЯ РАЗВЕЛИ 218

ПОЭЗИЯ

АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ... 39

Раиса МЕЛЬНИКОВА 80

Марк ПОЛЫХОВСКИЙ 147

Михаил КОВСАН 158

Виктор ФЕТ 239

Александр ЦАРОВЦЕВ	267
Алекс ЩЕГЛОВИТОВ.	274

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Игорь РЫМАРУК <i>ВЕЧНАЯ ЗАГАДКА ТАЛАНТА</i>	168
--	-----

СУДЬБЫ

Валерий БАЗАРОВ <i>В ГОСТЯХ У ПАУКА</i>	224
--	-----

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Татьяна РАЗУМОВСКАЯ <i>ЧУДЕСА И РЕАЛИИ</i>	248
---	-----

Раиса СИЛЬВЕР <i>САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ</i>	259
---	-----

ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ

Семен РЕЗНИК <i>ЭСЕРЫ В РОЛИ ЗАЛОЖНИКОВ</i>	282
--	-----

ПЕРЕВОДЫ

Стефано БЕННИ <i>СКАЗКА О КОНЦЕ СВЕТА</i>	297
--	-----

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ

Виктор ДАЛЬСКИЙ <i>БРЕДНИ КОРОНАВИРУСНОГО ПЕРИОДА</i>	300
--	-----

ДОРОГИЕ ПОДПИСЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА

Сотрудникам редакции и издательства М•Graphics, готовящим журнал к публикации и печати, всегда важно знать, что о журнале думают его читатели, нравятся ли им публикуемые материалы и их подбор, а также оформление журнала.

Ваши отзывы о публикуемых материалах помогут другим читателям обратить внимание на те публикации, которые они по каким-то причинам пропустили и, возможно, послужат начальным толчком в написании своих отзывов на острые полемические материалы.

Мы приветствуем ваши пожелания и замечания, направленные на улучшение журнала, на расширение диапазона публикуемых материалов, а также на улучшение нашего сайта и присутствия журнала в интернете.

Пишите нам — все приходящие в редакцию и издательство пожелания и замечания внимательно изучаются, отзывы о публикуемых материалах будут помещаться в последующих выпусках журнала и на нашем веб-сайте для всеобщего ознакомления. Не забудьте указать ваше имя, город (штат) и страну вашего проживания.

Мы также просим вас сообщать нам о всех случаях неполучения или поздней доставки журнала. К сожалению работа почтовой службы оставляет желать лучшего, но мы принимаем все доступные нам меры по исключению таких досадных сбоев.

Ждем ваших писем!

**<https://vremena.mgraphics-books.com/contact-editor>
<https://vremena.mgraphics-books.com/contact-publisher>**

ПОЗДРАВЛЯЕМ! **ВЛАДИМИРУ БАТШЕВУ — 75**

*Дорогой Владимир Семенович!
От всей души поздравляем с замечательной датой!*



Издатель, писатель, поэт, сценарист, вы вносите, без преувеличения, огромный вклад в развитие литературы русского Зарубежья. Уже почти четверть века благодаря вашим усилиям в Германии выходит ежемесячный журнал «Литературный европеец», а с 2004 года — ежеквартальный «толстый» журнал «Мосты». Оба издания, свободные от уничижительной российской цензуры, стали родным домом для литераторов-эмигрантов, живущих во многих странах.

Известны ваша бескомпромиссность, следование высоким моральным императивам, отличный литературный вкус. Подвижник, человек невероятной активности и страстности, моментально чувствующий тлетворный дух Кремля — так вкратце можно вас охарактеризовать.

Ваше творчество и издательские усилия высоко ценятся читателями. Особого разговора заслуживают четырехтомная эпопея, посвященная генералу Власову, эссе о Галиче, уникальный пятитомник «100 лет русской зарубежной прозы». Среди более чем 30 книг, принадлежащих вашему перу, — известные романы «Потомок Вирсавии», «Французский поток», «1948» и другие.

Желаем вам, дорогой друг и коллега, здоровья и такой же неуемной энергии в служении Литературе.

Редакционный совет журнала «ВРЕМЕНА»

Галина ИЦКОВИЧ

24 ФЕВРАЛЯ И ДАЛЕЕ...

Военный дневник психотерапевта, иллюстрированный свидетельствами украинских беженцев

Для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки.

Эдмунд Берк

ОТ РЕДАКЦИИ

Этот текст весь на одном нерве, на адреналине, пронизан эмоциями: переживаниями, болью, страданиями, надеждами, стремлением оказать максимальную помощь попавшим в беду. Собственно, другим он и не мог быть. Автор дневника описала свои ощущения от первых двух месяцев вторжения России в Украину. Судя по всему, таких месяцев — ужаса, горя, потерь, трагедий, повседневного мужества, душевной отваги, самопожертвования — будет еще немало. И потому так ценны свидетельства этих первых 60 дней войны...

Некоторые свидетельства даны в переводе с украинского языка на русский

ДЕНЬ 1

Началось. Стоя перед телевизором, звоню из Нью-Йорка подруге юности в Одессу:

— Ты слышишь что-нибудь?!

— Слышу, конечно. А что ваши говорят?

— Наши говорят: на рейде стоят русские корабли (потом не подтвердилось, фейков в этой войне будет предостаточно).



Пока я стою и смотрю на освещенный Софиевский собор на телеэкране, точь-в-точь вид с балкона моего апарта-отеля в 2015-м, на телефон приходит е-мэйл от Марты П.: «Галина, есть что-нибудь в написанном виде по эвакуации? Советы психолога?». Мы с ней планировали встречу с волонтерами-психологами, но решили отложить — Марта только на днях заболела ковидом. Вот, дооткладывались...

Е-мэйл в Калифорнию, моему неизменному соратнику по украинским проектам Джошу Ф.: «Вы, конечно, видели новости... Так вот, украинским коллегам срочно необходимы материалы для подготовки детей раннего возраста к отделению от родителей, ну, может, еще первая психологическая помощь детям дошкольного возраста с повышенной тревожностью. У вас случайно нет чего-нибудь под рукой?»

В три ночи приходит ответ: «Последней об этом писала Анна Фрейд... или не писала, но размышляла о детях, отделенных от родителей в ходе войны. Я поищу».

Так, значит, надо самой. Надо что-то сказать самой, люди же ждут.

ДЕНЬ 1-2

Пока я кое-как спала, война набрала обороты. А у меня обычный, довольно-таки загруженный день впереди. Не смотреть новости и работать? Или поддаться голосу в моей голове, стучащему: «Все пропало, все равно все пропало, все неважно, это конец-конец-конец цивилизации»? Отключив панику, начинаю рабочий день: выбрасываю на Фейсбук краткое руководство для родителей, гибрид старой статьи, написанной в помощь бывшей моей ученице-россиянке после школьного расстрела в Подмосковье, и идей, продуманных во сне; потом работаю, применив к себе советы из моей же инструкции.

Звонок от корреспондента «Вашингтон Пост»: *«Ваше имя выходит в Гугле в связи с украинской психотерапией. Вы можете дать комментарий по поводу психического состояния в Украине?»* Какое там психическое состояние? Судя по звонкам и текстам, по звяканью всей девайсов — паническое. Но я сама ко второй половине дня онемела достаточно для того, чтобы механически отвечать и двигаться, модулировать голосом и через силу изображать адекват.

Выводит из себя соображение интервьюерши о том, что у американцев и у самих сейчас психологических проблем полон рот, после

ковида и в связи с инфляцией. Хотя, возможно, она просто меня решила спровоцировать и получить лучший материал. Я действительно разъярилась: эта война втянет всех нас, всю планету, это и есть та самая третья мировая, за какие иллюзии не цепляйся, какая бы позиция «над схваткой» ни казалась безопасной нам всем.

ДЕНЬ 3

Подождите, как там мои киевские коллеги? Начинаю прозванивать, предлагая... что предлагая? Не знаю, просто протягивая руки со своими бумажками жалкими: как вести себя при обстреле, говорить ли ребенку о том, что идет война...

30 тыс. человек пересекло границу с Молдовой. Вот он, гуманитарный кризис.

ДЕНЬ 4

Долбанула меня эта война прямо в gut. Кишки наружу. Легче, когда делаешь что-то. Я продолжаю бег на адреналине, втянула кучу народу в помощь беженцам. Увидев мои фейсбучные статьи в помощь мирным жителям, позвонила Сесилия Б., бывший директор института, где я преподаю:

— Я готова помочь! С кем связать, кого привлечь? Как жаль, что не говорю на украинском языке! Как я хотела бы поддержать людей, проходящих через этот ужас!

И связала, и привлекла: группа организаций раннего развития приняла меня в ListServ. Я им отправила список переводчиков, собранный наспех из моих литературных друзей на Фейсбуке, и список психотерапевтов, собранный из друзей, друзей моих друзей и фейсбучных же групп, а они мне — первые переведенные на украинский методички для родителей и специалистов — никчемные вроде бумажки, отблески нормальности, отблески цивилизованной жизни с инструкциями по применению. Именно так цивилизованный обитатель двадцать первого века справляется с житейскими задачами: гуглит и находит ответ, а то и звонит психотерапевту. Это помогает опуститься в кипяток кризиса. Смягчает удар.

ДЕНЬ 5

Понедельник принёс беседу с тётенькой из UNISEF. Она мягка и внимательна, спрашивает и вникает, подолгу молчит. Нет, похо-

же, мир не готов к войне и нескончаемому потоку беженцев с экзотическими проблемами: куда девать рожениц? Детей с особенностями развития и их родителей? Где расселять животных и их владельцев? Нам нечего пока сказать. Мы свяжемся, как только организации начнут предлагать помощь.

Европа не готова принимать жертв гуманитарного кризиса невиданного масштаба. Для моего поколения и младше — невиданного.

ДЕНЬ 6

Сегодня самое страшное — нашли и потеряли на поле боя новорожденных близнецов. Как это было? Поступил крик о помощи от коллеги, уроженки Харькова (знакомиться некогда, но с ней нас виртуально познакомили вчера, я хотя бы знаю, что она психиатр в Вашингтоне): кто-то из земляков просит помочь, найти, куда нести новорождённых близнецов, извлеченных из заваленного убежища. Эти дети, рожденные, очевидно, 1 марта (кто принимал роды? не отец ли?), были извлечены вместе с мёртвыми взрослыми. Пока координировалась с моей новой соратницей из программы при UNICEF («передайте им использовать методику «кенгуру», «будем искать, кто ещё остался в Харькове, но это очень сложно»), пришло ещё одно сообщение: «Из-за активного боя в этом районе медсестра больше не может добраться до того места, где оставили детей».

Реветь надо быстро, потому что в Мессенджере чей-то крик о помощи: «Вы выставили пост о том, что Сохнут вывозит людей. Они заберут лежащую?» Откуда я знаю? — но теперь придется узнавать, звонить по мною же перепощенным телефонам и договариваться... Нет, там глухо. Звоню по личному своему каналу. «А кто Вам, Галина, эта женщина?»

Я часто слышу эту фразу. Как будто это еще имеет значение. Главное — спасти. Хотя как-то удержать норму человечности в этой войне (Через неделю оказывается, что женщину эту действительно вывезли по моей наводке).

ДЕНЬ 7

Поэт и просто хороший человек Алена Тайх скоростно умерла в благополучной Германии над новостями из разбомбленного Харькова.

ДЕНЬ 9

Адреналин, наш друг и учитель, принимает решения и подпитывает действия. Я сама не знаю, что делаю. Каждое объявление-перепост влечет за собой звяканье Мессенджера, просьбы о помощи от незнакомцев: «Помогите вывезти женщину с поломанной ногой», «Есть волонтеры в Сумах?!» «Винницкая детская больница осталась без воды и продуктов!» Обилие восклицательных знаков, крики, крики... А я вдруг чувствую рези в животе. Нешуточные. Нет, это не гастрит и не желудочный грипп. Это острый стресс. Кто мне виноват, не надо брать на себя... притворяться, что знаешь хоть что-то... смешная итерация синдрома самозванца. Да, я самозванец на этой войне, от меня только проблемы. Не додумав ни одной из этих мыслей до конца, продолжаю бег.

ДЕНЬ 11

Андрей К., с которым я встречалась в Одессе, написал только что в Фейсбуке, что его дом разбомбили. Погибла кошка, люди, дети уцелели вроде. Но что делает с человеческой психикой это внезапное исчезновение дома, вещей и фотографий, воспоминаний и всей истории...

ДЕНЬ 12

Разговор с Мартой П.: во Львов сбежалась и съехала чуть ли не вся восточная Украина. На вокзале люди стоят по часу в очереди, чтобы войти на 10 минут в помещение и согреться. Туалетов не хватает. Чистые, прозрачные детки с рюкзачками, парализованные и прикованные к инвалидным коляскам старики, раненые шрапнелью, контуженные, обездвиженные страхом сидят и лежат на скамьях, на полу, на столах, под столами... Что будет?

— Чем помочь?

— Спасибо, что поговорили, мы тут тоже уже выгораем, выдерживают люди (волонтеры) по несколько часов, не дольше.

ДЕНЬ 13

Вот и ещё один день войны. Потом будет не вспомнить, чем они отличались друг от друга, но сегодняшней оказался гораздо спокойней всех без исключения предыдущих. Руки если не холодные, то хотя бы не в огне... Несколько устроенных судеб, вытащенных из пламени, как каштаны.

Обещание 12-ти комнат для будущих беженцев от болгарской нашей застройщицы, а в нашу квартиру направляется внучка моей подруги А., не одна, конечно, а с мамой, теткой и прабабушкой (в скобках: прабабушка успела уехать из Красноселки, и сразу же там бомбили).

Ура! — нашлась машина с медикаментами из Польши для моего контакта на львовском вокзале; и как признание моих заслуг, принятие меня в фейсбучную группу «Друзья Украины». Организация семинара для киевских мамочек. Чужими руками жар загребая, то есть оркеструю всю эту музыку. Вчера переведённые на украинский методички одобрили. Ещё что-то? Нет, вроде все за день. Послезавтра ещё одно интервью, завтра ещё один перевод... Но не успеваешь почувствовать удовлетворение (какое может быть удовлетворение? Разве что сверхъестественное ощущение собственного всемогущества), Путин опять пуляет по моим живым своим мёртвым грузом...

ДЕНЬ 15

Встала в 5.04 — позвонила тетя из Одессы. Дескать, мы просыпаемся до рассвета, так почему бы и вам не помучиться. Просила денег, хотя надо бы думать об эвакуации. Ещё день, ну два, и Одессу могут тоже сровнять, как Мариуполь (новости посмотрела только сейчас, их нельзя смотреть, чтобы можно было работать).

К восьми перевела новое, антивоенное стихотворение Влады И.: кто-то пытается запустить ролик, нужны англ. субтитры. Поэзия — это тоже важно, но сейчас, когда рядом течет настоящая кровь, наши литературные игры кажутся детством.

Продолжение с корреспонденткой «Вашингтон пост» — я решила так дать развернутое интервью, о гуманитарном кризисе надо кричать. По просьбе корреспондентки искала, кто бы из киевских мамочек, которых мы пытаемся поддержать через Зум, дал интервью. Оказалось, что моя бывшая ученица Оксана В. застряла в своей Буче, это где-то под Киевом, и потом была засыпана в подвале собственного дома; через 6 дней вышла на связь, сказала, я, кажется, выжила. Все её уже мысленно похоронили. Мне не рассказывали, не хотели огорчать (?!).



Оксана Вишневецкая:

... Я из Бучи. Это небольшой замечательный городок под Киевом. Мой дом. Мой родной дом... дом моих родителей... дом родителей моих родителей. Никогда не могла даже представить, что такая беда придет в наш дом. В наш город. В нашу Украину.

Война!!! Горе. Слезы. Плач детей. Страх... страх и бессилие!!! Злость, гнев, ярость, эмоции переполняют... и снова бессилие и слезы.

«Асвабадітелі» в моем доме. Ищут «нациков», переворачивают все вверх дном. Забирают телефоны, ноуты...Моя маленькая девочка плачет у меня на руках. Моя дочь едва держится на ногах и старается не кричать. На улице возле дома на земле лежит мой муж под дулом автомата «асвабадителя».

Я слышу фразу: «Не мы эту войну начали, сука!» Я помню! Я помню этот голос. Я помню позу, в которой стояла эта нелюдь.

Это ужас! Это страшно!

Во дворах танки, БТР... Они прячутся между домами. Между людьми. Твари!... И снова обстрелы. И опять бомбят. Девять страшных дней и ночей оккупации без света, газа и воды.

Нашим укрытием стал наш дом.

И наконец, дают зеленый коридор. Еще один этап жизни...но это уже потом... сейчас мы в безопасности, душа же осталась там... в Буче ...сердце болит ...тело дрожит... в голове все те же самые мысли... и снова...

Надо жить дальше... надо учиться жить здесь и сейчас...

Моя студентка Иванна, большая пофигистка, выехала-таки из Киева. Прислала мне клип: четыре собаки и кот спят в походных условиях, как маленькие призывники, на матрасиках, уложенных в ряд.

Пациенты, пациенты, уже меньше расспросов и ахов по поводу войны, это же пока что «чужая война» для американцев — и один киевлянин, под телевизором потерявший пять кило весу. Стресс.

Опять интервью, на этот раз с блоггершей-американкой. Чем помочь, кричит, что делать? Придумаем. Подключу её к львовской рассылке, пусть узнает, что такое настоящий страх.

Бородина хочет, чтобы я пришла на благотворительную выставку читать стихи. Приду, конечно. Бесконечный поиск ресурсов, лекция по обработке ран, кто-то прислал список священников, желающих работать на львовской пересылке. Семья подруги едет в мою болгар-

скую квартиру, связывала их с менеджером, чтобы хотя бы отопление включили, ребёнок с воскресенья в дороге.

Нашли детское питание в Киеве, передала информацию в центр, откуда детское питание пойдет туда, где голод. Если те дети ещё живы. Я хочу стать диспетчером надежды, но чаще выходит только передача боли по цепочке, чувства отчаяния от того, что еще кого-то не спасли.

Пациентке-учительнице срочно понадобились материалы для подростков, переживающих войну. Полкласса у неё из Украины, такой район.

Обещала помочь нью-йоркским беженцам. Предложила своего мужа в качестве водителя.

Всё это похоже на дурной сон: много движений, мало результатов. Хотя что-то сделано за эти дни, но невозможность оградить от бомб и «градов»... убивает меня.

Полночь. Посплю быстренько и завтра опять на свою передовую.

ДЕНЬ 16

Тяжело пробиваться к концу недели лишь для того, чтобы еще раз оценить меру своей беспомощности. Но это, к сожалению, факт.

Начать с конца, с самого вопиющего: после всех усилий по нахождению грузовика, могущего доставить гуманитарку (как быстро слово обрусело и приспособилось к домашнему употреблению!), он доехал до больницы в Харькове, разгрузился и снова направился в сторону Львова. А через полчаса больницу эту разбомбили...И так всё.

Надежд на спасение всех, кого знаю, за кого переживаю, всё меньше.

ДЕНЬ 17

Вот рассказ из Херсона, это позвонил брат мужниного сотрудника: вышел утром из дома, а вся улица усыпана мертвыми людьми. Мозг сначала отказывается верить, потом ужасается, потом приспособляется. Это жутко, и это объясняет, почему люди выживают.

Human Rights Watch — неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира, — задокументировала много случаев нарушения российскими вооруженными силами законов военно-

го времени в отношении гражданских лиц на оккупированных территориях Украины.

Российские силы в селе Старый Быков Черниговской области 27 февраля окружили по меньшей мере шестерых мужчин, а затем казнили их, по словам матери одного из мужчин, которая была поблизости, когда ее сын и еще один мужчина были задержаны, и которая видела мертвые тела всех шестерых.

60-летний мужчина рассказал, что 4 марта российский солдат угрожал казнить его и его сына в Забучье, деревне к северо-западу от Киева, после того, как обыскал их дом и обнаружил охотничье ружье и бензин на заднем дворе. По словам мужчины, другой солдат вмешался, чтобы помешать другому солдату убить их. Его дочь подтвердила его рассказ в отдельном интервью.

6 марта российские солдаты в селе Ворзель, примерно в 50 километрах к северо-западу от Киева, бросили дымовую шашку в подвал, а затем застрелили женщину и 14-летнего ребенка, когда они выходили из подвала, где укрывались. Мужчина, который был с ней в том же подвале, когда она умерла от ран два дня спустя, и слышал рассказы об этом инциденте от других, представил эту информацию. По его словам, ребенок умер сразу же.

13 марта российский солдат избил и неоднократно изнасиловал Ольгу (не настоящее имя), 31-летнюю женщину в Малой Рогани, селе в Харьковской области, которое в то время контролировали российские войска.

По словам Ольги, российские солдаты вошли в деревню 25 февраля. В тот день около 40 жителей деревни, в основном женщины и девочки, укрывались в подвале местной школы. Она была там со своей 5-летней дочерью, матерью, 13-летней сестрой и 24-летним братом.

Около полуночи 13 марта российский солдат силой проник в школу, Ольга сказала: «Он разбил стеклянные окна у входа в школу и колотил в дверь». Охранник открыл дверь.

Солдат, у которого были штурмовая винтовка и пистолет, вошел в подвал и приказал всем там построиться. Женщина стояла в очереди, держа на руках свою спящую дочь. Он сказал ей отдать ему девочку, но она отказалась. Он сказал ее брату выйти вперед и приказал остальной группе встать на колени, или, по его словам, он расстреляет всех в подвале.

Солдат приказал ее брату следовать за ним, чтобы помочь найти еду. Они ушли и вернулись через час или два. Солдат сел на пол.

«Люди начали спрашивать, можно ли им сходить в туалет, и он разрешил им, группами по двое и по трое», — сказала Ольга. После этого люди начали устраиваться на ночлег. Солдат подошел к ее семье и сказал ей следовать за ним.

Солдат отвел ее в классную комнату на втором этаже, где поставил на нее пистолет и велел раздеться. Она сказала: «Он сказал мне заняться с ним оральным сексом. Все это время он держал пистолет у моего виска или приставлял его к моему лицу. Дважды он выстрелил в потолок и сказал, что это должно было дать мне больше «мотивации».

Он изнасиловал ее, а затем велел ей сесть на стул.

Она сказала, что ей стало очень холодно в неотапливаемой школе, и спросила, может ли она одеться, но солдат сказал ей, что она должна надеть только топ, а не брюки или нижнее белье. «Пока я одевалась, солдат сказал мне, что он русский, что его зовут (имя не разглашается) и что ему 20 лет. Он сказал, что я напомнила ему девочку, с которой он ходил в школу».

Солдат сказал ей пойти в подвал и забрать свои вещи, чтобы она могла остаться с ним в классе. Она отказалась. «Я знала, что моя дочь заплачет, если увидит меня», — сказала она. Солдат достал нож и сказал ей сделать это, как он сказал, если она хочет снова увидеть своего ребенка. Солдат снова изнасиловал ее, приставил нож к ее горлу и разрезал кожу на шее. Он также порезал ей щеку ножом и отрезал часть ее волос. Он ударил ее книгой по лицу и несколько раз ударил по лицу.

Около 7 часов утра 14 марта солдат сказал ей, чтобы она нашла ему пачку сигарет. Они вместе спустились вниз. Она попросила охранника дать солдату несколько сигарет. После того, как солдат получил сигареты, он ушел.

В тот день она и ее семья пешком добрались до Харькова, где волонтеры оказали ей элементарную медицинскую помощь. Они переехали в бомбоубежище. «Мне повезло, что я осталась жива», — сказала она. Она сказала, что власти совета Малой Рохан поддерживали связь с ней и ее матерью и что власти готовят уголовное дело, которое они планируют подать в прокуратуру Украины.

ДЕНЬ 20

Сегодня нечеловеческая усталость навалилась. Сержусь на себя, ведь у войны нет выходных. Ещё один раунд поиска квартиры для киевлянки, выехавшей из города без плана, с котом и дочкой. Ещё разговоры: с группой врачей, с художницей, которая завтра должна встретиться с моими киевскими подопечными (в основном мамами особых детей, но и некоторыми специалистами, приводящими своих деток тоже, сейчас ведь все дети, наслушавшиеся сирен и бомбежек, стали «особыми») ...

Несколько дней на прошлой неделе были просто волшебными, когда нужные специалисты появлялись ниоткуда, когда мне везло... и вот пришло возмездие. Всё не срастается. Никому не помочь. Простой военный день.

ДЕНЬ 21

Нашлось потрясающее эссе для проекта женских эссе о войне. Кажется, я о нем не писала. Это из дней, когда я чувствовала себя в каком-то непрекращающемся спазме. Вечер провела, текстюя с А., просиживающей ночь на полу в коридоре, потому что тревоги у них пошли длинные, и вдруг попадут... никогда не прощу тогда себе, что отключилась и пошла спать в собственную постель, в безопасность...

ДЕНЬ 22

Новые запросы означают новые проблемы on the ground. Люди, вырвавшиеся из оккупации, рассказывают о страшных, непредсказуемых обстрелах, о непредсказуемом, садистском поведении, об ожидании «гуманитарки» *(житель Мариуполя, до оккупации владелец частного бизнеса, с горечью рассказывает, как поделили рыбу и сосиски,*



которых хватило на два дня, как ребята из ЗСУ сказали, что через час подвезут еще, но больше никто не прорвался сквозь обстрел...)

И вот — запрос на инструкции женщинам, как выживать в условиях оккупации. Мы с М. понимаем, что нас спрашивают о том, как избежать изнасилования... никогда такого не писала, но — девоч-

ки, бабоньки, сделайте все, чтобы выжить! Мы с М. пишем инструкции, хватаясь за животы. Кишками пишем потому что.

Надежда Сухорукова:

В подвале я мечтала. Особенно в последние дни перед бегством. Я сидела на старом стуле, слушала гул самолёта и представляла, что случится чудо. Бомба, которую сбросил русский летчик, полетит обратно в самолёт. Он взорвется прямо в воздухе и рассыплется над морем.

В последние дни я превратилась в замороженную и равнодушную субстанцию. Единственное чувство, которое наполняло меня до краев — чувство животного страха. Я была обречена. Хотите знать, как я переживала обстрелы? Я, взрослый человек, во время бомбёжек держала за руку маму и прижималась к ней, как в детстве, когда хотела укрыться после страшной сказки.

Моя жизнь стала кошмаром. Жизнь моего города Мариуполь превратилась в ад. Вокруг были герои. Я была слабой и измученной: боролась с паническими атаками и считала себя виноватой во всем. Мне было страшно признаться другим, что мне страшно. И я хотела быть полезной хоть кому-то.

За неделю до этого ко мне пришла Наташа. Моя коллега. С мужем и сыном. Они ходили по городу и снимали видео. Чтобы показать всем этот кошмар. Я спросила у нее: «Что делать мне?» Она сказала: «Выжить, Надя. Нам нужно выжить». Я уточнила у нее: «Как помочь городу?» Она ответила: «Не знаю».

Они втроём ходили в детскую реанимацию, где врачи находились круглосуточно, брали телефоны их близких и во время редких сеансов связи отсылали им сообщения. Сообщали, что все живы и здоровы.

Потом в ее квартиру влетело две мины и погиб муж. Это была первая близкая нам смерть. Только день назад мы видели человека. Живого. Здорового и сильного. Спокойного и уверенного в том, что он будет жить долго. И вот его нет. Просто потому, что какой-то урод выстрелил в жилой дом.

Накануне нашего отъезда бомбили не переставая. Мы думали о том, как уехать. У нас была одна призрачная машина. Девять человек и собака, которых нужно вывезти. И минимум шансов дойти до гаража. Он находился в районе школы, а там лупасили из всех

видов оружия. Оккупанты вообще не стеснялись. Они выбирали квадрат на местности и разбивали его до руин.

В один и тот же многоэтажный дом попадали десятки раз. Клянусь, там никогда не было наших военных. Ни одного. Там жили мирные люди, которые надеялись, что бомбить закончат и они выйдут за водой или готовить еду на костре. В эти дома влетело с десятков снарядов. Россияне били наотмашь. Мы в подвале слушали эти звуки и задыхались от ужаса. Они похожи на пощёчины. Как будто по домам лупили огромным бичом.

Звуки войны исполняли симфонию смерти. Сначала скрежет огромных зубов великана и железные удары по крыше. Я думаю, это была разминка. Кто-то только готовился к выступлению. Потом шла мелодия «градов». Дрожала земля и тряслись стены. Через нас летели огромные слепые убийцы. Мы не могли понять в какую сторону. Везде были люди. Для кого-то из них — эта музыка стала последней. Для меня самым страшным был гул самолётов. Я никогда их не видела. Может быть если б увидела, то так не боялась. Я закрывала голову подушкой и мечтала оглохнуть от тяжёлого удара о землю. Земля прогибалась, а самолёт заходил на второй круг и мы снова умирали, до следующего взрыва.

А 15 марта в день рождения моего сына я рыдала в подъезде, что не могу его поздравить и поговорить с ним. Какая смешная неприятность. Я рыдала не из-за того, что бомбили постоянно, не из-за того, что гибли люди, не из-за того, что завтра могло не наступить, я рыдала, что не могу поговорить по телефону со своим сыном.

И произошло маленькое чудо. Прямо в подъезде появилась связь. Мои подвальные соседи передавали друг другу, что «Киевстар» разбомбили, но кто-то из сотрудников периодически включает генератор и заправляет его бензином, чтобы люди могли хоть минуту поговорить и узнать новости. И пусть по Мариуполю дозвониться было невозможно, но мы могли сообщить о себе родным в других городах. Спасибо, неизвестный человек, который давал возможность мариупольцам раз в день сказать людям, которые с ума от неизвестности, одно единственное слово: «Живы».

Именно 15 марта мы услышали новые звуки из симфонии смерти. Они были непохожи ни на один, который звучал до этого. Два сильных мощных взрыва. От них перевернулось все внутри, голова

стала огромной и пустой, стены подвала вибрировали ещё некоторое время. Я решила, что это оружие массового поражения. И с ужасом думала, что увижу, когда выйду на улицу.

Потом нам рассказали люди из поселка рядом с Мариуполем, что по городу стреляли российские военные корабли. Нас убивали с земли, с воздуха и с моря. Нас убивали отовсюду. Мой город последовательно превращали в руины.

Мы все реже выходили на поверхность. И в предпоследний день, перед комендантским часом к нам пришел Леша. Он стал сильно выпивать после того, как ходил к своим детям на Левый. Когда он вернулся оттуда, была уверена, ему не страшно. Но у входа в подвал он рассказывал, как падал, когда прилетали мины. «Я не слышал звука, но видел, как они взрываются вокруг». Я тогда призналась ему, что мне очень страшно. Он ответил: «Ты мне это говоришь?» Я была рада, что он не герой, что он обычный человек, что ему тоже страшно. Просто он не подаёт виду. Он и сейчас в Мариуполе. Сидит в подвале нашей девятиэтажки. Не может уехать, пока не найдет детей.

...Я сейчас нахожусь в Черноморске под Одессой. У сына. Очень тяжело было выезжать. И даже не потому, что бомбили и мы ехали в разбитой машине, без стекол и с дырками от снарядов. Тогда у всех был шок. В машине все молились, чтобы доехать и [чтобы] нас не убило снарядами. Нас останавливали оккупанты и задавали какие-то вопросы. Все они звучали как издевательства. Например, не холодно вашим детям в машине с выбитыми стеклами? Закройте окна, вы простудите детей. Какие заботливые твари. Они бомбили дома, закидывали ракетами жилые районы, бомбоубежища с женщинами и детьми, а теперь беспокоятся, чтобы у мариупольских малышей не было насморка. У меня все внутри переворачивалось, как от выстрелов.

Я одно время думала, что если буду писать, то все изменится. Но, к сожалению, никто людей по-прежнему не вывозит из Мариуполя, никто не закрывает небо и не объявляет режим тишины. Я не понимаю, с кем воюют россияне? С женщинами и детьми? За что они убивают мирных людей? Почему превращают город в руины? Я в отчаянии. В Мариуполе терпят бедствия и гибнут тысячи людей. Пожалуйста, помогите им выжить.

Ольга Ярделевская:

Ребята, сейчас будет больно. Может, не стоит и читать, я предупреждаю! Но не написать не могу.

Ночью дежурила в чате экстренной психологической помощи для пострадавших от войны. Обращается муж женщины — пытаюсь покончить собой, поговорите с ней.

Суицид — очень стремная для меня тема. Те, кто меня близко знает, понимают почему. Но делать нечего — беру в работу.

Молодая женщина, говорит вяло, без интереса, видно, под действием успокоительных препаратов. Тихим, без оттенков голосом она говорит, что рашисты изнасиловали ее дочь и что она никогда не сможет посмотреть ей в глаза, она не мать, раз не смогла ее уберечь. Я пытаюсь ее увести от вины в детали, в гнев, в хоть какую-нибудь эмоцию:

— Девушка пострадала физически тоже?

— Девушка?! — она вдруг кричит, — девушка?! Ей шесть лет!.

Мой желудок подпрыгнул и оказался в носоглотке. В мозгу забегали предательские, трусливые мысли: «что говорить?», «вот мне это за что?», почему именно в мое дежурство?... Так, стоп! Дежурство. Где я это слышала, в каком-то фильме — в мое дежурство никто не умрет. Да, в мое дежурство я не дам ей умереть.

Через час мне было дано твердое обещание жить и ходить на терапию. Девочку передали местному психиатру, будет наблюдать. Всех, кого могла, подняла на ноги и задействовала. Но...

Двое русских ублюдков изнасиловали ребенка.

Мать рассказывает, что дочь дважды спросила: за что дяди меня наказали? Я ведь хорошо себя вела.

Это все. Извините, что не промолчала.

ДЕНЬ 23

Сегодня день Харькова, уже не первый, впрочем. Очередной звонок: ищем помощь, есть ли у тебя связь с волонтерской службой, чтобы кто-то мог помочь купить и доставить лекарства женщине после инфаркта, она одна в квартире. Начала обзвон. Знакомый харьковчанин горестно замечает: «Именно там сейчас бомбят». И я вдруг вспоминаю этот адрес, ул. Гвардейцев-Широнинцев: где-то на этой улице

в Салтовке жил дядя, мамин двоюродный брат, у которого мы всегда останавливались, приезжая в Харьков, а после эмиграции потеряли из виду. Жив ли он, стал ли он свидетелем и жертвой этой бомбардировки?

Сегодняшний «Вашингтон Пост» вышел со статьей о моей работе в военные дни, но со своей точки зрения — оставив самое выигрышное, разговоры с беженцами и с людьми в убежищах, — обойдя молчанием лихорадочную гонку по изобретению инструкций и материалов, которыми люди, как ни удивительно, активно пользуются и просят еще: как объяснить ребенку новые правила жизни, что брать с собой в убежище, как избавиться от панических атак. И, главное, ехать или оставаться. «Не нанесу ли я ребенку психическую травму? Не будет ли «отката» в поведении?» — и среди этого пронзительное: «Как отключить картинку убийства (бабушки)? Я все время ее прокручиваю. Как телевизор на заднем плане, летит в меня эта оторванная рука»...

ДЕНЬ 30

Я смотрю на карту Украины в Гугле. Никогда раньше не приглядывалась к территории между Одессой и Киевом, между Одессой и Харьковом, да и зачем мне было приглядываться, если я бывала только в больших городах, а путешествовала самолетом или скорым поездом, изучая то облака, то мелькание безымянных полей и лесов. Но названия, краем уха зафиксированные в разговорах взрослых — в разговорах стариков — оживают сегодня, и я изучаю мир моей семьи, стираемый варварами с карты: из Кировоградской области вышли бабушка и дед, из Первомайска — какая-то папина родня, в Хмельницком мама работала по распределению, другой дедушка родом из Кривого Рога, в Белгород-Днестровском тоже что-то происходило, уж не упомяну, в Херсон переехал мальчик, в которого я была влюблена, в Ирпене мы с мамой были в доме отдыха в последнее лето перед школой, а еще мама провела месяц в Бердянске, — и все эти названия обрели жизнь, и за всех этих людей я стала ощущать ответственность...

Леся Кесарчук:

На привокзальной площади в Виннице стоят две огромные палатки. Это временные пункты обогрева для переселенцев. Здесь дают горячие блюда и чай, постоянно дежурят спасатели.

Рядом сложены груды дров. К небу вздымается копоть дыма. Сюда приезжают люди, которые бегут от обстрелов и «русского мира».

* * *

На площади стоит многодетная семья, которой удалось покинуть Харьков. Женщина с семьей детьми пытается решить, куда им двигаться дальше. Самому маленькому ребенку — один год.

Возле женщины бегают 2-летняя девочка Злата. Лицо которой покрыто свежими ранами. За ней присматривает сестренка Диана. Она, улыбаясь, предлагает мне выпить чаю и согреться в пункте обогрева.

«Мы жили в Харькове на окраине, наш микрорайон в 65 километрах от границы с Россией. Мы жили в 16-этажном доме. Я — мама в декрете. Наш дом не уцелел — попал снаряд.

Мы 9 дней просидели в подвале, дети плакали, боялись. Старшие дети помогали успокаивать меньших. Через дорогу также разбомбили магазины, на дороге образовались крупные кратеры.

На боулинг-клуб тоже бросили бомбы, где в подвале прятались люди. К счастью, их спасли. За индустриальным районом нет ни одного дома с уцелевшими окнами. Частные дома полностью разрушены. Нам едва удалось выехать и вывезти детей», — говорит Ольга, переселенка из Харькова.

Муж Ольги — военный. Сейчас он защищает страну в рядах ВСУ. Ей приходилось самой спасать детей и вывозить их из-под разбомбленного города.

«Я купила билеты на «Интерсити», а его не пустили, деньги не вернули. Пришлось ехать обычной электричкой, которая была набита битком, и это 13 часов в пути», — вспоминает Ольга.

Семья сидела на полу, меньшие дети были на руках у матери.

«В тамбуре, в вагоне — негде развернуться. Мы не спали. Утром приехали в Винницу. Обрадовались! Здесь все спокойно. На вокзале нас накормили, дали выпить чаю, и дальше будем ехать к знакомым в Черновцы», — говорит женщина.

Со слезами на глазах уезжал из родного города харьковчанин Игорь Боровик. Мужчина до войны работал программистом. В Винницу он приехал вместе со своими соседями и знакомыми.

«У нас здесь люди разных профессий: танцовщик, коуч, рабочий завода. Мы познакомились в подвале. Просидели там девять дней. И все это время постоянно поддерживали друг друга, делились едой. Мы жили на окраинах города. Сперва внезапно начали бомбить центр, а затем отдаленные районы. Я плакал, когда видел, как бомбят Салтовку — самый большой жилой массив Украины. Я там недавно гулял с друзьями, а сейчас — это развалина», — говорит Игорь.

Немало переселенцев остаются в Виннице. С начала войны в городе зарегистрировалось более 1000 семей. Ежедневно в город прибывают люди из Донецкой области, Николаева.

Теперь в студенческих общежитиях только одни разговоры: война, сирены, и ожидание победы. В холлах учебных заведений гуманитарная помощь: одежда, ящики со средствами гигиены.

В столовых повара бесплатно готовят завтрак, обед и ужин. Поселяют всех, кто обращается за помощью, семьям пытаются давать отдельную комнату, где есть двухъярусные кровати и необходимая мебель.

73-летняя жительница Бахмута благодарна жителям за приют и еду.

«Я приехала из Бахмута. Там родилась и провела всю жизнь, кем только не приходилось работать: уборщицей, дворником и горничной. Какая была работа, туда я и шла. На кондитерской фабрике работала. Сейчас я на пенсии.

Я с дочкой и зятем покинули город. С начала войны мы постоянно прятались в подвале», — говорит Людмила Семеновна.

Женщина вспоминает о выезде из дома, голос дрожит, в глазах — слезы.

«Мы приехали в Краматорск в 13 часов дня. Нам сказали, что можно пойти к зеленой палатке, там дают горячий чай. Наш поезд прибудет в три часа.

Он задерживался. Я с родными сидела на дворе, смотрела на солнце. Вдруг взрыв. Смотрю — десятки убитых, люди лежат истекают кровью. Дети ранены, убиты. Это страшно. Мы чудом выжили. Потом нас автобусами уже забрали оттуда и потом другим поездом привезли в Винницу. Очень благодарна всем людям, которые нас согревают и кормят», — рассказывает Людмила Семеновна.

Наталья Могилевич покинула родной Николаев в первый день войны. Понимала, дальше оставаться будет опасно:

«Мы проснулись от взрывов, ведь у нас рядом аэропорт. Мой муж-военный. Он позвонил и сказал: «Собирайтесь и уезжайте!». Я быстро собрала вещи: собаку, кошку, двоих детей, и мы выехали из города», — рассказывает Наталья.

Сначала Наталья нашла ночевку в Кропивницком, а потом приехала в Винницу и через сайт «приют» нашла комнату в общегитии.

До войны женщина работала учительницей английского. Выросла и воспитывалась в семье военных. Сейчас Наталья не чувствует себя в безопасности и в Виннице. Обнимает сына и продолжает рассказ: «Ночью я плохо сплю, слышу сирены и прислушиваюсь, жду отбоя, мы уже устали выбегать в хранилище. Детей не бужу. Вслушиваюсь, слышен ли какой-то гул. После взрывов аэропорта Гавришовка и винницкой телебашни — страшно, но нам нравится в Виннице. Дальше ехать никуда не планируем».

«Нет, мама, единственное место куда мы уедем отсюда — это домой. Наш дом пока что цел, и мы верим, что наши воины и мой папа отвоят нашу землю, и наступит победа», — добавляет ее сын Семен.

А вот Виолетта приехала с маленькой дочкой из Северодонецка. Говорит, город беспощадно разрушают и обстреливают жилые дома, магазины. Здесь, в Виннице, она чувствует себя в безопасности:

«После пережитого всего боюсь. Мы несколько ночей жили в подвале. Винница нас приняла гостеприимно и тепло. Когда выезжали из дома, не брали с собой много вещей.

Никто не знал, удастся ли уехать, или нет. У нас у каждого были записки с именами и номерами телефонов родственников в случае, если нас обстреляют. У меня в Северодонецке осталась мама и лежащая бабушка. Каждый раз когда им звоню, боюсь не получить ответа, боюсь этой тишины, и слов «абонент вне зоны досягаемости».

Мне и моему ребенку очень помогают волонтеры, которые проводят мастер-классы. Возвращают нас к мирной обычной жизни».

ДЕНЬ 31. «СТЫДНО»

Что я делаю для победы? Я в каком-то вязком дыму. Так было во времена самого страшного в моей жизни личного кризиса: дикое усилие, чтобы просто говорить, а не хрипло каркать, ещё одно — чтобы растягивать губы where appropriate. Воскресенье, люди гуляют, пьют пиво и планируют отпуск, а тут тыходишь — замурзанная, встрепанная, в новых морщинах. А вот Фейсбук, поле риторических экзерсисов для одних, место моей нынешней работы. Отвлекаясь от бесконечной переписки то с одними, то с другими, с удивлением видишь: нормальные люди дни рождения постят и о преимуществах кошачьего корма спорят, а ты опять со своей войной. Война — это стыд. Как изнасилование.

Да, об изнасиловании, поскольку именно это стало фокусом работы последних двух недель: кто-то из исследователей отметил положительную зависимость между милитаристской агрессивностью и повышенным либидо. Гунны хотят насиловать. Обычные мужички, в мирной жизни далеко не сексуальные гиганты, едва обнаружив в себе способность к убийству, демонстрируют повышенное либидо и способность ко множественным оргазмам. Война — это много спермы, много кала. Перистальтика вооружается первой.

Интеллигентный, деликатный В. звонил мне из автобуса, девятый час едущего из Киева во Львов:

— Извините, не могу долго говорить, я стою в одной позе с утра... и ещё тут пожилая женщина... вся в фекалиях... остановиться нельзя, а желудок, знаете ли... подводит. Боюсь шевельнуться.

У оккупантов другое, там фекалии — это оружие. Неиссякаемый источник. И. Померанцев описал это неужённое желание загадить воду и постели, загадить всё:

«В 1995 году во время Первой чеченской войны я разговаривал с беженкой из Грозного Фатимой. Я задал ей стандартный журналистский вопрос: «Что вас поразило больше всего? Танки? Бомбы?». Она подумала, а после смущенно сказала: «Русские солдаты заходили в пустые дома и... какали в наши постели. Извините. Да, какали, накрывали дерьмо одеялом, снова какали и накрывали всю кучу подушками. Мы не могли поверить».

В марте 2022 года беженка Наталка из Черниговской области на мой вопрос «Что вас поразило больше всего во время оккупации?», ответила: «Они занимали наши хаты и срали в кровати»...

В перечне военных преступлений нет параграфа «справлять нужду в кровати граждан оккупированного государства». В Международном суде подобные случаи не будут расследоваться. Но смрад останется надолго. Так что экологам будет чем заняться».

У гонимого беглеца фекалии — это средство защиты: «Я отвратительное существо, не ешь меня». Женщина жалуется: «Всё перенесли дети (4 и 9) отлично, и тревоги, и обстрелы в дороге, а доехали до Германии, и начался еженощный энкопрез у обоих».

Впрочем, все физиологические отправления в этой войне служат той или иной психологической цели.

Вот рассказ Ани Пушкели, подарившей мне этот пост для проекта «Женские голоса»:

«Сначала стыдно было писать в баночку в подвале при посторонних людях... Потому что на горе. И выбор между жизнью и жизнью. Стыдно было, когда Макара рвало в капюшон (ничего другого не было под рукой) сорок часов в автобусе.

Выбор — сидеть в вонючей одежде и выйти на дороге в чужой стране и остаться на улице. Стыдно было зайти в дом и разуться. Тринадцать человек, которые не снимали обувь много суток... Выбор был — пролепетать «сорри» и остаться спать на улице

Я согласилась быть отвратительной. А потом мы постирали одежду. Зашли в душ. Намылили носки в умывальнике туалета и выбросили капюшон куртки. Все эти вещи не сделали нас недостойными. Плохими. Противными. Второсортными... Мы не остались грязными, какие бы поступки не совершали, чтобы жить!!!».

Стыдно — это не про фекалии. Стыдно — это про бессилие.

ДЕНЬ 32–36

Целая неделя была посвящена Проекту «Сенсорные игрушки». Игрушки — это не только игрушки, а, в общем, сенсорные приспособления для саморегуляции детей-аутистов. Говорим «игрушки», подразумеваем «утяжеленное одеяло» и т.д. Автора идеи, Юлику, я не видела никогда прежде и никогда с ней не говорила, но именно она пригласила меня в 2013 году в Москву для участия в конференции «Обнаженные сердца» и, таким образом, с неё началась интереснейшая глава моей жизни.

В этот раз она появилась с вопросом, повлекшим за собой череду разговоров с мамами особых детей. В первом списке 22 мамы, во вто-

ром пока 19, а ещё шестеро выехавших в Европу и одна обманщица (явно не беженка, а, может, и не мама). Около полсотни разговоров, и не односложных, а подробных, многодневных ниточек-диалогов: рассказов, подвального подвига, побега, эвакуации, боли, гордости за то, что дети выжили, с фото: вот мальчик Р., аутизм, 7 лет, сфотографирован под одеялом на полу среди потных труб («это мы еще в Киеве»), потом — там же, но с закрытыми глазами, потом — где-то в углу чужого дома, но уже при дневном освещении, с нашими стимулирующими штуковинами в зубах. А вот девочка с прозрачным, голубоватым лицом, с именем матери и номером телефона, намертво нашитыми на куртку. У нее поражение мозга, она на безглютеновой диете, а еще ей нужны развивающие игрушки... Фотографии и запросы идут всю ночь, все утро, и затихают к вечеру. Но вечером начинают писать совсем отчаявшиеся: те, кто не спит сегодня то ли из-за воздушной тревоги, то ли из-за кризиса с ребенком... Матери-героини. Я щедра на это слово, «героизм». Стивен Порджес считает, что оно активизирует автономную нервную систему.

Заодно покончила на этой неделе с интервью. Во вторник была на телевизионном канале, «Аль Джазира», на «круглом столе» со спикером UNISEF. А вчера была 10-минутка на русском RTVi, плохо подготовленная и позорная. Ну да ладно. Что мне важно, так это то, что после каждого выхода «на публику» приходят новые люди и организации с фондами и идеями.

Кстати, продолжаю убеждаться в сомнительных человеческих качествах одних и восторгаться невероятной человечностью, даже одержимостью многих других. Некоторые люди выпали из списка друзей, другие впрягаются во все мои проекты и ещё тащат свои.

ДЕНЬ 37. ВТОРИЧНАЯ ТРАВМА И «УСТАЛОСТЬ СОСТРАДАЮЩЕГО»

Вторичная травма — штука хитрая. Вроде бы ты всего пост-фактум лишь разговариваешь о чужой боли, о чужом опыте, скажем, под бомбежками, а зеркальные нейроны, рассыпанные по человеческому мозгу, срабатывают, вызывая эмпатию, а симпатическая нервная система включается, как при сиюминутной опасности. Меня начинает «накрывать», и вот еду по дороге около аэропорта, и на звук самолета, заходящего на посадку, срабатывает что-то чужое, и я начинаю метаться из полосы в полосу. Хорошо, обошлось без аварии, и сознательная часть

мозга быстро включилась и прекратила панику. Но это, конечно, сигнал отстраняться. А как тут отстранишься, в войне выходных нет.

Той ночью снится сон о выгорании: Я кормлю грудью ребенка и вижу, что это не мой сын, а совсем незнакомый ребенок, не младенец, а, скорее, дошкольник. Я думаю с тоской: вот, сейчас он начнет кусаться, и пойдут трещины, мастит потом... А к другой груди пристраивается взрослая женщина, и тоже, чувствую, прихватывает нешуточно. Я в тоске отвожу от них взгляд, вырваться невозможно, и вдруг замечаю, что вся комната наполнена людьми, как только я сразу их не заметила. И все ждут своей очереди у груди. Я чувствую, как молоко прибывает, температура поднимается, грудь саднит. Все это очень плохо кончится...

Просыпаюсь от звяканья Мессенджера. Кто-то уже ищет меня.

ДЕНЬ 38

Символично — в результате обстрела Днепра расколота мемориальная доска на доме, где родился Галич. Что теперь делать со свободой, с расколотой культурой, с опозоренным этой войной языком?

На севере и на юге —
Над ржавой землю дым,
А я умываю руки!
А ты умываешь руки!
А он умывает руки,
Спасая свой жалкий Рим!
И нечего притворяться — мы ведаем, что творим!

ДЕНЬ 40

После такого продуктивного, в чем-то даже спокойного выходного («все-то» изобретала руководство для гражданских жителей «В плену и после плена»), после вроде как положительной динамики некоторых проектов, маленьких позитивных вещей, вылилось на голову громадное: около четырехсот женщин, пострадавших в Буче и в других деревеньках около Киева. Сколько психологов нужно, где, куда их везти, некоторые настолько искалечены физически, что они нетранспортабельны.

На такое реагируют кишки, не эмоции даже. Бессилие, жуткое, невыносимое бессилие, ненависть, и даже дышать больно от бессилия

и ненависти, от каких-то видений: Босх, Бородеянка, брейгелевский «Триумф смерти» на фоне Ворзеля. Вот сижу и жду, когда смогу что-то сделать, когда мне дадут конкретное задание, какую-нибудь бюрократическую гору свернуть, полететь куда-нибудь. Всё что угодно, только не бездействие. Бездействие как яд в моем организме.

ДЕНЬ 41

Душу светло. Поразительно всё же, как человек адаптируется к самому непереносимому. Казалось, боль и страх не отпустят, пока этот кошмар не закончится, но вот идёт второй месяц, и я приспособилась, как та Аня, что стала-таки писать в баночку, а сначала терпела до невозможного...

Из письма подруге: *«Сначала работала и в перерывах и по полночи эвакуировала — группы вела — волонтеров с шоферами и с кем там ещё связывала, по 15–16 часов получалось, потом немного сорвалась и теперь занимаюсь Украиной дозированно, и даже пару раз за 40 дней выходила куда-то на несколько часов. Ещё долго будет всё это, особенно в моей отрасли. А когда поток заказов на мои услуги истекает, ходим ручками работать, помогать контейнеры собирать. Но в последние дни заказы ко мне идут такие «жахливые», что лучше бы я грузила ящики».*

ДЕНЬ 42

Наконец-то проект помощи жертвам Бучи продвинулся от истерических, навзрыд сообщений от медиков, «ломающихся» при виде искалеченных юных и старых женщин, мальчиков, детей, подростков, к конкретной (хоть и дрожащими руками) работе над планом: куда их транспортируют, чего они хотят, как оградить от журналистов, как подготовить к работе с военным прокурором... На каждый текст или звонок первая реакция специалистов из нашей группы довольно однообразна: «Кто-то проверял эту информацию, это не фейк?» Мы не хотим верить в эти истории, потому что они уменьшают что-то человеческое в каждом из прикоснувшихся, во всех нас. Как будто мы могли не позволить, предотвратить.

О психологической помощи тут говорить рано, но надо пересмотреть списки из первых моих дней, отобрать людей, готовых работать с таким уровнем травмы, знающих навыки работы с сексуальным насилием, групповым насилием. Когда работаешь, чуть-чуть проще жить.

ДЕНЬ 46

День освобождения Одессы, между прочим. Объявили 48-часовой комендантский час, чтобы народ не кучковался. Но, к счастью, Одессу не бомбили.

До сих пор удивляют эти слова в лексиконе: «сирена», «бомбардировка», «оккупация». Семантика нового времени. Обсуждая доставку лекарств, Наталья, фарма-ангел оккупированного Токмака, с которой мы работаем с прошлой пятницы над доставкой противосудорожных и кардиологических лекарств всему их сообществу (она собирает списки и рецепты, договаривается с отважными волонтерами, с риском для жизни едущих из Запорожья, я ищу закупщика и оказии, денежки пока мои), оговаривается: «на борк-посту». «Борк» — это фирма посуды, что легче укладывается в голове женщины XXI века, чем военный словарь, «блокпост».

Но сегодня мне не до строчных букв, не до упавших идиолов, и даже не до Натальи. Сегодня всё перебили коты. 19 котов и три собаки отняли время с полдвенадцатого до 5. Хозяйка вместе с психически нездоровым сыном добралась из Славянска во Львов, и тут её накрыло. Итого: я занималась самой женщиной, которая угрожала покончить с собой там же в гостинице (T-Mobile затребовал потом \$63 за разговоры с ней). Гостиницу на ночь сняла для нее волонтер из Массачусетса, — знаю уже 3 недели эту уравновешенно-весёлую, ловкую, быструю молодую женщину, но и у неё снесло крышу от столкновения с настоящим психозом, и приводить в чувство надо было теперь и ее.

Потом связывалась с Виктором (в Киеве), а он «доставал» для меня руководительницу «Самопомощи» (во Львове). В конце концов местный психолог пошел в гостиницу проверять состояние нашей жертвы пост-травматического стресса, но она его не пустила, заявив, что у неё есть психолог из Нью-Йорка. То есть она меня уже вписала в свою систему координат и кончать с собой передумала, но зато у меня добавилась ещё одна подопечная.

Параллельно на меня наехала какая-то обделенная сенсорными игрушками тётка. Причём требовала она не игрушки, а лекарства от простуды и моющие средства. На простой вопрос, можно ли всё это купить в Запорожье, где она сейчас находится, она меня заблокировала. Видимо, я оскорбила ее предположением, что ей нужны просто деньги. Тяжело помогать травматикам: они легко обижаются, они

нелегкие в общении люди, им непросто сочувствовать. Но самим с собой им еще труднее.

ДЕНЬ 47–51

Работа, просто работа: дети и взрослые, разбежавшиеся по всему миру, начинают обращаться за помощью, а я, вспомнив бывшие навыки координатора, подбираю им психотерапевтов. На этой неделе я впервые работаю с несколькими беженцами оффлайн. Я напоминаю себе, что это только начало многолетней работы, что я не последний психотерапевт на планете, что я никого в конечном счете не спасу, и еще массу важных и полезных мыслей, помогающих отстраниться и сохранить себя в этом наплыве событий и фактов, ошибок и чудесных случайностей, пепла, дыма, огня, историй, голосов. Если я потеряюсь во всем этом, грош мне цена. Я выбираю иррациональное чувство вины: в конце концов, вина выжившего — это обычное дело, я ведь только на днях сама же писала это руководство по самопомощи и объясняла сей феномен спасшейся физически, но страдающей морально Оксане.

А еще в пятницу выступала для университетской аудитории и говорила с аспиранткой из Стэнфорда: все хотят включиться в помощь, но трудно отыскать нишу, где помощь сейчас нужна. Хорошо мне, я знаю, для кого и что делать. И волонтерам хорошо. Людям безумно тревожно и даже больно от потери контроля, а волонтерство помогает изменить что-то хотя бы на секунду. Они восстанавливают локус контроля, делая простые вещи: подавая воду, поднося сумки беженцам или помогая матери посмотреть за ребенком, пока она сбегает в туалет (опять я про туалеты, но это одна из самых базовых и абсолютно разрушенных эвакуацией и войной потребностей — в марте, в разгар бегства поход в туалет на польской границе мог занять до полутора часов, с учетом очередей). Малые дела, шаг за шагом. Волонтерство — род обезболивающего.

На мою просьбу поделиться рассказами о волонтерах с Львовского вокзала Марта и Виталий рассказали о профессоре Киевского Христианского Университета, беженце, оставшемся волонтерить на вокзале, на ставшем знаменитым пятом перроне. Мужчин в потоке беженцев не так уж много — многие мужчины воюют и не уезжают с семьей, а просто провожают до границы, — а мужчина-волонтер тем более редкость. Я смотрела запись беседы, где красивый человек с прекрасной,

интеллектуальной украинской речью пытался осмыслить военный опыт, и думала: война захватила людей в моменте как уличный фотограф. Были такие в Одессе в семидесятые: сфотографируют без спроса посреди улицы, застав врасплох, сунут квитанцию чуть не насильно, а потом, если захочешь, идешь в фотоателье на Греческой и заказывай, если понравится, — а не понравится, бери себе крохотный пробник на память. Одна эмоция, одно движение, черно-белая фотография.

Вот и сейчас беженцы застывают перед профессионалами и волонтерами в одной позе: как они бегут сломя голову, теряя себя; как они страдают; как им страшно. Судьбы упрощены до двумерного черно-белого квадрата фотобумаги. Но мы ведь все добрались до военного времени с разным багажом, а потому у кого-то не было таких ресурсов, а кто-то готов начать давать другим.

«Я видел в течение этого месяца, что я был на том перроне (когда во Львов прибывало по тридцать пять тысяч беженцев в день), тех самых детей, тех же младенцев, там треть маленьких детей, и реально я никогда не думал, что такое возможно: идешь и как видишь своих внуков снова, видишь, что люди в таком состоянии, в каком ты был и им сейчас... их еще нужно вытащить. Им нужно помочь на этом шаге. Это не значит, что мы им там помогли во всем и что их жизнь после этого стала райской. Нет, просто это шаг, о котором я говорил, ты делаешь этот шаг, а потом думаешь, какой дальше? И никогда не планируешь на 2 шага...».

Вот у этого человека есть умение разбить задание на шаги, постепенно, увидеть общую картину, понять, чем он может делиться. У Натальи были силы собрать список необходимых лекарств. Наталья, кстати, врач, может, еще и поэтому она может активно сочувствовать соседям и знакомым. Покинуть городок ей не светит потому, что она врач: оккупанты ни врачей, ни учителей не выпускают. Но она не теряет времени и продолжает активно сочувствовать соседям и знакомым. Это одновременно накопленные навыки и душевное богатство.

ДЕНЬ 55

Гуманитарный коридор в Токмак продолжает работать. Хотя и приходят беспокойные тексты о том, что техника идет круглые сутки, что страшно и шумно, что ходят слухи о фосфорных бомбах, что невмоготу ходить по улицам под взглядами оккупантов, как «летіли снаряди у наш бік» и «5 шт пролетіли над моім будинком».

С каждым разом всё опаснее. Там, где всей дороги на час, по двое суток едут через минные поля, через блокпосты, пытаюсь угадать, чей это пост, потому что рашисты любят маскарад — натягивают на себя форму ВСУ, и попробуй ответить невпопад:

— Слава Украине!

— Героям слава! — отвечает бедолага, ан нет, не угадал, и несчастного обыскивают, осматривают с пристрастием, посылки рассыпают, прокалывают шины, а то и задерживают. Сотрудник поделился с мужем, что брата на блокпосте раздели догола (это в холодном марте) и вниз головой подвесили на час. Был рад проехать живым, хоть и на проколоте рашистами колесе.

Приходят вопросы, запросы: а нет ли подобного «коридора» в Херсонской области? не слыхала ли ты о ситуации в Первомайске? — и становится снова страшно, что спасти можно лишь одного, лишь ненадолго.

ДЕНЬ 58

Большая радость: партия лекарств доставлена через «зеленый коридор» в оккупированный Токмак, тем, кому они жизненно необходимы. Кардио- и противосудорожные маленькая Наталья группа распределила между собой, чтобы продержаться до большой посылки. Она присылает фотографии для спонсора. А может, и не для спонсора, а просто привыкла доводить задания до конца. В те дни, точнее, минуты, когда удаются маленькие мои операции, я чувствую такую силу, это невероятно. Думаю, бойцы на земле Украины ощущают нечто подобное.

Когда-нибудь я поищу Токмак по карте, поеду туда и обниму тех, кто выжил: знакомых уже по текстам и фоткам старух в «хусточках», нескольких миловидных дам с достоинством и тоской в глазах, возможно, моих ровесниц, сидящих в пока еще уютных кухнях, но некоторые и в укрытиях; мальчика-аутиста, сына Наталочки (так я стала называть ее про себя после того, как увидела в Зуме навстречу для родителей с оккупированных территорий, после ее эмоциональных текстов-всхлипов: «так жахливо сьогодні...», «скільки ще дивитися окупанту в очі?!»), и старшего ее сына, пятнадцатилетнего, тоже обниму. Обниму и скажу «спасибо» за то, что они позволили мне изменить хоть что-то в ходе этой войны. «Держитесь», «тримайтесь» — я путаю языки, я спешу поддержать их бедными, слабыми словами, проговорить, как магическое заклинание: «Слава Україні!».

Федор Попадюк:

Предпоследний раз я плакал 18-го марта, когда в кафе отеля, где мы живем, услышал ответ папы на вопрос своей дочки неполных четырех лет по поводу того, когда они вернутся в Киев.

«Вот когда Котигорошко победит Змея Горыныча, тогда и приедем», — сказал папа.

У меня тогда все три недели войны в один момент сжались в эти два сказочных персонажа, и меня прорвало.

После первых недель войны сознание начало выстраивать защитный барьер, из-за которого все сложнее было испытывать какие-то эмоции вроде страха и горя, кроме периодических вспышек гнева и ненависти.

Чаще всего получалось испытывать просто «пустое ничто»: читаешь об убитых, раненых каждый день, постоянно читаешь о разрушенных городах — и ничего не чувствуешь.

И две недели назад Котигорошко, который борется в Киеве со Змеем Горынычем, как будто бы хакнули этот защитный барьер и распаковались у меня в сознании всеми ужасами войны. Меня покорежило от боли один вечер, и я снова закрылся от этого.

Сегодня утром, когда я в первый раз смотрел на фотографии того, что русские оставили после себя в Буче и окрестностях, меня снова сковало это «пустое ничто».

Я смотрел на не до конца засыпанных песком мертвых людей, лежащие на земле тела, на потемневшие руки и лица.

И в момент, когда я подумал о том, что все они — это еще и я, меня снова пробило.

Это в моей квартире выбили дверь, это мне связали руки и меня заставляли начать сотрудничать. Это меня били в лицо прикладом, и это я чувствую немоту, острую боль и вкус горячей крови.

Это мне надели мешок на голову и выстрелили в затылок. И это я лежу на асфальте рядом с собственным домом.

Это я и мой муж пытались уехать, обвязав машину белыми лентами. Это мы видим БТР. Это по моей машине стреляют вражеские солдаты, и это во мне остаются их пули.

Это я сижу на водительском сидении и смотрю на то, как моя жена истекает кровью. Это я испытываю ужас от того, что ее лицо не шевелится. Это я везу тело мертвой жены обратно. И это я, ис-

пытывая «пустое ничто», беру лопату и начинаю выкапывать яму рядом с нашим домом, и это мое онемевшее сознание наблюдает за тем, как я механически тащу ее к этой яме и с пустым лицом засыпаю ее тело землей.

Это меня схватил какой-то пьяный русский с безумным взглядом. Это меня он швыряет на кровать и меня бьет по лицу рукой, когда я пытаюсь сопротивляться. Это на меня он дышит перегаром и капает слюной. Это меня насилует он, а потом его такие же пьяные сослуживцы. И это меня после этого выкидывают с балкона на чей-то припаркованный автомобиль.

Это меня давит танк. Меня смертельно ранят осколки. Это я горю заживо.

Я — это они. Они — это я, которому повезло не оказаться не в том месте и не в то время. Которому повезло продолжить жить и который может плакать только тогда, когда представляет себя на их месте.

Плакать и желать пережить то же тем, кто все это с нами сделал.

ДЕНЬ 59

Мои мысли скачут от одних к другим, от аврала к авралу, но датировка записей позволяет составить карту: вот «они» сосредоточились на уничтожении Харькова, вот прошли бои за Киевщину, а вот — за «коридор» на востоке. И вот перед православной Пасхой пришла очередь моей малой родины. А у нас — операция по отправке «лік»: Женя С. помог собрать деньги на посылку побольше. Но тут и аппетиты возросли: подруга, гоняющая по всему городу в поисках необходимых лекарств, услышала еще от кого-то о жутком дефиците кровеостанавливающих под Николаевом. «Давай купим жгуты на оставшиеся!»

Это не дело жизни, конечно, но это может остановить кровотечение. И спасти от отчаяния: пока я переводила в Украину «оставшиеся» деньги, прибавляя там и сям, в Одессу «прилетели» шесть ракет. И вот когда А. пережидала в коридоре тревогу, она быстро заказала жгуты. Одна ракета угодила в жилой дом недалеко от нее, но, возможно, это жгуты ее спасли. И не отправленная еще посылка с лекарствами. И пусть не всегда охраняют нас добрые дела, но все же, все же... они дают нам тоненький защитный слой. Так хочется в это верить.

А вообще-то: убито восемь человек, разбито осколками Таировское кладбище, где лежат мои бабушка и дедушка, где лежит папа А. Кто-то уже выложил съемку в Интернет. В прыгающем видео мелькает лицо убитого горем мужчины.

— Ты помнишь его пекарню? То есть кондитерскую на Еврейской, ты же заходила в нее в последний приезд! Это его жена и дочка...

Нормальные люди спрашивают:

— У вас там нет родных, наверное? Вы ведь давно уехали...

А мне кажется, что я знаю уже почти всех. Всю страну. Потеря каждого невосполнима, невысказана.

Нет, все, об этом нельзя думать, впереди лекция для новой группы мам, на этот раз — из Первомайска. Я должна проецировать спокойствие и надежду даже в те дни, когда я сама их не ощущаю.

...Уже ясно, что война не закончится быстро, а раны так и вовсе будут затягиваться не одно поколение. Кто знает, может, следующие 60 дней превратят мои записки бойца несуществующего фронта в «обычные» записки отчаявшегося психотерапевта. Скорее бы. Скорее бы мы все вернулись к нашим «мирным» профессиям, как бы ни изменила их война. Человек устаёт ненавидеть и бояться. И то, и другое вредно для здоровья. Как, впрочем, и смерть.

ОБ АВТОРЕ

Галина Ицкович живет в Нью-Йорке с 1991 г. В 1998-м получила степень магистра социальной работы. Галина — практикующий психотерапевт, клинический консультант и преподаватель-эксперт института ICIDL, лектор, специализируется на проблемах психологической травмы, семьи и детей. Автор профессиональных статей, стихов, путевых очерков, короткой прозы. Книги: «Примерка счастья» (стихи и переводы), «Женская поэзия Америки» (переводы, соавтор). Ведёт авторскую программу «Поэтический невод» на интернет-радио «Поговорим» (Нью-Йорк). Неоднократный финалист и лауреат международных поэтических конкурсов. Несколько публикаций в англоязычных журналах и альманахах.

С первых дней войны принимает активное участие в гуманитарной и психологической помощи гражданским лицам и профессионалам в Украине.

АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛЯЯ...

Украине и её доблестным защитникам
посвящается

ЮРИЙ НЕСТЕРЕНКО

С чего начинается гадина?
С удушливой лжи по ТВ,
С попов, пешеходов таранящих
На «Лексусах» и «БМВ».
А может, она начинается
С той первой абхазской войны,
С тех криков и плачей, и выстрелов,
Что не были русским слышны?
С чего начинается гадина?
С не втоптаных в грязь кумачей,
С портретов тирана усатого,
И чествовань палачей.
А может, она начинается
С той мантры про «Родину-Мать»,
Не просто с незнания истории,
А и с нежелания знать?
С чего начинается гадина?
С креста перед входом в МИФИ,
С гламурной покрашенной курицы,
Которой политика — фи.
А может, она начинается
С завистливой злобы раба,

С мечты, чтоб соседу свободному
Скорей наступила труба?
С чего начинается гадина?
С парадов и олимпиад,
С вельможно-холуйского барина,
Что лижет начальственный зад.
А может, она начинается
С дворцов и офшоров вдали
И с маленьких глупых гадёнышей,
Что курс Селигера прошли?
С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших блядах.
А может, она начинается
С «портянок» и «ботов» сетей,
С умения воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?
С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин [bad word]
А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?

Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси...

Написано в 2014 г.

Юрий Нестеренко родился в Москве. В 1995-м окончил МИФИ с красным дипломом. В 2010-м эмигрировал в США, попросив политического убежища. Получил гражданство США и сменил имя на *George Yuri Right*.

ВАСИЛЬ МАХНО

как там у Тычины, Боже:
«И Белый, и Блок, и Есенин»
ими весь свет загорожен
со всех четырех обсели
дай же нам воли и силы
хлеб и походный рюкзак
брешут их рыжие лисы
на наш стародавний стяг
ведёт же нас Игорь гневен
за Дон со своим полком
сегодня с февральским снегом
и завтра — с червлёным щитом
они же всей тьмутараканью
всей мокшей всей чудью идут
стреляют по нашему стану
по нашим позициям бьют
и что там в «Слове об Игорево»?
какие там ять или ер
враждой заслюнившись прыгает
ваш волк на старый барьер
дошли вы до рек и кордонов
и сердце моё в кулаке
черны стали ваши иконы
не отбелить в молоке
Боже, как там у Тычины:
про Киев — Мессию — и высь
что ж мы тех стихов не учили?
теки — моё сердце — сочись

Перевод Аркадия Штыпеля

Василь Махно — украинский поэт и переводчик, эссеист. Закончил Тернопольский педагогический институт (ныне — университет). Защищал диссертацию. Преподавал литературу в *alma mater*, в Ягеллонском университете. С 2000 живёт в Нью-Йорке. Автор книг стихов, эссе. Переводит поэзию с английского и польского языков.

ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ

Мама, мама, война, война!
Эхо в сердце — вина, вина.
Загорелся Херсон к рассвету —
Мне за это прощенья нету:
Подожгла-то — моя страна.
Это с нашего большака
Серых танков течёт река —
Это я их не остановила,
И поднимут теперь на вилы
С нашей улицы паренька.
Мама, мама, из-за меня
Нашим хлопцам кричат — русня,
Убирайтесь, мы вас не звали!
И друзья ночуют в подвале
В милом Харькове — из-за меня.
И в Жулянах горят дома.
Я, наверно, схожу с ума —
С каждым выстрелом по Украине —
Петербург и Саратов ранен,
И мой дом накрывает мгла.
Это я виновата, я,
Что с убийцею, страх тая,
Проживала в одной квартире:
Вот стоит он в мире, как в тире,
Карту комкая и кроя.
Мама, мама, война, война!
Эхо в сердце — вина, вина.
Кто горит, кто убит, кто ранен?
С каждым выстрелом по Украине —
Убывает моя страна.

ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ

Погода на дворе промозглая,
Стоит гриппозная весна.
Куда ты прѣшь, моя безмозглая,
Моя бесхозная страна?

Ещё с большим трудом любимая,
Худой, видать, я патриот,
Никем пока непобедимая,
Хотя похоже, что вот-вот.

Не вражья сила закордонная,
Не злобных недругов навет,
Самой собою замордована
Сама себя сведѣшь на нет.

Не презирай расчёта голого,
И нас, убогих, не губя,
Включи хоть раз ты буйну голову,
Или чего там у тебя.

ВИКТОР ФЕТ

Страна разрывает страницы свои,
Война расставляет все точки над «и»
Следами от русской шрапнели
Там, где мы гуляли и пели.

Там, где криворожское детство моѐ
Славянские буквы смешало,
Из древних времён золотое копье
Вонзается в груды металла.

Из мрака на свет не рождается враг,
Удушен своей пуповиной,
На дно океана, где крейсер «Варяг»,
Спускается остров Змеиный.

Кольцуется хвост меж зубами змеи,
И точка двойная над киевским «і»
Дрожит в окуляре прицела.
Душе непривычно без тела,

Кончается снова февральская ночь,
И красен рассвет в Фермопилах,
Молитесь же с теми, кто может помочь,
Молитесь за тех, кто не в силах.

25 февраля 2022 г.

ЮРИЙ КОЛКЕР

Внемлю аду и внемлю раю,
Но молитву твержу одну:
Ненавижу и презираю
Эту гадостную страну.

Вся — бахвальство и ложь от века,
Кнут ей — воля, суд ей — кистень.
Днём с огнём ищи человека
Средь потёмкинских деревень!

А уж витязи! Подлотворна
Кровожадных рабов орда.
Имя русский — навек позорно.
Не отмыть его никогда

Лондон

ВИТАЛИЙ АМУРСКИЙ

Плюнули в душу, кинули
Сердце во власть огня:
С лязгом тянется к Киеву
Путинская броня.

Детища Уралмаша,
Двигающиеся не на парад,
Верю, — могилой вашей
Станет великий град.

Что ж, оглушите рокотом,
Залпами, но потом:
Будьте вы трижды прокляты! —
Скажет вам каждый дом.

Там, где не хватит снаряда,
Встретит горячая смесь.
Верю — ворота Ада
Вам распахнутся здесь.

Париж. В ночь с 1-го на 2-е марта 2022.

ЭД ПОБУЖАНСКИЙ

Твои генералы вконец ошалеют,
В широких лампасах нет правды и чести,
Шинели из драпа пропахнут «Шанелью»:
«Шанель № 300», «Шанель № 200».
Война всех пометит кровавою охрой,
Вовек не отмьешься — не смоешь ожоги,
И то, как мы жили, — и бедно, и плохо —
Покажется лучшими днями для многих...

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Английский генерал воскликнул: «Храбрые французы, сдавайтесь!» Камбронн отвечал им: «Merde!» (Дерьмо! — франц.). Произнести это слово и потом умереть — есть ли что-нибудь более возвышенное?

Виктор Гюго, «Отверженные»

Пять десятков прожив с половиной
Неуклонно сгущавшихся лет,
Угодил я на остров Змеиный,
А с него отступления нет.

Ибо жизнь — это остров Змеиный,
А под стать ей и Родина-мать.
Мы привязаны к ней пуповиной,
Но однажды приходится рвать.

Местной жизни моей угрожая,
Вы подобны тому кораблю.
Искони ты была мне чужая.
Ты не любишь — и я не люблю.

Сколько можно молить и гундосить?
Нынче время понять и проклясть,
Эту жизнь нелюбимую бросить,
Как гранату, в зловонную пасть.

Всё расхищено, всё пережито,
Что не вывезли, то размели...
Чем мне, собственно, здесь дорожить-то?
Разве горстью змеиной земли?

Но на ней уже царствуют змеи,
Их ползучий, безудержный зуд,
И поэтому будет вернее
Ничего не достраивать тут.

Мы ли ждали другого финала?
Мы ль хотели иного конца?
Я ведь прожил с клеймом маргинала,
То есть, проще сказать, погранца.

Прав поэт — «несравненное право
Самому выбирать свою смерть»,
Но сначала тебе, сверхдержава,
Харкнуть в морду законное «Merde».

С вашей бляхой, папайхой и плахой,
С вашим вечным «пугай и карай»...
И поэтому шёл бы ты на ...,
Мой российский военный корабль.

ГАРИ ЛАЙТ

Этот мир полюбит небесную Украину
в раскаянии праведном, чувстве вины и прочем,
но с вечной усмешкой, защитники со Змеинового
мир не услышат, будучи «Градами» порваны в клочья...

Девчонка-скрипачка из киевской теробороны
Верит в Господа Бога, но не в Бориса и Глеба,
В святой Софии от взрывов дрожат иконы,
и плачет открытое настезь, голое небо...

Кропивницкий спецназ не вспомнит счастливый случай,
но за убитый Харьков и за сожженную «Мрію»
сжигает в упор орду, пришедшую в Бучу,
закрывая собой единственный в мире Киев.

В Гостомеле медсестра бинтует раны пленного из Рязани,
она проклянет его позже глазами Юдифи,
но не сейчас, когда он рыдает и шепчет слова о маме,
всё происходит как в древнегреческом мифе.

В Ирпене из горящей квартиры выбрался только котёнок,
его согревает за пазухой израильский доброволец,
вот ведь везёт ему на котов, ещё с одесских пелёнок...
Он из Газы спас и привёз двоих, и теперь вот стоит и молится...

Всё это вершится сейчас, по весеннему сплину,
В разрывы и вечность уходят любимые люди,
Америка и Европа полюбят небесную Украину,
Потом о любви! Нужно просто закрыть от нелюдей небо...
Другой Украины у этой планеты уже не будет...

5 марта, 22-20

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

Поведайте
кем мне себя назвать
коль мать с Полтавщины
отец — из Мензелинска
мне душу пополам не разорвать
она жива пока за счёт единства
в любви переплетённых ваших душ
меня любовью позже одаривших
и завещавших преданности дух
свободе
над землёю воспарившей

Меня растил мой украинский дед
в тюрьму упрятанный по подлому доносу
но выживший в Гулаге десять лет
чтоб собирать со мною абрикосы
и в голову мою всех знаний клад
которым обладал ещё до срока
вложить
он верил в жизненный расклад
и знал
что скоро кончится морока
он честь сберёт
и он смотрел вперёд
презрев и суеверья
и доuku
но не предвидел —
новая грядёт
и перемочь её придётся внукам

где русский мир
едва привстав с колен
и для надёжности крестами обмотавшись
пойдёт войной на не принявших плен
возжаждав крови преданных и павших

Но мы другие
мы — другой народ
и в жажде жизни мы теперь едины
нас не сломить
и нас не побороть
мы — украинцы
мы — непобедимы

8 марта 2022

ЗОЯ ПОЛЕВАЯ

Моё сердце рассечено этой войной.
Я о близких молю, я страдаю виной,
Я прощенья прошу у могилы отца.
Как прикрыть эту землю, с какого конца?

Там лежит моя бабушка в Бабьем Яру,
Но я знаю: я выживу, я не умру.
Не теряя реальность, я словно во сне:
Вот мой город, мой дом, моя мама в окне.

Что ж за мальчики в касках, на чьём языке
Говорят ваши танки, сползая к реке?
Уходите! Не пейте воды из Днепра.
Дома матери ждут, возвращаться пора.

Всем вам хватит огромной российской земли,
Уходите домой, вы напрасно пришли.
Затянулись ученья до чёрных дымов —
Вас опять обманули. Идите домой.

Украина сегодня в огне и в борьбе.
Мир с тобой, Украина, и жизни тебе!

ПОЛЬ КОРДЕ

Правда бывает страшной и очень горькой.
Правда лежит в бинтах на больничной койке,
Правда горит огнём в городах и сёлах,
Правда в пустых прилавках, закрытых школах.

Правда вскипает гневом в ответ на подлость,
Правда пройдёт сквозь ужас и безысходность,
Правда выходит грудью под ствол орудий,
Правда настигнет всех: подсудимых, судей...

Правда: мы всё испортили и заплатим
Болью за боль, за копоть в разбитой хате,
Сумрак подвалов, ступени метро — убежищ,
Кровью за кровь — так хлещет, что не удержишь.

Но и у нас есть люди Земли и мира,
Те, кто не сотворяли себе кумира,
Те, кто желает света на всей планете,
Чтоб старики спокойны и живы дети...

Мы обязательно справимся. Как — не знаю.
Но этот лёд растает, и страх растает.
Самое тёмное время — перед рассветом.
Мы соберёмся, вместе найдём ответы.

Слышишь? Весна! И скоро любовь воспрянет.
Вы продержитесь, пожалуйста, в поле брани.
Каждый, как может, боритесь за мир и правду.
Это и цель, и истина, и награда.

Санкт-Петербург

ДМИТРИЙ ЧЕРАШНИЙ

Пугая безотчётно тишину,
под смех реки, над страхами дубравы,
познав болезни, радости, вину
звон колокола чистый, величавый,
плыл, наполняя силой паруса
и новый день, удачей окрылённый,
с напором раздвигая небеса,
раскачивая тополя и клёны,
часам к семи явился под балкон.
Раздумывал: будить, не беспокоить?
Что общество поставило на кон:
работу, полусонные покои?
Из бака выпал мусор, тьма газет,
но вряд ли день прочтёт передовицы,
а наш парализованный сосед,
на передке отвыкший от столицы,
себе-то не помощник без жены,
а гостю, что за окнами мелькает,
тем более — сидел белей стены,
точь-в-точь герой бестселлера о Кае.
А день шутил, без спроса в окна лез,
как в свежий Windows юзер пятилетний,
и не подозревая — мир исчез,
тот, прежний мир. И с ним благие сплетни.
День и сосед, живущий за стеной,
и мартовское небо голубое
столкнулись, окружённые войной,
и замерли у кромки поля боя...

Киев

НАУМ САГАЛОВСКИЙ

Загадочен и мутен,
лицом как медный грош,
Владим Владимыч Путин
на Гитлера похож.

Такой же мозг малюсенький,
и языком трень-брень,
ему ещё бы усики
и чубчик набекрень.

Без почестей — ни шагу,
зато кишка слаба,
и ждёт его, беднягу,
Адольфова судьба.

Даст Бог, и всё исполнится:
не в праведном бою —
он в бункере с любовницей
окончит жизнь свою.

ГЕННАДИЙ КАЦОВ

мальчишки, забыли вы что-нибудь здесь?
вишь как по обочинам вас разбросало:
вон в корчах один, как объелся гвоздей,
другой, как набрался хохляцкого сала

что спать не дало в многодневном пути?
язык на допросе раскрыл: шёл на киев,
довёл всех и сдал, как ненужный утиль,
как скарб прохудившийся души людские

был дан вам приказ, и маршрут, и паёк —
стал вашим убийцей, вас к братьям-славянам
пославший: вас ранняя смерть отпоёт,
подгонят по росту бушлат деревянный

ребята, ведь вас привели умирать
и всем вы враги, никакие не братья:
здесь выйдет навстречу вам чья-нибудь мать,
чтоб плюнуть в лицо со словами проклятья

вы вторглись туда, где никто вам не рад,
пошли на одессу, а вышли к херсону,
но дальше дорога спускается в ад,
где встретит антихрист с болезнью кессонной

03.02.2022

ГРИГОРИЙ ОКЛЕНДСКИЙ

Россия погрузилась в тяжкий сон.
Двуглавого орла косые тени
Народу не укажут путь к спасенью.
А коль укажут — будешь ли спасён?
Народ безмолвствует... и тихо вымирает
Под колокольный звон.
В столице, тёмной силою играя,
Бесчинствует закон.
Опять штрафные нарезать круги,
Внушать надежды новым поколениям,
И видеть свет, где не видать ни зги,
Не поддаваясь горестным сомненьям.
Де-ржавы(й) гимн играет патефон,
Скрипят слова, похожие на стон...
Великая безликая страна,
Кому ты в услуженье отдана?

Окленд, Новая Зеландия

ЕВГЕНИЙ КОБЛЕНЦ

Ничтожество вошло во вкус —
Один Аншлюс, другой Аншлюс.
Но знаем, что произойдёт
Страны безумной укорот.
Подобное не раз случалось.
Казалось, бешенство унялось.
Но было слабым наказание
Для извращенного сознания.
Ну что ж, державные подонки,
Вы новой захотели гонки!
Её получите опять,
Но славы в ней вам не сыскать.
Друзей вы в мире не найдёте,
Свое отечество просрёте.
Страна — фашист, бандит и вор,
Презренье, ненависть, позор!
Надежда теплится. Когда-то
Проснется мир без паханата.
Падёт режим Кремлёвских стен
Как пал и сгинул Карфаген.

Нью-Йорк

А. ОРЛУША

Не дарите военным одеколон
Двадцать третьего февраля
Потому что скоро смешается он
С ароматом «сыра земля».

Не дарите солдатам бритвы Gillette.
Безопасных не нужно бритв
Тем, на ком будет с дыркой бронежилет,
Ведь не бреются, кто убит.

Не дарите фляжек с гвардейским значком.
Не успеет выпить за вас
Тот, кто будет небо пустым зрачком
Озирать в предрассветный час.

Получив смс-ку «скоро вернусь»,
Посмотрите в стёкла окон:
Журавли летят, курлыкая грусть,
А один из них — это он...

Не дарите солдатиков детям солдат
В день защитника той страны,
Что отцов отправила в никуда
По дорогам ненужной войны.

Москва

АЛЕКС ЩЕГЛОВИТОВ

Кому верить? У каждого правда своя.
У покойников правда от бога.
Лишь вчера они были мужа, сыновья,
А сегодня объект некролога.
Некрологов не будет. Не будет и тел.
Их сожжёт полевой крематорий.
Их верховный душою давно озверел,
Возжелавши чужих территорий.
Україна, душою и сердцем с тобой.
Я твой сын, хоть и ныне далече.
На просторах твоих разгорается бой,
Топчет землю твою мразь и нечисть.
Но я верю в тебя, Україна моя,
Никогда не теряя из виду.
Твоя армия, люди, твои сыновья
Не дадут свою неньку в обиду.

27 февраля 2022

МИХАИЛ ГРИНБЕРГ

ОДНАЖДЫ В МАРТЕ

1. ВОЙНА

Когда потянуло палёным
И стало ни зги не видать,
Еще одному батальону
Черёд наступил улетать.
Не слышны им детские стоны
Среди развороченных стен,
Не машут платочками жёны,
А только, поднявшись с колен,
Свирепая злая старуха,
Приёмная общая мать,
Вослед им невнятно и глухо
Ругается матом опять.

05-07.03.2022

2. МАРИУПОЛЬ

Страданиями питается тиран.
Ни золото, ни власть волной запойной,
Ни раболепный страх далёких стран
Души пустой и скуки беспокойной
Не лечат, но едва раздастся стон
И рухнут искорёженные плиты,
Похоронив всех тех, кто не убиты,
В кривой улыбке расплывётся он...
Взойдет трава, закончится война,
Завалы разберут, лишь мы в подвале
Останемся, где долго умирали,
Вовек не искуплённые сполна.

21-22.03.2022

3.

Грядущее свершается сейчас...

Арсений Тарковский

Мне места нет на пире всеблагих,
Где, разрушая домыслы и враки,
Из снов дурных сбежались вурдалаки
И кровь людскую глушат на троих.
А из тумана завтрашнего дня
Среди руин огни дремучей злобы
Оскалом рыл сквозь ржавые сугробы,
Как жерла шахт, нацелены в меня.

25–27.03.2022

4. У МОРЯ

Гроза, пройдя сегодня стороной,
Теперь поодаль поливает градом
Всех тех, кто оказался с нею рядом,
И молнии метает по одной.
Уйди под крышу, здесь один песок,
Пожухлая трава на низких дюнах,
Штакетник, пена на тугих бурунах
И жёсткий ветер, колющий висок.

28.03.2022

Михаил Гринберг родом из Ленинграда. В настоящее время живет в Америке. Много раз переезжал с места на место. Получил техническое образование, первую половину жизни проработал по специальности, а вторую половину занимается гуманитарным трудом. Пишет стихи с детства, но никогда не публиковался. В социальных сетях не представлен.

МАРИНА ГЕНЧИКМАХЕР

Кто завтра будет лаврами увит?
О ком сегодня жёны голосили?
Мой Киев, будто в древности Давид,
Сражается с безумием России.

В нём умирают, поминая мать,
Спасая близких в дымной круговерти...
И я, прости, Господь, желаю смерти
Пришедшим гордый дух его сломать.

Они пришли не по своей земле;
Им восемнадцать или девятнадцать,
Но КГБист, пирующий в кремле,
Из россиян их превращает в наци.

Ему по сердцу орудийный гром,
Ему по нраву танки и мортиры...
За что мой дед был ранен под Днепром?
Чтобы кровавый молох правил миром?

Калифорния

Михаил ГОНЧАРОВ
НОВЕЛЛЫ

МОЙ ДРУГ ИВАН

Вчера в гости приезжал Иван. Есть такие люди, рядом с которыми чувствуешь себя невольным вампиром: автоматически подпитываешься их энергией и заряжаешься их оптимизмом. Ваня живет в Кирьят-Арбе, ходит по арабским районам Хеврона враскачку, как моряк на суше. За ним следят тысячи ненавидящих глаз, он их не замечает. Примерно раз в неделю на него нападают в перулах: с ножами (Ваня умеет драться ножами, как самурай именными кинжалами, умеет кидаться ими в цель на спор, и всегда побеждает), с пистолетами (Ваня хорошо стреляет из пистолетов всех видов), с автоматами (у Вани через плечо небрежно перекинут среднекалиберный «Узи», которым он навскидку пользуется одной рукой). Однажды, когда он выходил проулком к Пещере Праотцов, его молча прижала к каменной стене толпа безоружных в масках (и безоружие нападавших было исключением из правил, к которым он привык уже давно); Ваня счел при таком раскладе неблагородным пускать в ход кинжалы, пистолеты и автоматы — и принял бой вручную. Он поступил с ними так, как поступает в соответствии с кодексом Бусидо одинокий самурай, владеющий всеми мыслимыми и немыслимыми приемами рукопашного боя, с бандой взбесившихся крестьян. Задолго до того, как на место с ближайшего блокпоста примчались взмокшие солдаты, тет-а-тет был закончен: толпы не было, на земле, в тени виноградных лоз, спускавшихся со стены, валялись двенадцать человек, некоторые из которых слабо шевелились; Ваня ходил между ними и, бормоча русские слова, собирал трофеи. Обернувшись к подбежавшему двадцатилетнему лейтенанту с перекошенным лицом, он огорченно сказал,

что плебеи остаются плебеями в любой ситуации, — и показал коллекцию ножей, кинжалов и кастетов, которые он ногами выбивал из рук нападавших. «Я сперва думал, это честный поединок» — грустно заметил он. «Честный!..» — вскричал лейтенант, воздевая руки к высокому синему небу, падавшему сверху между узких стен, — «ты был один!» — «Так что — если бы нас была толпа, а с той стороны всего один, то ты сказал бы, что это честный поединок?» — печально сказал Ваня, и лейтенант не нашелся, что ответить.

Он ездит на своем древнем, дребезжащем микроавтобусе с незакрывающейся дверью по самым опасным дорогам, где спокон веку стреляют из засад с вершин лысых холмов и из лохматых кустов по обочинам, — и пыльный, пахнущий солнцем и смазкой «Узи» лежит за приборной доской наготове. Восемь раз он принимал бой на полной скорости, сидя за рулем, пять раз был ранен, трижды успевал по мобильному телефону вызвать подмогу, в остальных случаях оставался один на один. В последний раз он вез беременную жену соседа рожать в больницу, и их обстреляли уже недалеко от города. Стекла брызнули ему в лицо, он вслепую открыл огонь и дал газу; выстрелы сзади затихли. Потом полиция насчитала в лощине на вершине засадного холма три трупа.

Когда была война, они с женой Светой приняли в своем доме в Кирьят-Арбе пятнадцать беженцев с Севера. Представляешь, улыбался он, эти хайфачане до того не видели жизни, что ничего не понимают вообще: когда я сгрузил их и скарб у моего крыльца, одна бабулька, которую я вынес из машины и аккуратно поставил на землю, оглянулась на скопище арабских домов Хеврона — там высились минареты и кричал муэдзин; и она спросила, обреченно так: «Мы уже в Газе?» — «Ещё нет, — радостно ответил я, — но скоро».

Он неоднократно бил морды своим — тем своим, кого он за своих не считает — выступал на радио, на митингах, его арестовывали, отпускали, отбирали и возвращали оружие; после очередного теракта, в котором были расстреляны женщина за рулем и дети, ехавшие на заднем сиденье, к ним пожаловал с ласковыми словами утешения комиссар полиции; Ваня плюнул комиссару в лицо, и тот был очень огорчен — аккуратно смывал плевок носовым платком, пока пять сотрудников службы безопасности безуспешно пытались ломать руки хулигану, отбивавшему поползновения ударами каратэ в глухой обороне.

Я из Бишкека, говорил мне Ваня, вернувшись с отсидки, так пусть комиссар благодарит Аллаха, что при мне не было в тот раз ничего более существенного, чем руки. Я косился на его руки — синие жилы переплетались под загорелой кожей, как татуированные змеи, и ударом ребра ладони он отбивает горлышки бутылок, когда недосуг искать штопор.

Иногда ему хочется отдохнуть по-человечески, — как он говорит, — «за рюмкой чая», — тогда он приезжает ко мне. Заслышав дребезжание и хлопанье незакрывающейся двери микроавтобуса, Софа выглядывает в окно и кричит мне: «Иди, твой Вестерн прибыл!» Вестерн — так она зовет его.

Я бегу в кухню и начинаю доставать из холодильника всё, что Аллах послал. Штопор я не ищу — Ваня обойдется без него. Он неприхотлив в еде, ему можно было бы дать на закуску шмат свиного сала, если бы этот шмат водился в моем доме. Он неразборчив в выпивке.

— Господа все в Париже, — говорит он, смешивая в вазе для цветов красное сухое, бренди, чуть водки, и заливая этот водопад бутылкой пенящегося пива «Голдстар». Он входит в квартиру шаркающей походкой кавалерийского офицера и с порога подхватывает, подкидывает к потолку мою дочку. Она визжит, она обожает его. За едой он невнятно бурчит, что всё не так плохо, как можно было бы надеяться, и всё пытается подлить мне свой коктейль из цветочной вазы.

Когда первый голод гостя утолен, на кухню входит Софа, и начинается то, что я при всем желании не могу назвать дискуссией. Софа говорит, что всё плохо, а Ваня отвечает, что всё очень хорошо. Софа отвечает с вызовом, что все нормальные люди давно уехали в Канаду, Ваня спокойно отвечает, что он отродясь не был нормальным человеком. Софа констатирует, что в свете происходящего она привезла сюда свою семью на смерть, Ваня пожимает плечами — на миру и смерть красна, а вообще, старуха, нельзя так пессимистично смотреть на течение мировой истории, Аллах поможет, а если не поможет, потому как действительно не за что ему нам помогать, на то он и Аллах, то пусть в любом случае не боится — пока он, Иван, здесь, ничего плохого с его друзьями случиться не может, так сказал ему один очень сведущий каббалист, хотя он лично человек не религиозный, зато каббалист был религиозным, а значит — знал, что говорил. Потом он отбивает ребром ладони горлышко у бутылки водки «Голд», и это значит, что пора петь песни.

Ваня любит петь песни. Он родом из Бишкека, там все русские люди поют песни, когда не очень весело, и привычку свою Ваня привез со снежных вершин гор Киргизии на раскаленные плато Иудей.

Он художник, и скульптор, и бард. Он сам пишет песни, не считая их за творчество, не воспринимая за поэзию, не вдаваясь в мелодию. Он всегда спрашивает меня, что я, на правах хозяина, хотел бы услышать для начала. Мне всё равно, я люблю, когда эта каменная глыба навалится на стол, сожмет руками, сотворенными, казалось, из железного дерева, гриф гитары, ударит по струнам и взревет распаленным быком — всё, что угодно: об артиллеристах, которым Сталин дал приказ, Визбора, Городницкого, Интернационал, Хорст Вессель, или песни наших здешних — Гриши Люксембурга, передававшего ему давеча поклон, покойного Саши Аллона, или Зеева Гейзеля, который ему давеча тоже привет передавал. И Буська вскарабкивается ему на колени, и он берет три аккорда. Он поет «Пастуха», свою песню, и несмотря на незамысловатость слов и мелодии, мы втроем дружно смотрим ему в рот.

Он прекращает петь и говорит виноватым голосом боцмана из «Острова сокровищ»:

— Никак, у меня что-то в глотке пересохло...

Я наливаю ему граненый стакан ледяной водки «Голд», он всегда пьет у меня эту водку только из этого стакана, выпивает бережно, держа другую руку на отлете, смотрит на нас повлажневшими глазами, говорит севшим голосом:

— Господи, смачно-то как! — вкусно хрупает малосольным огурцом, услужливо поднесенным Софой на тарелочке.

Потом он поет ещё и ещё, на русском и на иврите, чужие и свои песни, и в гром бешеного ритма из трех аккордов вклиниваются тихим диссонансом «Журавли», которые он перевел на библейский язык, и сразу ясно, что песня эта — не только для России.

Я смотрю на его взмокшую от пота рубашку солдатского покроя, которую, кажется, вот-вот разорвут перекатывающиеся под ней мускулы, на этого мастодонта, а он продолжает петь, и я все гляжу на него, и в глазах встают снежные вершины далеких гор, и край ледника тех времен, когда мир был юным, и вижу мамонта, ворочающегося распоротым брюхом в яме со вбитым в нее колом, и слышу яростный вопль из задранного хобота, и бьющий из него в низкое серое небо фонтан крови, и кучу звероподобных пигмеев, суetyающихся у края ямы.

На город давно упала тьма. Крупные звезды мигают в такт мелодии, а соседи, высунувшиеся из всех окон, отбивают этот такт ногами.

Наконец, он откладывает гитару, выпивает ещё один стакан, проводит рукой по мокрому русому чубу и встает. Буська, надув губы, сползает с его колен, он звонко чмокает ее в щеку, и я иду во двор проводить его. Он глядит угрюмо — медведем, исподлобья, и идет по двору походкой моряка, вразвалку, и пока он огибает свою машину, я провожу кончиками пальцев по ветровому, защищенному тройной пленкой от выстрелов стеклу, и чувствую вмятины, трещины и аккумулятно-круглые дырочки от прямых попаданий.

ПАСТОР

Мы познакомились с ним на Яффо, центральной улице Иерусалима, лет десять назад.

Я шел по тротуару. Высоченный, как дядя Стёпа, худющий, сутулый, одетый в белую рубашку, белые шорты, белые гетры, бело-волосый, бородатый человек с белой ковбойской шляпой и в черных очках катился на странной конфигурации велосипеде против движения транспорта, громко распевая псалмы на английском языке. Поравнявшись со мной, он остановился, взмахнул шляпой и заорал: «Хавр-ю????» Я вежливо улыбнулся в ответ: «Итсокей, сэр». Он снял очки — гладко выбритое, розовое лицо с голубыми глазами оказалось совершенно младенческим.

В Вечном городе всегда хватало и хватает сумасшедших, к ним нужно относиться бережно, отвечать на их вопросы нужно вежливо; врачами официально зафиксировано некое психическое отклонение в поведении многих и многих лиц, пребывающих именно в этой точке земного шара, как среди местных жителей, так и среди туристов. Заболевание, являющееся, скорее, временным помешательством, даже получило название Иерусалимского синдрома.

Я решил, что имею дело с одним из, так сказать, представителей. До сих пор не знаю, ошибался ли я тогда.

Мы стояли, болтая, около получаса, после чего я пригласил Питера к себе домой...

Мистер Брук родился и прожил почти всю свою жизнь в каком-то небольшом городке штата Иллинойс. Происходил он из семьи потом-

ственных евангелических христиан, людей суровых, непреклонных, пуритански настроенных в плане отношения к простым радостям жизни.

Питер был удачливым бизнесменом: на своём заводике, где трудилось около тридцати рабочих, он производил какие-то особенно удобные музыкальные унитазы — с подмывом, теплым сливом и ароматическим кондиционированием, как он мне рассказывал. Унитазы шли нарасхват по всей Америке. Я не очень знаю, что он имел в виду, так как сам никогда на таких унитазах не только не сидел, но даже их не видел. Дожив до семидесяти лет и сделав на супер-унитазах свои честно заработанные десять миллионов, он передал дела старшему сыну. В старости многие американцы, чтобы отдохнуть от напряженной жизни и не ссориться с детьми, предпринимают поездки в разные страны мира.

— Оттянуться по полной перед появлением Костлявой, — объяснял мне Питер.

Он не был исключением. Удалившись от дел, мистер Брук задумал совершить кругосветное путешествие на своём велосипеде.

У богатых — свои причуды.

Обладатель международного сертификата на музыкальные унитазы с теплым кондиционированием, глава многодетного семейства, примерный семьянин, имевший, помимо всего прочего, бумагу, удостоверяющую, что он является пастором, стопроцентный, типичный американец Питер Брук выкатил из гаража свой велосипед и, предварительно модернизировав его, тронулся в путь. Как мне показалось по его рассказам, домой возвращаться он не был намерен вообще...

Велосипед — для успешного всепланетного путешествия — был полностью переоборудован. Колеса были увеличены, рама удлинена, со всех сторон свисали разнообразные крючки, зажимы, пищалки и прочие странные приспособления.

Питер побывал во многих странах мира. Он был в Южной Америке, в Гренландии (которую, по его словам, объехал по периметру), во всех странах Европы, в большинстве стран Африки, Азии, в Австралии и даже на островах акватории Тихого океана. Невозмутимо покуривая маленькую черную трубочку, распевая псалмы, раскачиваясь и нажимая на педали, он катился мимо египетских пирамид, пустынь Калахари и Гоби, вдоль мангровых джунглей Конго и аллигаторовых болот бассейна Амазонки.

И всюду, куда бы ни забросила его судьба миллионера на отдыхе, он умудрялся помимо своей воли вляпаться в совершенно экзистенциальные, пограничные ситуации. Он вовсе не искал их специально — они регулярно находили его сами.

В этом и состоял парадокс пастора Брука. Он рассказывал мне о них с искренним недоумением.

В лесах восточного Заира, в пятидесятиградусную, удушливую тропическую ночь его схватило воинственное племя пигмеев, вышедших на слоновью охоту. Племя видело белых людей эпизодически — не более пяти-шести раз в поколение, и по недоразумению решило, что Питер — колдун, целью своего визита поставивший не допустить удачной охоты. Его собирались сжечь на костре, и даже стали уже танцевать в соответствии с ритуалом, привязав пастора к стволу баобаба, но тут раздался рев и на поляну выскочил лев, пребывавший, по-видимому, в дурном расположении духа. Пигмеи бросились врассыпную, но привязанный Питер ухитрился достать из кармана своих шортов двенадцатизарядный «бурбон» с разрывными пулями — и всадил царю зверей всю обойму меж глаз.

После этого племя пожелало породниться с великим колдуном, и вождь племени порывался отдать ему в жены свою младшую дочку — двенадцатилетнюю черную красотку ростом метр десять. Питер с трудом избавился от необходимости стать зятем пигмейского вождя, подарив ему пустой патронташ и велосипедный звонок, и покатил дальше.

В Южной Родезии, которая теперь называется Зимбабве, Питера с ликованием схватили местные контрразведчики, в каждом белом подозревавшие американского шпиона, и с назидательными целями хотели отправить в кутузку на всю оставшуюся жизнь. Тут дело уже не обошлось подарками типа пустых патронташей и велосипедных звонков. Чтобы подкупить стражников, Питер был вынужден полностью очистить свои карманы, где аккуратными перевязанными стопками хранились наличные и банковские чеки. В конечном итоге, ему дали сбежать, и даже вернули велосипед, и он помчался на юг — в сторону Южно-Африканской республики, распевая псалмы и проклиная тяжелое наследие колониального режима Яна Смита.

В Новой Гвинее тремя годами позже его чуть не съели местные каннибалы — запеченным со сладким бататом и для красоты обложенным пальмовыми листьями.

Он оказался в Югославии в разгар войны и, петляя по горным дорогам, был свидетелем расстрела боснийскими партизанами жителей какого-то сербского села. Ночью он подкрался к плохо засыпанной братской могиле и вытащил оттуда ещё живую пятилетнюю девочку. Посадил перед собой на удлинённую раму двухметрового своего чудовища, развивавшего после модернизации скорость до сорока километров в час, и умчался, распевая псалмы.

Девочку он передал властям после двухдневных блужданий по горам и, не слушая благодарностей, вновь сев в седло, тут же через Венгрию, Чехословакию и Болгарию отправился в Россию. Эта страна всегда привлекала его, как он говорил, своей мифологичностью и легендарностью. Он хотел проверить, действительно ли тут на Красной площади в Москве ходят полярные медведи, а в Петербурге по ночам не выпускают детей на улицы ввиду того, что по Невскому проспекту блуждают забредающие из ближнего леса стаи волков.

Будучи стопроцентным американцем из провинции, он допускал, что, в принципе, возможно всё.

Естественно, медведей и волков на улицах столичных городов Питер не видел, но зато он увидел много такого, что ещё лет двадцать назад иначе как дурным мифотворчеством из дрянного фантастического романа, назвать было бы трудно.

Он оказался на Кавказе и даже умудрился каким-то образом на своём велосипеде попасть в зону боевых действий. Тут он тоже кого-то спасал — просто потому, что случился рядом. Кого он спасал конкретно — русских детей от чеченских боевиков или чеченских детей от боевиков русских, я так и не понял; понял только, что он вывез на удлинённой раме велосипеда на Большую землю группу совершенно обезвоженных детей, находившихся в коматозном состоянии из-за непрерывного, трехдневного обстрела школы, где засел кто-то, взяв детей заложниками.

Его опять благодарили и фотографировали, хотели даже представить к награде, но он уже катил на Восток, распевая псалмы.

Он проехал Россию насквозь — от Калининграда до Владивостока. Путешествие по осколкам бывшей империи заняло у него полтора года... В дороге он неплохо выучил русский язык. Уроженец Иллинойса, отродясь не знавший ни одного языка, кроме английского, за десять лет международных странствий он наострил язык довольно свободно на доброй дюжине языков.

После России, где его, по собственным словам, взяла тоска, он побывал ещё в Японии, Китае, Южной Корее, во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Бутане, Новой Зеландии, на островах Полинезии, Меланезии и Микронезии. И всюду попадал в истории.

В Синае он оказался одним из заложников в третьеразрядной гостинице, захваченной группой бедуинов-камикадзе. Как во всех аналогичных историях, здесь опять оказались замешанными дети. Полиция и части национальной гвардии, обложившие гостиницу, не могли ничего сделать с разбушевавшимися бедуинами, но идти на их требования они тоже не желали. Когда было объявлено, что заложников будут убивать по одному, раздался треск, и из ворот гостиницы выехал распеваящий псалмы Питер.

На раме его велосипеда сидела куча детишек, которых он придерживал обеими руками — спереди и сзади; велосипедом он управлял при помощи ног. Велосипед, по массе своей после модернизации напоминавший, скорее, легкий танк, на большой скорости, но плавно наехал на террориста, стоявшего при воротах. Тот не успел отскокить в сторону, так как очень удивился, и пастор сбил его, успев подхватить с земли автомат. Ему стреляли вслед и ранили в руку, но он успел домчаться до цепочки солдат. Дети были сгружены, Питер был перевязан, бедуины сдались властям.

За эти годы я встречался с Питером неоднократно. Мы сидели у меня дома, за стаканом грога, и пастор рассказывал всё новые и новые истории, а непривычно тихая моя жена безропотно подносила ему всё новые и новые порции. Постепенно во мне росло странное убеждение, что я где-то, когда-то, уже видел его — или его прообраз. Вчера ночью снизошло озарение. Я понял наконец, кого мне мучительно напоминает стопроцентный провинциал-американец. Ведь это он — летчик и охотник на акул Бен из «Последнего дюйма» Джеймса Олдриджа! Бен, имеющий диплом пастора... Профессия — герой, вспомнил я.

Я знал, что месяц назад Питер отправился в очередное путешествие, на Андаманские острова — навестить вождя дружественного папуасского племени, который оказал ему гостеприимство лет шесть назад.

Вчера ночью я услышал по радио, что количество жертв землетрясения и цунами, потрясших Восточную Азию, превысило семьдесят тысяч человек. Но среди имен этих жертв не будет имени американского пастора Питера Брука.

Ни одного жителя островка, на котором задержался Питер, в живых не осталось. Ураган смыл в море их хижины, стоявшие на побережье, но пастор, видя приближавшийся с запада девятый вал, успел вскочить в седло, схватить какого-то малыша, крутившегося под ногами, посадить его на раму велосипеда и помчаться в горы.

Через трое суток его обнаружила спасательная команда англичан, пролетавшая над островком на вертолёте...

На вершине горы, разведя опознавательный костер из пальмовых веток, держа на коленях папуасского младенца, прислонившись спиной к вещмешку и невозмутимо покуривая трубочку, сидел пастор. Знаменитого велосипеда при нём не было... Велосипед, переживший Конго, Зимбабве, Сербию и Чечню, сорвался со скалы и утонул в море во время бури, успев выполнить последнюю задачу — донести своего владельца до безопасного места.

Вертолетчики, высадившись на вершине горы, увидели абсолютно седого белого человека, держащего на руках черного ребёнка. Он вежливо улыбался и приподнимал в знак приветствия ковбойскую шляпу. Одной рукой он почесывал младенца за ухом, другой — на отлёте — держал дымящуюся трубочку... и, конечно же, пел псалмы.

ОЧАРОВАННЫЙ ПРИНЦ

Солнечное субботнее утро. Плюс двадцать три и нет ветра. Кто-то в России закрыл дневник, кто-то уехал на дачу в Подмосковье, кто-то дома играет с котом. Как это всё далеко, как нереально.

С четвёртого этажа озираю уходящие к востоку красно-бурые холмы с редкими хвойными рощами на склонах. Сушая благодать, располагающая к поэтапной писанине, но писать не хочется. Нет настроения писать ввиду невозможности приложиться к бутылке красного сухого из виноградников со склонов горы Кармель и закусить швейцарским сыром. Бутылка стоит на самом видном месте, но мы её не откроем; герметически запечатанный сыр в красно-белой упаковке лежит возле неё, но мы не будем распечатывать эту упаковку. Я смотрю, не щурясь, на солнце за окном, смотрю в яростную, ярчайшую синеву, я вспоминаю Старика.

Я пью крепчайший чёрный кофе с перцем, готовить который меня научил древний Абд-Аллах с арабского рынка, что в Старом городе. Его лавка как раз на развилке трёх улочек, одна из которых ведёт к мечети Омара, другая — к Стене плача; третья улочка, на углу которой, на первом этаже средневековой кладки дома, в наполненной благовониями лавке сидит старик — не просто улочка, а Виа Долороза, конец Крестного пути, прямиком выводящая к Храму гроба Господня. Сколько раз я топтался на этом перекрёстке трёх эпох и трёх вер, прежде чем зайти к старику! Он всегда видел меня, стоящего возле входа, но никогда не торопился здороваться. Я — молодой, я должен поздороваться первым. Я могу просто крикнуть «садам!» у входа, но не хочу нарушать очарование этого места. Его нельзя нарушать, очарование, оно исподволь впитывается во все поры тела, оно сонным дурманом кальяна входит в рот, в глаза, в уши, ему не мешают ни дикие крики туристов, ни тонкие голоса муэдзинов, трижды в день несущиеся с минаретов сотен мечетей, прославляя Аллаха всемилостивого и милосердного.

Я приходил сюда по пятницам, я шёл к сердцу арабского квартала Старого города в ленивой суতোлке базара, рыская глазами по сторонам, боясь слишком приближающихся ко мне прохожих, держа левую руку на пистолете, засунутом под ремень брюк, невидимом под рубахой; я добирался до лавки старика ровно без пяти двенадцать — и застывал, медленно поворачиваясь по часовой стрелке. В полдень начинали бить колокола в Гефсиманском саду, к ним постепенно присоединялись серебряные голоса колоколов десятков церквей всего города. Тени удлинялись, призраки прошлого вполне зримо кружили вокруг — медленно, медленно. *Юбки метут мостовую, трогают жалюзи ветер.* Я слышу в уличном шуме топот медлительный конный. Ханаан язычников, Иудея Давида и Соломона, греческая керамика Антиоха Епифана, мраморные, выжженные солнцем нагорий колонны римской эпохи, византийские лепные инкрустации соединяются на этом перекрёстке гармонично. Надменность масляных глаз потомков воинов Пророка, озирающих меня, сбивала с толку, заставляла крепче вцепиться в оружие, якобы невидимое для этих глаз, бесстыдно ощупывающих меня.

Когда гас серебряный звон последнего колокола, я заходил в лавку. Здесь ни к чему был мой краткий «шалом». «Салам алейкум, Абд-Аллах...» — робко, тихо говорил я и, вытирая вспотевший лоб, отпускал руку с курка. «Алейкум ас-салам, Муса», — как выворочен-

ное наизнанку эхо, доносилось в ответ. Значит, всё в порядке. Здесь я — Гость. Гостя нельзя обидеть, хотя за порогом этого дома бывшему гостю можно всадить в спину нож, тем более что он, гость, пришёл сюда сам, непрощеный, — и от неверных. Но здесь он в безопасности — до того момента, как выйдет за порог. Здесь, на своей территории, хозяин стал бы защищать его в любом случае — и до конца. Так говорит обычай. В доме гостю нужно предложить кофе и фарфоровую тарелочку с рахат-лукумом, с ним нужно сесть и поговорить ни о чём, прежде чем исподволь начать выяснять, для чего он пришёл, незванный. Я сидел, скрестив ноги, вместе с хозяином, на огромном пушистом ковре ручной работы, а стройная, быстрая, как гюрза, закутанная в чадру внучка старика подносила и подносила блюда со сладостями и виноградом. «Шукран, Лейла...» — шептал я, и она сгибалась стан в вежливом поклоне, не отвечая ни слова. Оставив нам блюдо, она не отворачиваясь пятилась к выходу.

Мы говорили ни о чём. Я никогда не говорил ни о политике, ни об истории, а он — о том, зачем же я здесь. Не у него в доме, а здесь вообще, в этом городе и в этой стране. Понять зачем, он не мог и не хотел, а я не мог бы ему ответить так, чтобы он понял, и не пытался сделать это ни разу. Меня тянуло в эту лавку из сказок Гарун аль-Рашида годами, и годами, почти каждую пятницу, я застывал на ковре, скрестив ноги, и пил крепчайший чёрный кофе, и опускал глаза под невидимым, исполненным презрения взглядом Лейлы, под быстрыми взглядами её братьев — активистов Исламского Джихада, и они знали, что я это знаю, так же как знали, что я не побегу в полицию сообщать об этом, и я знал, что они это знают. Я выпивал три чашечки кофе, я съедал, как положено, ровно треть тарелочки рахат-лукума, я ощипывал только одну ветвь винограда, мы говорили о погоде, об урожае, о торговле древней керамикой, и я вставал, я кланялся им всем, и они почтительно-гордо кланялись в ответ, и я выходил, щурясь, из полумрака лавки в жаркий иерусалимский полдень, и они осторожно прикрывали за мной дверь. Я выходил, так ни разу и не сказав о цели своего прихода. Её, цель, я никогда не знал и сам.

Мне всегда хотелось объяснить, что я — свой, что всё это — и жара на улице, и прохлада внутри, и ароматный дым кальянов, струящийся из всех дверей и окон этого квартала, и древние камни стен домов и мостовой, и ссохшаяся, много лет не плодоносящая смоковница на перекрёстке — тоже мои. Но нутром, исподволь, в глубине мерцающего под

неистовым иерусалимским солнцем сознания, я знал также, что все разговоры бессмысленны, что я — Чужак. Здесь, в его доме, на улице, на этом перекрёстке трёх эпох, в этом квартале, в этом городе, в этой стране. И, странное дело, — думал я, идя домой, качаясь как пьяный в сутолоке и жаре, — во всей здешней округе, в окружении чужих глаз, чужих запахов, в объятиях чужого языка, я был в безопасности лишь в одном месте, в доме старого Абд-Аллаха, в самом сердце Старого Города, в гостях у семьи заклятых врагов всего, что было мне дорого.

Я больше не приду к нему в гости. Его старший сын Мустафа, с поклоном присаживавшийся к нам на ковёр и подававший блюдечки с угощением, предупреждавший каждое желание Гостя, убит в перестрелке с солдатами, вышедшими на его след после пятидневной погони в пустыне после того, как в Галилее он расстрелял в упор автомобиль с беременной женщиной за рулём и четырьмя её дочками в салоне. Когда Мустафу застрелили солдаты, и об этом стало известно, Лейла вышла на улицу и напала с ножом на пузатого туриста в ковбойской шляпе и цветной рубашке, приценивавшегося к какой-то фигурке в витрине лавочки. Внучка старика приняла шведа за еврея. Я прочёл об этом в газете. Я позвонил Абд-Аллаху, я сказал, что никогда не сообщал полиции ни о ком из его семьи, и что о том, что Мустафу разыскивала контрразведка уже три года, я знал тоже.

Я услышал выветренный шёпот старика:

— Я знаю, Муса, что ты никому ничего не говорил. Но ты — Сын Смерти, сын проклятого народа, пришедшего к нам из Европы. Я не смогу больше защитить тебя в моём доме. Не приходи ко мне больше никогда. Аллах смилостивился над моей семьёй, мой внук сейчас в Садах, он погиб за веру.

Я окаменел. Я не мог сказать старику о семье беременной поселенки, убитой его внуком вместе с четырьмя маленькими дочками. Это было ни к чему, и он понимал, что я не напомню ему этого сейчас. Он впервые назвал меня Сыном Смерти — так арабы уже тысячу семьсот лет называют нас в глаза и за глаза, как в Европе называли жидами, но я не думал, что он произнесёт эти слова теперь.

Он подождал несколько секунд, вежливый, спокойный, как всегда. Потом сказал чуть громче:

— Муса, не огорчайся. Моему внуку сейчас лучше, чем мне. И ... я надеюсь, что той женщине с её детьми тоже будет лучше. Может быть, она ни в чём не виновна, но кто мы такие, чтобы знать это?..

Так решил Всемиловый и Милосердный, и значит — решил он правильно. Ты хороший человек, Муса. Не приходи ко мне больше. Прощай. Салам... Мир.

— Прощай, отец, — выдавил я и осторожно повесил трубку.

Если опять я устану — от ежедневной погони — сон мне приснится знакомый — ночи короткой награда — хлопают медленно ставни — цокают быстрые кони — в городе Йеруша-лаим — в городе Йерушалаим.

ВИЗИТ К МИНОТАВРУ

Мы ездили в американское консульство на интервью — просить гостевые визы.

Родственникам неймётся лететь в Чикаго этим летом. К моему удивлению, визы нам дали. Это тем более странно, что консулом было отсеяно больше половины посетителей, выходявших от него, консула, с перекошенными лицами. Этим посетителям, видно, нужно было в Америку позарез, а им не дали; мне в Америку не нужно, но визу я получил. Так оно всегда бывает. Там хорошо, но мне туда не надо. Перефразируя известную завистливую поговорку, мне хорошо там, где я есть.

Разрешение на въезд в Америку дали всем нам, можно сказать — всучили. Визу дали даже моему тестю, который совсем не знает английского и с готовностью покивал головой в ответ на вопрос, не является ли он участником незаконных террористических формирований. Чудны дела Твои, Господи.

Надеясь на то, что визу мне не дадут и что, таким образом, я не окажусь перед мучительной дилеммой — ехать или не ехать при наличии положительного решения американских властей, я доверительно сказал консулу, что сам являюсь маргиналом, дружу исключительно с маргиналами, пишу только о маргиналах, печатаюсь исключительно в маргинальных издательствах, и более того, с удовольствием исследую психологическую составляющую индивидуального террора. Я решил, что этого будет достаточно, и поэтому с недоумением услышал, как консул сказал: это очень хорошо. Тогда я сказал, что иногда мне снятся странные сны, которые мой психоаналитик рассматривает как проявление некоего Эдипова комплекса, весьма опасного для окружающих: во сне я вижу себя убийцей президента

Мак-Кинли. Никакого психоаналитика у меня нет, но я хотел отбраться.

Консул ухмыльнулся и сказал в ответ, что в своих снах он видит себя каннибалом из Занзибара, но его психоаналитик не видит в этом никаких препятствий к исполнению им, консулом, служебных обязанностей. Я понял, что мои шансы не получить визу спустились ниже планки, и мрачно замолчал. Консул поднял палец и сказал со значением, что к женщинам нужно относиться так, как относятся к мужчинам, и что между мужчинами и женщинами нет решительно никакой разницы. Потом он выжидательно взглянул на меня. Я немного удивился, так как не понял, что он имел в виду, и промямлил, что всегда терпимо относился к суфражисткам. По его глазам трудно было понять, знает ли он, кто такие суфражистки.

— Гм, — сказал он, умоляюще посмотрел на меня и спросил, не являюсь ли я противником толерантности по отношению к сексуальным меньшинствам. Он спросил об этом с такой надеждой в голосе, что я насторожился и уклончиво ответил, что всегда уважаю общественное мнение страны, где в данный момент нахожусь. Наступила неловкая пауза.

— Гм, — сказал он, — может быть, ты спонсор подпольной лаборатории по изготовлению героина?

— Чего нет, того нет, — с сожалением ответил я, — я и траву-то курил всего два раза в жизни.

— А я, когда был студентом, каждый день её курил, — мечтательно сказал он. — Кстати, а ты знаешь, что у нас теперь нельзя курить ни в каких общественных местах: и в ресторанах, и в самолётах?

— Знаю, — сказал я, — и это одна из причин, почему я не хочу к вам ехать. У меня за десять часов лёту без сигареты уши опухнут, они и сейчас уже опухли, пока я три часа сидел к вам в очереди.

— Не хочешь к нам ехать, тогда зачем ты хочешь визу? — удивился он.

— Я и визы не хочу, — сказал я, — это жена хочет, вот её и спрашивайте.

Он перевёл взгляд на Софу, но та, покраснев, сказала:

— Блажен муж, не идущий на собрание нечестивых, и не ведающий творит.

— А-а, — облегчённо протянул консул, — так у него есть справка от психиатра?

— К сожалению, нет, — сокрушённо ответил я.

Консул зачавкал жвачкой и пригорюнился.

— Не знаю, — сказал он наконец, — я не вижу решительно никаких причин для отказа, просто поразительно, это со мной в первый раз.

— Ну, придумайте что-нибудь, — сказал я, — и запишите. Ну, что я педофил или зоофил, что ли. Или напишите, что я для того прошу визы, чтобы реализовать мечту детства — выкопать из могилы и осквернить труп президента Трумэна на Арлингтонском кладбище.

— Кажется, он не на Арлингтонском кладбище, — неуверенно сказал консул, — я не знаю, нужно будет спросить у Мэри.

— Мэри, — крикнул он в приоткрытую дверь, — ты не знаешь, где Трумэн похоронен?

Мэри тоже не знала.

— Плохо же вы знаете свою историю, — сказал я негодуяще.

— Плохо, — согласился он, — но это неважно, потому что я всё равно не могу написать про кладбища и зоофилию — это неправда, и меня при первой же проверке засекут, так что придётся дать вам визу.

— Эврика, — сказал я, — встань там и слушай сюда: дайте мою визу вон той девице, которой вы отказали и которая плачет в коридоре, потому что не может полететь в Бостон на тётнины именины.

— Не могу я дать ей визы, она молодая, у неё вся жизнь впереди, она наверняка захочет после именин в Бостоне и остаться, — сказал он. — Мы вообще никому из молодых и одиноких виз не даём.

— Безобразие, — сказал я, — вы горячей головой насильно всучаете, нет, всучиваете, визу человеку, который к вам не хочет, и холодными руками отказываете тем, кому виза нужна позарез.

— Так в том, что ты её не хочешь, и есть гарантия того, что ты не захочешь у нас и остаться, — доверительно сказал он. — Мы больше всего боимся, что приезжающие у нас останутся, их невозможно потом выловить, они остаются правдой и неправдой, ищи их потом, у нас и так от официальных иммигрантов деваться некуда. Они дикими приезжают и дикими остаются даже после получения грин-кард, как это говорит русская пословица: сколько волка не кушай, то есть не корми? Ладно, прекратим эту бесполезную дискуссию. Позвольте ваши пальчики, — сказал он и приложил мои указательные пальчики к какому-то светящемуся табло.

— Чего это? — с любопытством спросил я.

— А это теперь твои пальчики уже в банке данных Фэ-Бэ-Эр, — сказал он, — так что, когда ты пойдёшь на Арлингтонское кладбище копаться в могилах, тебя сразу найдут и депортируют.

— Поскорей бы, — мечтательно сказал я.

ДЕД

Отцы мамы и папы воевали оба. Оба принесли с войны награды, оба участвовали в боях. Мамин папа служил в пехоте. Он вытаскивал с минного поля своего товарища, которому взрывом оторвало обе ноги; ни один человек из его роты, несмотря на понукания замполита, не согласился идти спасать. Все стояли у кромки поля и беспомощно смотрели вперёд, вытянув шеи. Мой дед выпил стакан спирта и пошёл. И дошёл, и взвалил на спину потерявшего сознание безногого, и вынес его с поля. И не взорвался. За это ему дали потом какой-то орден. Это было в Польше. Он рассказал мне об этом однажды, и я запомнил навсегда.

Папин папа мало рассказывал о войне. Он тоже принёс с фронта награды, но никогда не говорил мне, за что получил ту или иную медаль. Я знал, что в своей части он был помпотехом, помощником по технической части. Что это такое, я не знаю до сих пор. С войны он пришёл психованным от контузии и совершенно лысым. Облысел он, по его словам, в одночасье, во время танковой атаки на Курской дуге, лёжа в окопе, который утюжили немецкие «тигры». Говоря о войне, он в основном ругался и кричал нечто невразумительное.

Я с детства привык считать своих дедов героями и, когда наступал очередной День Победы, с гордостью шёл между ними по улицам, держась за их руки, и медали и ордена брякали на их груди в такт шагам.

Мне было двенадцать лет, когда девятого мая мы всей семьёй собрались за праздничным столом. Бабушки хлопотали на кухне, мои родители, тётки, дядья и оба деда в пиджаках с орденскими колодками расположились за столом.

Мамин папа провозгласил первый тост — за День Победы. Выпили они, и бабушки начали наперебой вспоминать, как ждали своих героев с войны.

Мамин папа рассказал историю получения нескольких медалей, и я, сидя на стуле с ним рядом, испытывал невероятное чувство гордости.

И вдруг лысый дед мой, папин отец, сказал:

— Мне тоже есть что рассказать, вы меня послушайте.

Все удивились внятности его речи — ведь все годы до этого, рассказывая о войне, он лишь кричал и плевался.

И дед рассказал.

Весну сорок пятого он встретил в небольшом городке в восточной части Германии. Девятого мая, после капитуляции рейха, его вызвал начальник штаба части, в которой он служил, и сказал, что он приказом командующего фронтом назначен комендантом города; но вот беда — немецкого он не знает, а официальный переводчик прибудет только через несколько дней. В то время как переводчик был совершенно необходим: за окном, на улице уже выстраивалась длиннейшая очередь из местных жителей, которых нужно было выслушать, и нужно было решать массу организационных вопросов, и налаживать мирную жизнь. Так что, Хаим, сказал деду начальник штаба, переводчиком будешь ты. Помпотех, ты знаешь идиш, а он похож на немецкий. Будешь переводить.

Дед переводил несколько дней, в течение которых через кабинет начальника штаба прошли сотни немцев.

На пятый день в комнату зашёл маленький, аккуратно одетый старичок и попросил у господина коменданта защиты, справедливости и порядка.

Дед принялся переводить, вставляя в трудных местах в идишскую речь русский мат и обороты на древнееврейском. Старичок с испугом косился на него, но, кажется, понимал почти всё.

— Господин комендант, ко мне домой пришли ваши солдаты. Они были очень грубы, кричали, унижали служанку, портили воздух. Они забрали из моего дома все наручные часы и разделили их между собой. Перед уходом они выстрелили в портрет фюрера и унесли большое зеркало. Я не обижаюсь за портрет фюрера, ибо сам собирался снять его; но я прошу приказать вашим солдатам вернуть мне зеркало. Это дорогое, старинное зеркало, оно было куплено для нашего дома ещё моим отцом.

Господин комендант, подполковник Василий Петров из Ленинграда, выслушал перевод и заскрипел зубами. Он не смотрел больше на старика. Он повернулся к моему лысому деду.

— Хаим, у меня в Питере погибла вся семья. У них не было хлеба, Хаим. А у тебя, я слышал, тоже не все выжили...

— Так точно, — ответил мой дед и, сквернословя на трёх языках, объяснил аккуратному старичку, что он родом из Николаева, что у него не осталось никаких родных, кроме эвакуированных жены с сыном, и что сестру его, пятнадцатилетнюю Фиру, немецкие солдаты привязали за волосы к какому-то выступу на вездеходе и погнали машину на полной скорости, пока сестра не упала и осталась без скальпа. Так написала ему в армию соседка-украинка, глядевшая на акцию из окна своего дома. Все остальные родственники были расстреляны без мучений. И сделали это (я теперь в этом не сомневаюсь, добавил дед) сыновья аккуратного старика.

— Но, господин комендант, — возразил старик, не столько испуганный, сколько ошеломлённый, у меня и сыновей-то никаких нет, а есть лишь дочь; меня самого по возрасту и состоянию здоровья не взяли даже в фольксштурм; и я не понимаю вообще, какая связь между печальной историей ваших семей и зеркалом, которое было украдено русскими солдатами из моего дома.

— Так что же ты хочешь, старый скот? — не глядя на посетителя, прохрипел подполковник из Ленинграда, и дед добросовестно перевёл немцу эти слова.

— Я прошу порядка и справедливости, — с достоинством отвечал тот, стараясь не обижаться на раздражительных бойцов Красной армии. — Я настоятельно прошу вернуть мне зеркало. Это зеркало старинной работы и очень ценно.

— Хаим, — вновь заскрипел зубами господин комендант, — у меня нет сил разбираться с ним. Возьми его, Хаим, и сделай с ним, что хочешь.

Мой контуженный, лысый дед поманил старика пальцем и открыл перед ним дверь, ведущую в аккуратный внутренний дворик.

— А что там, господин переводчик? — с любопытством спросил старик, останавливаясь у двери.

— Там тебе вернут твоё зеркало, — отвечал дед, и немец переступил порог.

Дед поставил его у благоухающего розового куста и выстрелил ему в лицо. Ему показалось, что немец падает как-то не так, и выстрелил ещё два раза, оба раза в голову.

Потом он засунул дымящийся пистолет в кобуру и вернулся в комнату переводить для подполковника речь очередного посетителя.

Мы, сидевшие за праздничным столом, девятого мая, через тридцать лет после окончания Великой войны и впервые выслушавшие эту историю, приросли к своим стульям.

Второй дед, мамин отец, молчал, как и все. Минуты полторы никто ничего не говорил. Лысый дед налил себе стакан водки и нежно погладил висевшую на груди медаль «За победу».

— Деда, это тебе за это дали медаль? — спросил я посреди жуткой тишины комнаты. Дед мутно посмотрел на меня.

В тот праздник все разошлись по домам раньше обычного.

ОБ АВТОРЕ

Моше (Михаил Маркович) Гончарок (род. 2 сентября 1962, Ленинград) — израильский историк, публицист и прозаик. В 1984 г. закончил исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена.

С 1990 г. проживает в Израиле.

Научный сотрудник Центрального архива истории сионизма (Central Zionist Archives), Иерусалим. Специалист в области истории еврейского анархистского движения (т.н. идиш-анархизм). Автор трех монографий (на русском языке) и брошюры (на идиш) по этой тематике, многочисленных публикаций в академических изданиях и статей в прессе Израиля, России, США. Пишет на русском, иврите, идиш. Статьи переводились на ряд европейских языков. Лауреат премии «Олива Иерусалима» в номинации исторических исследований (2006).

В 2007 г. в Бостоне вышел сборник прозы «Записки маргинала», в 2014 г. в Москве — второй («Хамса для подруги детства»). Публикуется также в литературных журналах и альманахах Израиля, России, США («Огни столицы», «Иерусалимский журнал», «Кругозор» и др.). С 2007 г. — участник Содружества русскоязычных писателей Израиля «Столица», с 2008 г. — член Международной федерации русских писателей, с 2012 г. — член Совета МФРП.

Раиса МЕЛЬНИКОВА
СТИХИ

Из поэмы «ВРЕМЯ ЖИЗНИ»

ВРЕМЯ И СЛОВО

На файлах клавиатуры
развлекается время,
в зазеркалье неслышно
движутся тени.
На границе тайны, любви и боли
рождается слово,
опасно дрейфует
на хрупкой мысли,
расцветенное любовью
и, чувства возвысив,
из фраз сочиняет сюжеты,
желая подняться и слиться
с божественным светом;
духовные символы —
важные духа объекты
внедряются в слог —
в нём — веков диалог.

НИЧТО И НЕЧТО ИЛИ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ

За пределами мыслей —
пустота.
В ничто вмещается всё:
слёзы мира,
чёрный квадрат,
опыт скитальца Басё,
алый парус,
манивший Ассоль,
мёртвого моря соль,
информация хромосом,
квадратное
первое колесо.
На колесо
наматывая пустоту,
исчезает времени ход,
время топчет детства мечту,
превращая жизнь
в эпизод.
Обезвоженный солнцем эфир,
находясь
в тисках несвобод,
ползёт в населённый мир
сквозь пустоты,
в обход.

СВОЯ ПОЭМА ГОРЫ

У каждого своя поэма Горы,
не каждый способен о ней говорить,
а лестница
ведёт и вверх, и вниз,
вверху — распятие,
внизу — приз.

За стрелкой неровной,
за горизонтом
теряется гор и морей контур,
об Ивике крик и плач журавлиный
несётся в веках над земною пустыней
и отзываются космоса струны,
неся боль земли
в этом мире подлунном.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В НОЧИ

Что ж, пора взгрустнуть о поведении,
о свободе лжи, о противлении,
постоянном духа колебании,
о сомнении и обожании.

Размышлять
необходимо ночью,
ведь тогда и фонари пророчат,
и плутают в тёмной паутине
космоса безмерные картины,
и концепции дневные —
в ключья,
лишь звучат ночные голоса:
полнота божественного смысла,
символа и образца единство,
мысли путь
и путь идеалиста —
двигутся земные полюса.
Полюса! Но это про другое...

Кто я? Что я? Кто это откроет?
Ночь плывёт, и нет уму покоя.
Спать осталось только два часа.

Из поэмы «ИНТОНАЦИИ ЛЮБВИ»

ДОЛЬКОЙ ЛУНЫ

Кружочек усталой луны
тает лимоном в коктейле.
Глаза и губы,
и мы одни
зачарованы духом апреля.
Звезда изменяет свет,
растворяется шелест в пространстве,
и сброшен
былых расставаний крест
после бессмысленных странствий.
Мгновенья скользят,
на часах
минутки сбиваются в стаи,
счастьем на мягких губах
лунное время тает.
И долькой лимонной
луна
меняет на небе расцветку.
Любовь неизменно права.
Ещё далеко до рассвета.

РАЗМИНУЛИСЬ

На перекрёстке Вселенной
мы разминулись, милый —
сменились дорожные знаки:
тебя увели в пустыню,
а мне указали на запад
и путь с поворотом к морю.

И я поднимаюсь по трапу,
топча каблуками историю;
лечу с ближайшей оказией,
самолёт разрезает небо.
Прощай, дорогая Евразия!
Вперёд, колесница Феба!

РАЗОМКНУТЫ РУКИ

Разомкнуты руки,
жест прощальный,
взгляд печально-рассеянный,
как заклятие — обещание:
не теряться
в клокочущем времени.
В твоей округе
невидимый маркер
живописует поля лавандой,
и красками пахнут
кварталы Монмартра,
взирая с холма доминантой.
Но ластик стирает
названия улиц,
застывшие наши тени,
волной отражаются
в зеркале лужиц
лиловые гроздья сирени.

ЗАПЛУТАВШИЕ

Одинокие грустные птицы,
заплутавшие в звёздном лесу,
от печали не можем укрыться,
крылья бьются на дерзком ветру.

Беззащитные души пронзают
миллионы невидимых стрел,
гравированы символы жалом
по менискам чувствительных тел.

Пробираясь в подзвёздной пустыне
и лишившись последних одежд,
трепеща, и дрожа, и остынув,
мы теряем остатки надежд.

Потерявшись в тоске над мирами,
где плывут целый век облака,
мы боимся, но верим — над нами
простирается Бога рука.

НА ПРОВОДЕ

Нас мучает расстояние.
По поводу
и без повода
мы заседаем часами
на телефонном проводе;
виснут воспоминания,
помнят их вместе с нами
твои
открытки-признания,
стихов моих бурных —
цунами;
на жилках каштановых листьев
дрожит будоражащий голос —
замысловатые мысли
тянутся дымом в космос;
мелькают смартфона окошки —
лимит звуковой исчерпан,
и провод
уводит в прошлое,
время жизни — трёхмерно.

Из цикла «В ГОРОДЕ»

КОСТЁЛ СВЯТОЙ АННЫ

Опрокинута чаша времени
над готическим храмом Анны,
и в обители, скрытой дилеммами,
дремлет вечность,
свернувшись годами.

Витражи глядят в полусумрак,
устремившись
к изящным шпилям,
а в дыхании воздуха с шумом
колыхаются ангелов крылья.

Напоённая светлой молитвой,
призывающей к милосердию,
расплескавшись органа ритмами,
память прошлого
в знаках начертана.

Отражая былых веков отзвуки,
воплощённая в камне гармония
пламенеет в готической хронике
светозвуками
Божьей симфонии.

Орнаментика в сложных сплетениях
на фронтонах.
А шпилями вспорота
вышина —
это замысел гения —
вертикаль поздней готики города.

БАГРЯНЕЦ ТЕРЯЕТ ЦВЕТ

Багрянец теряет свой цвет
лунной ночью,
сосуд лазуритовый мелок,
предметы на ножках — короче,
и свет на воде
отражается лунной дорожкой,
реальности нет —
не заметны земные морщины,
вокруг — лунный свет,
как любовь к апельсинам.

ЗАТЕМНЁННЫЕ ОКНА

Затемнённые окна серьёзны
в молчании ночью,
сокрывают все тайны,
оставляют
следы многоточий;
на втором этаже —
жалюзи
вертикальные строчки,
а за ними — узоры
из цветов на поляне сорочки,
они радуют глаз
и волшебные грёзы
пророчат.
Там, за окнами,
люди целуются, любят,
смеются...
люди ждут и уходят,
а окна в ночи остаются.

ГОРОДА

Красные... жёлтые города
прорастают ночными звуками,
непрестанно и гулко
стучат
и стучат поезда,
а сова по-совиному ухает.

Ночью бредит мечтами
таинственный сад,
заколдованный
птичьим пением,
тубероз изысканный аромат
затаённое будит волнение.

В распростёртой ночи
так приятно молчать
и в томленьи парить под звёздами
и, срывая
запретную снов печать,
шифровать листки метакодами.

И любовью окутанная строка,
в шлейфе слов
скользя зачарованно,
беспричинно
взмывает стихом в облака,
и я звёздами зацелована.

Из поэмы «БЕСЕДЫ С БРОДСКИМ»

* * *

В Венеции утром туман —
здешней погоды гримасы;
ты в местном кафе «Флориан»,
дождевики висят над террасой.

В отсыревшем отеле
твой плащ,
поглотивший бессменную сырость,
а в потёртом портфеле
в стихах
новые ориентиры:

строчек и строф дирижабли —
каждый в своём отделе,
бессмертные буквы-сабли
играют
в нагруженном теле.

* * *

Собран в путь чемодан,
дождь заливает террасу,
сердце тревожит орган,
эстетики мир — прекрасен.

Сидя в кафе под навесом,
признанный всеми профессор
думаешь о своём,
неведомом и дорогом,
и взор твой
сканирует даль,
внимательно и с интересом.

Ты понимаешь вечность,
ты обнимаешь вечность,
и вечность — твоя вертикаль.

ОБ АВТОРЕ

Раиса Мельникова — педагог, поэт, прозаик, публицист, переводчик. Живёт в Вильнюсе. Автор двадцати книг на литовском, а также семи сборников стихов на русском языке. Член Международных писательских союзов: ИСП, СПР и СПСА, секретарь правления РО МАПП — международной ассоциации писателей и публицистов. Стоит в литературном объединении поэтов и прозаиков «Логос», объединении русских писателей и художников «Рарог».

Статьи Раисы Мельниковой публикуются в газетах, она делает переводы с литовского и на литовский язык, с македонского, сербского, английского языков.

Её стихи печатались более чем в пятидесяти изданиях разных стран: Литвы, Латвии, России, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Израиля, Индии, Сербии, США и переводились на другие языки.

Призёр фестиваля «Славянские объятия» в Болгарии (2019), лауреат Международного фестиваля «Симфония Поэзии без границ» (2020), лауреат в номинации «Поэтическая книга» (2021), лауреат 1 степени международного фестиваля «Балтийский гамаюн» (2021). Она — академик Международной Академии Развития Литературы и Искусства. За вклад в развитие русской литературы награждалась медалями: Владимир Маяковский, Александр Пушкин, Антон Чехов, Анна Ахматова, Сергей Есенин, Иван Бунин, Афанасий Фет. Обладатель Звезды «Наследие» III и II степеней за литературную деятельность в духе традиций русской культуры.

Майк ЛОГИНОВ
ЭЛИКСИР ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

ГЛАВЫ ИЗ НОВОГО РОМАНА

КАЗАНЬ, 1931 ГОД

...Его задержали не дома и не в институте, а прямо на улице. Подошли двое неприметных мужчин, одетые как фабричные рабочие — в пиджаки с косоворотками и фуражки, быстро, мельком показали книжечки и посадили Бориса в стоявший рядом автомобиль. Сидевший за рулем водитель завел мотор, машина покатила по улице. «Вот ведь как, никто и не подумает, что меня, возможно, везут убивать, — размышлял Борис, глядя на прохожих, спешивших куда-то по своим делам. — Как все буднично..., и никто не узнает, куда я делся. Меня расстреляют, а в это время жизнь будет продолжаться как ни в чем не бывало... И Заблудовские тоже ничего не будут знать. Где-то в далекой и недостижимой Москве они будут жить и заниматься привычными делами — Павел Алексеевич читать лекции, Ариадна — учиться и ходить в кино, а Серафима Георгиевна — раскладывать пасьянсы и писать бесконечные письма к родственникам в Самару. И только, может быть, иногда в разговоре вдруг всплывет мое имя. «А помните, как Борис?.. А помните, был такой Борис?.. А где он, интересно?» И всё. И сомкнутся надо мной темные воды забвения...» В другое время мысли эти привели бы Кончака в отчаяние, но в тот день он думал об этом как-то отстраненно и на удивление спокойно.

Спустя короткое время Бориса привезли на Черное озеро, в здание, где располагалось местное управление ОГПУ. Внутри на первый взгляд не было ничего страшного — обычное советское учреждение. По коридорам сновали какие-то люди. Многие были в форме, но попадались и штатские. Мелькали и женщины. «Где же у них камеры? — подумал Борис. — В подвале, наверное...»

Продолжение. Начало в № 2 (22)–2022

Его завели в небольшую комнату, в которой не было ничего, кроме письменного стола с черной настольной лампой и двух шатких обшарпанных стульев. Решетки отсутствовали, но стекла единственного окна были почти до самого верха покрашены белой краской, как в больнице. Кончака усадили на стул и заперли в комнате одного.

Борис осмотрелся. Сквозь защитную броню хорошего настроения стал пробиваться знакомый холодок ужаса. «Вот так, значит, всё и кончится? — размышлял он, оглядывая пустую унылую комнату. — Я ведь знал... Знал, что эта гэпэушная сволочь не оставит в покое, рано или поздно доберется до меня».

В этот момент дверь отворилась, и в комнату вошел невысокий коренастый человек в форме. Кончак подумал, нужно ли ему встать? Но остался сидеть. Поздороваться? Промолчал. Вошедший тоже делал вид, что не замечает Кончака. Он сел за стол, пошарил в карманах, отпер ящик стола. Оттуда извлек тоненькую папку, раскрыл ее и стал лениво перелистывать подшитые листы бумаги.

«Господи, как же я вас ненавижу! — начал вдруг закипать Кончак. — Мало вас вешали, скоты! Дрянь! Пролетарии! Плюнуть бы тебе в рожу!»

Следователь продолжал листать бумаги, не обращая на Бориса никакого внимания. Приступ злости сменился у Кончака тягучей тоской. Ему вдруг смертельно захотелось снова оказаться на свободе, вдохнуть прохладного весеннего воздуха, закурить, выпить кружку пива в отвратительной пивной по соседству с домом. И идти, идти, идти куда глаза глядят... «Выйду ли когда-нибудь отсюда? — со страхом подумал он. — Почему? Почему я не уехал? Ведь мог... Был бы сейчас где-нибудь в Харбине. Нет, в Америке! В Сан-Франциско! Или в Нью-Йорке, как брат Павла Алексеевича...» От Павла Алексеевича мысль Кончака перелетела к Ариадне Заблудовской. «Господи! Как же я люблю ее! — подумал он в изнеможении. — Только бы ее не тронули! Семью ее не тронули! Господи, да минует их чаша сия...» Кончаку страстно захотелось молиться, хотя в Бога он давно не верил. «У меня, видите ли, к Господу слишком много вопросов», — саркастически говорил Кончак, когда ему случалось обсуждать с кем-нибудь вопросы веры. Впрочем, в последние годы такое случалось редко.

Гэпэушник наконец оторвался от бумаг и сонными глазами посмотрел на Кончака. Тот весь внутренне подобрался.

— Кончак-Телешевич Борис Ростиславович, — то ли вопросительно, то ли утвердительно произнес следователь.

— Так точно! — по-военному четко отрапортовал Кончак.

Мужчина, уткнувшийся было опять в бумаги, бросил на Бориса быстрый взгляд. Острый такой, колючий. И слегка удивленный.

— 1900 года рождения, место рождения — Николаевский уезд Самарской губернии, из дворян... — продолжал читать вслух мужчина. — Отец — Ростислав Николаевич, надворный советник...

«Всё знают», — подумал про себя Кончак.

— ...Участник Белого движения... Служил в Степном Сибирском корпусе под командованием полковника Иванова-Ринова, штаб корпуса располагался в Омске... — продолжал читать себе под нос мужчина. Звук его голоса убаюкивал Бориса, он никак не мог сосредоточиться, мысли его рассеивались, и собрать их и выстроить в какой-то последовательности не получалось...

— ...Принял участие в деятельности контрреволюционной организации... предусмотренные статьей 58 УК РСФСР, часть 2, часть 6, часть 8...

Борис сделал над собой усилие и попытался прорваться сквозь монотонное чтение. Так человек пытается проснуться и прервать мучительный, кошмарный сон.

— В какой организации? Я не участвовал ни в какой организации!

— В подпольной контрреволюционной организации, — медленно и раздельно произнес мужчина. — А что касается вашего участия, то на этот счет имеются показания других членов...

— Каких членов?

Человек заглянул в папку, чтобы свериться с каким-то документом.

— Вот, например, ваш бывший товарищ по службе в белой сибирской армии Алексеев...

«Миша Алексеев? — с удивлением подумал Кончак. — Да я его после войны раза два видел...»

— ...Показал, что на состоявшейся в декабре 1929 года в Казани тайной встрече...

«Ха-ха-ха! Тайной встрече? — едва не расхохотался Кончак. — Знатная была тайная встреча! Собрались несколько бывших офицеров и напились вусмерть. Какая там политика! Лыка никто не вязал... Кстати, а был там Алексеев? Уж и не вспомню...»

— ...Вы участвовали в создании контрреволюционной офицерской организации, целью которой являлась подготовка вооруженного восстания в крупных городах Поволжья, вредительство, террор в отно-

шении советских и партийных руководителей. Участники организации также собирали сведения о воинских частях и соединениях Красной армии с целью передачи их иностранным разведкам... Вот такие дела, гражданин Кончак, несмотря на то, что вы отрицаете свою причастность к контрреволюционной деятельности, вы полностью изобличены.

— Это бред! — вскричал Борис.

— А вы тут не кричите! — строго сказал ему гэпэушник. — Это — не бред. Это — ваше дело.

Он резко захлопнул папку и посмотрел Борису прямо в глаза.

«Жидкое оно какое-то, мое дело, — подумал Кончак. — Не собрали фактов. А впрочем, того, что там есть, будет достаточно, чтобы меня шлепнуть... Обидно даже! Если бы хоть убил какого-нибудь парт-аппаратчика или правда заговор составил... А так пристрелят ни за что, как барана! Неужели конец? Даже суда не будет? Выведут во двор и пристрелят? Или в подвал? Или будут бить, чтобы я показал еще на кого-нибудь? Так и будут «создавать» организацию. Сволочи!»

И тут вдруг к Кончаку вернулось то самое чувство, которое владело им с утра, — чувство спокойствия и уверенности в том, что он справится с любыми трудностями. Ему даже на секунду показалось, что в полутемный затхлый кабинет на мгновение проник солнечный свет.

— Извините, как вас зовут? — вдруг обратился он к мужчине в форме.

Тот посмотрел на него с удивлением.

— Молчанов, Леонид Михайлович, — ответил тот, но тут спохватился и строго добавил: — Но вам следует обращаться ко мне «гражданин старший оперуполномоченный».

— Гражданин старший оперуполномоченный, — тут же послушно подхватил Кончак, — я хочу сделать заявление.

— Вот как? — В глазах оперуполномоченного появился интерес. — О чем же вы хотите заявить?

— Я признаю свое участие в подпольной организации, созданной бывшими офицерами царской армии, участниками Белого движения... — бодро начал Кончак.

Молчанов довольно улыбнулся.

— Единственным обстоятельством, которое отчасти может смягчить мою вину, является то, что наша организация не успела перейти

к активным действиям, так как ее работа была своевременно пресечена органами.

Кончак чуть было не сказал «доблестными», но вовремя спохватился. «Не хватало еще, чтобы этот урод решил, что я над ним издеваюсь», — подумал Борис.

— ...По сути дела, вся деятельность организации свелась к антисоветским разговорам.

Кончак перевел дух.

— Я глубоко раскаиваюсь в содеянном и сожалею о том, что позволил контрреволюционным элементам втянуть себя в это преступное дело... Я понимаю, что у советской власти есть основания не доверять мне, бывшему офицеру, но все же хочу просить... дать мне возможность... искупить свою вину перед народом и перед Россией...

«Не слишком это я? — успел подумать Борис. — Ах, всё равно терять нечего!»

Повисла пауза.

— И как же это вы хотите искупить вину, гражданин Кончак? — скривился Молчанов.

— Я являюсь научным сотрудником и непосредственно участвую в исследованиях, результаты которых могут быть использованы для борьбы с врагами советской власти...

— Это каким же образом?

— Позвольте изложить всё в письменном виде.

Молчанов секунду подумал, потом полез в стол и вынул оттуда стопку чистых листов.

— Валяйте!

Кончак взял ручку и начал торопливо писать. Молчанов тем временем встал из-за стола и начал расхаживать по комнате за спиной у Кончака, что-то насвистывая. Борису это страшно мешало, но сделать он ничего не мог. Через полчаса он отложил ручку и выпрямился.

— Вот.

Молчанов взял в руки листки, уселся за стол и принялся читать. Кончак пристально всматривался в его лицо, стараясь угадать, заинтересовала ли его записка или нет. Так, наверное, всматривается в лицо редактора молодой писатель, надеющийся на успех своего первого рассказа. Однако на лице Молчанова не отражалось никаких чувств. Он читал, не торопясь, и время от времени шевелил губами,

словно проговаривая про себя какие-то фразы из текста. Закончив чтение, он отложил бумаги и прикрыл глаза.

«О чем задумался, детина? Впрочем, ход твоих мыслей понять не так уж сложно. Ты сейчас решаешь, пустышка это или нет? И как тебе лучше поступить? Порвать бумажки и расстрелять Кончака? А вдруг это важно? Вдруг можно получить за это благодарность или даже повышение? Лучше всё-таки доложить начальству. На всякий случай».

И, словно услышав мысли Кончака, Молчанов наконец произнес:

— Я доложу об этом руководству.

«Есть! Я знал, что ты... что вы клюнете! — чуть не расхохотался Кончак. — Потому что вы — зло! А зло всегда притягивает зло!»

— Я думаю, — Кончак постарался, чтобы слова его прозвучали веско, — думаю, что этим могут заинтересоваться в Москве.

МОСКВА, НАШИ ДНИ

Вечером я поехал к Марине Любомирской. Весь день пытался свернуть все дела поскорее, чтобы освободиться пораньше, но ничего, конечно, не получилось. Выехал из редакции уже в начале девятого вечера и минут сорок ехал на такси по забитым автомашинами улицам. Я хорошо представлял себе картину, которую мне предстояло увидеть. Все уже сильно пьяны. Стол заставлен грязными тарелками с остатками салата и полупустыми бокалами со следами губ на стекле. Густой сигаретный дым, висящий в воздухе. Бестолковый разговор ни о чем. В таком случае для опоздавшего есть только две возможности — поскорее напиться, чтобы встать вровень с теми, кто пришел раньше, или выпить совсем мало и поскорее уйти. Я склонялся ко второму варианту, но не был уверен, что мне удастся провести этот план в жизнь.

— Привет! — сказала Марина, впуская меня в прихожую. — Проходи!

Любомирские занимали большую трехкомнатную квартиру на седьмом этаже в доме на одной из Тверских-Ямских улиц. Это была уже не та демократичная двушка на ВДНХ, которую они снимали много лет назад, в начале своей совместной жизни, и где нами были выпиты литры чая и водки. Это была буржуазная квартира с полами, покрытыми хорошим дубовым паркетом, с вычурными бронзовыми кранами в ванной и дорогой встроенной техникой на просторной хайтечной кухне...

Народу в квартире собралось много. Я вспомнил, как Марина сказала мне по телефону, что будут только «наши». Теперь я увидел, что мы с ней понимали это слово немного по-разному. Люди стояли и сидели повсюду — в коридоре, в гостиной, в кабинете и даже в спальне. Был не только ближний круг, но и весьма «дальний». Я различил в толпе пару депутатов Госдумы, одного министра, руководившего не слишком важным министерством, трех-четырёх дипломатов. Миша Буткевич, возглавивший после Любомирского «Проект», разговаривал с каким-то раввином. Я налил себе полстакана виски и поклялся не напиться, но уже скоро понял, что сделать это будет нелегко. Я знал гостей через одного, и всякий норовил остановить меня и помянуть Вячеслава Сергеевича. Многие, как я и ожидал, уже хорошо приложились.

...Я хотел выйти на лестничную площадку, чтобы немного подышать воздухом, но столкнулся в передней с приемником Любомирского Мишей Буткевичем. Он, видимо, собирался уезжать, в руках у него был плащ.

— Как дела у тебя? — спросил я.

— Ты имеешь в виду меня лично или журнал? — усмехнулся Буткевич.

Он по старой памяти называл свое интернет-издание журналом.

— Слухи ходят всякие: то вас покупают, то вас закрывают... Правда, что ли?

— Нет, неправда, не верь, — отмахнулся Буткевич, — конечно, никакой особой любви к нам в Кремле не испытывают, но и закрыть нас — это было бы слишком... нарочито. Мы стали уже частью пейзажа...

— Дозволенная оппозиция?

— Лучше дозволенная, чем никакой, — резонно заметил Буткевич.

— Слушай, — я понизил голос, — а что все-таки со Славкой случилось? На самом деле.

Буткевич внимательно посмотрел на меня.

— Если слегка перефразировать нашего дорогого президента, то можно сказать: он умер.

— Что ты говоришь?

— Да. Упал с высоты и разбился...

— Слушай, Миша, упасть с высоты можно в трех случаях. По неосторожности, тогда это — несчастный случай. Самому спрыгнуть — тогда самоубийство. Или тебя сбросили — тогда...

— Насколько я знаю, лазить с балкона на балкон у Славы причин не было... И кончать с собой тоже...

— Слушай, а чем Слава занимался перед смертью? Вы там в «Проекте» в этом направлении не думали?

— Думали, мы много о чем думали, — произнес он. — Ты же знаешь, Слава не любил рассказывать о своих расследованиях. Ну, до определенного момента...

Я ему, конечно, не верил. Не могло такого быть, чтоб он совсем-совсем ничего не знал.

— А что там болтают про дело Манюченко? — спросил я.

— Да, Слава занимался делом Манюченко, но...

— Что «но»?

— Я не готов утверждать, что именно это дело могло послужить причиной...

— А ему удалось что-то выяснить?

— Я не знаю. Все Славины материалы по этому делу исчезли.

— Исчезли?

— Да. Слава хранил свои записи в двух местах — на личном ноутбуке и на редакционном компе... Ноут он всегда таскал с собой... Но когда его нашли на Ленинградке, компьютера с ним не было... Всё было на месте, а ноутбук исчез.

— А в редакционном что-то осталось?

— Там такая история приключилась, странная, — задумчиво произнес Буткевич, — буквально на следующий день после Славиной кончины в редакции случился компьютерный сбой, вся система рухнула. А когда ее кое-как запустили, несколько компьютеров так и не ожило.

— И Славин в их числе?

— Точно. Потом ребята из ИТ-отдела его всё-таки включили, но выяснилось, что там ничего нет.

— Как ничего?

— Вот так — ничего! Не сохранилось.

— Так бывает?

— Значит, бывает. Я — не технический человек. В железках этих мало что понимаю. Мне специалисты сказали, что амба: ничего нет и восстановить нельзя. У меня нет причин им не верить...

— Значит, дело закрыто? Не подхватите, так сказать, выпавшее из рук Любомирского знамя?

— Тебе хорошо рассуждать, — Буткевич, похоже, всерьез обиделся, — вы в «Перископе» своем беззубом никого не задеваете и живете спокойно. Вот и живите...

На это, увы, мне было нечего возразить.

Буткевич ушел, а я вернулся в гостиную. К счастью, ничто не может продолжаться вечно, и собрание памяти Любомирского стало клониться к концу. Ряды гостей заметно поредели, еда была съедена, спиртное выпито. Я поискал глазами Марину, она в другом конце комнаты разговаривала с каким-то иностранцем. Когда тот распрощался, я пробился к Маринке и спросил:

— Ну что, всё?

— Почти... Только ты не уходи, мне надо с тобой поговорить.

Марина достала из шкафа початую бутылку какого-то иностранного бухла и плеснула немного в стакан.

— Что это? — поинтересовался я.

— Не знаю, — ответила Марина и стала читать надписи на этикетке. — Арманьяк! Вот что это!

— Арманьяк? А чем он отличается от коньяка?

— Понятия не имею.

Марина сделала глоток и сморщилась.

— Крепкий, черт!

— Слушай, может, не стоит.

— Успокойся, я почти трезвая. Может, кофе хочешь?

— Вот от кофе, пожалуй, не откажусь.

— У меня капсульная машина, не против?

— Не против.

Марина вышла на кухню, и почти сразу же там громко зажужжала кофемашина. Через минуту на столике передо мной уже стояла чашка дымящегося черного кофе.

— Сахар я положила. Ты же любишь сладкий, я помню.

— Спасибо.

Я с наслаждением сделал большой глоток.

— Так о чем ты хотела со мной поговорить?

Марина допила свой арманьяк и со стуком поставила стакан на столешницу.

— Да, я хочу тебе кое-что показать.

Я вопросительно посмотрел на нее.

Марина вышла из комнаты и через минуту вернулась, держа в руках небольшую записную книжку в коричневом переплете.

— Вот, — сказала она, протягивая книжку мне. — Я хочу, чтобы ты посмотрел.

— Что это? — спросил я.

— Это Славина. Он всегда носил ее с собой, а в тот день... почему-то не взял, оставил в ящике письменного стола.

Это была старенькая записная книжка, довольно сильно потертая. Я повертел ее в руках. «Что же там такое? Открывай уже!» Сначала я вообще ничего не понял. Видимо, подсознательно ожидал увидеть какой-то текст. Ну, конечно, не «я родился в семье отставного полковника, и детские годы мои прошли...», но всё-таки что-то связанное. Ничего подобного там не было. Судя по всему, книжка эта первоначально вообще не предназначалась для серьезных записей, а была чем-то средним между простым ежедневником и телефонным справочником.

«Получить вещи из химчистки...»

«Собрание членов ЖСК «Купон». 15 марта».

«Петр. Сантехник. 89191456790».

«Стекло в очки».

«Уролог. Записаться на прием».

«Положить деньги на счет Марине».

«Носки».

Некоторые дела были, видимо, сделаны, записи зачеркнуты. Некоторые пункты так и остались невыполненными. Или Слава просто забыл их вычеркнуть. Я испытывал что-то похожее на разочарование.

«Лена. 89856704567». Интересно, что за Лена? По работе? Или пассия? Я уже хотел обратиться к Марине за разъяснениями, как вдруг, перевернув страничку, увидел надпись «Манюченко». Фамилия покойного финансиста была написана крупными печатными буквами и подчеркнута. «С этого места повнимательнее», — сказал я себе. Но от этого в целом верного соображения ясности, увы, не прибавилось. Почти все заметки, сделанные после надписи «Манюченко», были зашифрованы. Зашифрованы не в том смысле, что Славка начал изображать на страницах пляшущих человечков. Просто все люди и организации, если таковые там имелись, были обозначены инициалами

или начальными буквами названий. Смысл некоторых записей я мог разгадать, но таких было немного. Например, 10 июля 2017 года. Это, кажется, дата смерти Манюченко. Можно проверить. Уэйбридж. Тоже понятно. SU2571. Это, похоже, номер рейса «Аэрофлота». Не удивлюсь, если самолет летел в Англию, но даты нет. Дальше опять инициалы. Ф. Т. Кто такой Ф. Т.? Или что такое? «Файненшл Таймс»? Я понимал, что никогда не смогу разгадать смысл большинства этих записей, и это меня удручало. «А чего ты, собственно, хотел? — попытался я урезонить себя. — Тебе и не положено понимать. Слава делал пометки для себя, не рассчитывая на то, что кто-то будет разбирать...» О, а вот название, написанное полностью! Danwell Overseas. Какое это имеет отношение к Манюченко? Ответ знает только ветер... Опять Ф. Т., а рядом А. К. Автомат Калашникова? Или... Алексей Кораблев? А-ха-ха! От Ф. Т. и А. К. стрелка вела к Д. Г. Это, видать, какой-то важный персонаж. Буквы Д и Г были обведены в кружок, рядом стоял восклицательный знак... Так, дальше... Коженков. Стоп! Эту фамилию я уже где-то слышал. Где? Господи, конечно! Антон Беклемишев хотел свести меня с этим самым Коженковым, поговорить о Павле Алексеевиче Заблудовском. Очень интересно! Какая связь? Или никакой связи, а просто случайное совпадение? И вообще, тот ли это Коженков? Может, однофамилец? Хотя... Кстати, надо будет позвонить Антону и напомнить...

— А что вообще Славка говорил о деле Манюченко? — спросил я Марину.

— Ну, мы с ним это так прямо не обсуждали... Но из каких-то его замечаний... В общем, Слава считал, что Манюченко убили.

— Кто?

— Наши.

— Каким образом?

— Они его как-то хитро отравили, — понизила голос Марина.

Я попытался собраться с мыслями. «Допустим, Манюченко действительно был убит российскими спецслужбами. Могло такое быть? Вполне. Допустим также, что Любомирский раздобыл какие-то доказательства того, что ФСБ или ГРУ причастно к этой акции... Достаточный ли это повод для того, чтобы «его упали» с высоты? Хм, а почему нет?..»

Я снова взял в руки книжку Любомирского и стал листать дальше. Несколько английских имен, которые мне ничего не говорили. Быть

может, это были британцы, с которыми Слава обсуждал дело Манюченко. Ведь он, кажется, ездил в Лондон. Потом — что-то вроде схемы. Сверху — фамилия Манюченко в рамочке, к ней идет стрелочка от ДГ, к ДГ — стрелочка от ФТ и БК. Последний тоже был обведен в кружок, а рядом три восклицательных знака. Видимо, БК был тоже важной фигурой, как и ДГ. Кто же это такой? Рядом с ФТ был номер телефона. Я взял в руки трубку и завел новый контакт. Ниже на странице было написано ГРУ, зачеркнуто, чуть ниже написано ФСБ, а еще ниже — полковник Гиренко. Интересно, почему Слава вдруг решил раскрыть «псевдоним» одного из участников драмы? И, главное — это положительный персонаж или отрицательный? Скорее, для очистки совести, а не надеясь что-то узнать, я быстро набрал фамилию Гиренко в браузере. Ответом мне были ссылки на сотни аккаунтов в Фейсбуке и ВКонтакте. Интересовавшего меня человека среди них наверняка не было.

— Ты кому-нибудь показывала эту записную книжку?

— Да, сразу после Славиной смерти я показала ее Буткевичу. Думала, они будут расследовать это дело...

— А они?..

Марина покачала головой:

— Ну, сначала хорохорились... Буткевич говорил, что так это не оставит... А потом как-то все быстро затихло...

«Н-да, так оно всегда и бывает, — с горечью подумал я. — Сначала над могилой все клянутся продолжить дело павшего героя, а потом...» В то же время я мог понять и Буткевича. Копаться в деле, в котором замешана ФСБ, было весьма рискованно... «Господи, чего же Слава там такого накопал?»

— Что ты хочешь от меня? — прямо спросил я Марину.

— Не знаю, — замылась она. — Мне хотелось бы узнать правду, но я не знаю как.

«Бог ты мой! Она что, хочет, чтобы я сунул голову в эту петлю? — с тоской подумал я. — Да я просто боюсь...»

— Ты сама видишь, что здесь многое непонятно, — начал я, чтобы выиграть время. — Что это за люди? Как их зовут? Ты не помнишь, был среди Славкиных знакомых кто-то с инициалами Ф. Т., Д. Г. или Б. К.?

— Нет... Так с ходу не могу никого припомнить...

— Слушай, мать, ты мне можешь рассказать, как всё, собственно, произошло?

— Подробностей, Леша, я не знаю. Ты же помнишь, как Слава работал? Никому ничего не рассказывал. «Полная тайна вкладов», — любил говорить.

— Неужели он совсем-совсем ничего не говорил?

— Немного. Месяца за два до...

Она запнулась.

— ...До смерти явился домой весь такой загадочный. Вижу, случилось что-то. Но у нас в тот момент как раз был минор в отношениях, и поэтому я сделала вид, что меня это не интересует. Ну и он помалкивал... А потом... Как-то по отдельным фразам я поняла, что на него вышел какой-то человек. Типа информатор.

— А что за человек? Откуда?

— Вроде бы из ФСБ. Имени не знаю. Но зато я его один раз, кажется, видела...

— Как же это вышло?

— Совершенно случайно. Мы как-то поехали со Славой в «Петровский пассаж». Надо было купить подарок одному приятелю на день рождения. Вечер был, часов шесть, машин полно, припарковаться негде. Славка встал вторым рядом и говорит: ты тут посиди, а я быстро, если кто-нибудь станет выезжать, вот ключи. И ушел. Только он скрылся, а мне уже в окошко гаишник стучит: мол, нельзя тут стоять. Я ему: сейчас-сейчас, извините, уезжаю. И стала нарезать круги вокруг квартала. Минут десять каталась, приткнулась наконец кое-как. И думаю: что я тут буду сидеть, пойду тоже в «Пассаж», погуляю. Захожу, иду по первому этажу и вдруг вижу — в конце, у выхода на Неглинную, стоит мой и разговаривает с каким-то мужиком незнакомым.

— То есть ты раньше этого дядьку никогда не видела?

— Нет, точно не видела. Я б запомнила. Интересный такой мужчина. Высокий, подтянутый, широкоплечий. Волосы русые назад зачесаны...

— И ты что?

— Ну, я к ним поцокала. Но тут меня Славка заметил и...

Марина на секунду замялась.

— Что и?

— У него такое выражение лица было...

— Какое?

— Немного растерянное и недовольное. Как будто я его врасплох застала. И, знаешь, в таких ситуациях Слава меня обычно представ-

лял... ну, своим собеседникам. Мол, вот — Марина, а вот — такой-то... А тут нет. Он меня увидел и что-то сказал этому парню, тот голову повернул и посмотрел... Тогда я глаза его увидела... такие светлые, прозрачные. А взгляд острый, немигающий, холодный... Я подошла, а Славка так торопливо руку мужику этому сунул, и тот повернулся ко мне спиной и ушел. Я еще подумала: вот тебе и раз, как невежливо!

— И что дальше было?

— Ничего. Я Славу спрашиваю: что это за мужик с тобой разговаривал? А он: да так, знакомый один, случайно встретились. А сам по сторонам зыркает. Я еще тогда подумала, что, ой, неспроста все это...

— Думаешь, это было как-то связано?..

— Не знаю, может, просто совпадение.

— Ну хорошо... И что же этот неизвестный информатор Славе рассказал?

Марина замялась.

— Я же тебе говорю: подробности мне неизвестны...

Мы помолчали.

— Знаешь, Славка, похоже, сам немного побаивался за это дело браться, — снова заговорила Марина. — Это, вообще-то, на него не похоже было... Ты же знаешь, он азартный был, рисковать не боялся, а тут... нет, не то чтобы испугался, а как-то напрягся...

— Но всё-таки взялся?

— Мне кажется, тут честолюбие сыграло роль... Ему, видишь ли, в последние годы казалось, что он выходит в тираж, превращается в такого менеджера от журналистики, а реального ничего не делает. Ему один наш общий знакомый говорил: «Что ты всё рыпаешься? Сиди спокойно! Ты свое отбегал, пожинай плоды! Пусть теперь молодые бегают, завоевывают место под солнцем!» А Славка считал, что нет, не отбегал... Очень ему хотелось снова громко выступить, хотелось...

— «...Быть притчей на устах у всех».

— Что?

— Это — Пастернак.

— Какой ты, Леша, всё-таки начитанный. Мне это всегда в тебе нравилось. Ну да, хотелось Славке, чтоб о нем снова заговорили. Но только из-за этого дела он стал какой-то нервный, оглядывался всё, спрашивал меня, не замечала ли я чего-нибудь подозрительного возле дома, машины, незнакомые люди...

— А ты замечала?

— Да нет вроде.

Я повертел в руках Славину книжку.

— Мариш, я был бы очень рад тебе помочь... Мне ведь тоже хочется правду знать... Но у меня сейчас... возможностей таких нет, ресурса, понимаешь? Я ведь уже давно расследованиями не занимаюсь, сижу на редакторской работе, тексты правлю...

Я сделал паузу:

— Но одна зацепка имеется...

— Да? — Марина посмотрела на меня с надеждой. — Какая?

— Фамилия тут есть знакомая... Не в смысле, что я этого человека лично знаю, но найти его можно будет... Может, он что и расскажет... И телефон один есть... Но гарантировать, ты понимаешь, я ничего не могу...

Марина кивнула.

— Давай поступим так... Я сейчас сфотографирую кое-какие странички, а ты эту книжечку спрячь хорошенько. Даже, может быть, не дома.

— Хорошо, — сказала Марина. — Спасибо тебе, Леша! Мне надо было с кем-то поделиться, а ты всё-таки мой старый друг...

МОСКВА, ВЕСНА 1932 ГОДА

Кончак подошел к клетке и провел ногтем по металлическим прутьям. Треньк! Собака вскочила и дружелюбно завилыла хвостом.

— Привет! Привет, Шарик! Или как там тебя?.. Ну, выходи.

Борис наклонился, чтобы открыть дверцу. Собака вскочила, замесалась в тесной клетке, заскулила от нетерпения.

— Сейчас, сейчас... вылезай.

Пес выскочил из клетки и весело заметался по комнате.

— Собаку не кормили? — спросил Кончак у стоявшего рядом мрачного мужчины, заведующего виварием.

— Никак нет, — ответил тот. — Как было приказано...

Пес, черная лохматая дворняга, вертелся под ногами у Кончака, заглядывал ему в глаза.

— Ладно, ладно, — сказал Борис, обращаясь к собаке. — Немножко можно.

Он достал из кармана халата скомканную бумажную салфетку и развернул ее. Внутри лежал хлебный мякиш.

— На, — протянул он псу хлеб.

Тот подскочил и в мгновение ока заглотнул угощение.

— Ну, иди сюда, — Кончак похлопал себя по ноге. — Залезай!

Собака сразу поняла, что от нее требуется, и быстро вскочила на невысокую кушетку, стоявшую у стены, а оттуда — на стол.

— Молодчина!

Кончак подошел к шкафу и извлек из него блестящую металлическую коробку и стеклянный пузырек с прозрачной бесцветной жидкостью. Из коробки он вынул шприц, проткнул им пробку пузырька и выкачал жидкость.

— Ну-с, небольшой укольчик.

Борис нащупал место на спине у собаки, раздвинул шерсть и быстро сделал укол. Пес взвизгнул и укоризненно посмотрел на Кончака.

— Тихо, тихо, псина! — погладил его Борис. — Посиди здесь.

— Понаблюдайте за ним, — сказал он мрачному мужчине и вышел из комнаты.

Кончак прошел по коридору, в конце которого за столом сидел охранник в форме, показал пропуск и вышел во двор. Достал папиросу, закурил, огляделся. Двор как двор. На веревках сушилось выстиранное белье, бегали дети. Возле соседнего дома мужики выгружали из кузова машины какие-то ящики, там в первом этаже размещался продуктовый магазин. Мимо прошла пожилая женщина с хозяйственной сумкой. Кончак обвел взглядом ставшую для него уже привычной картину и в который раз подумал, что все эти люди и не подозревали о том, что у них тут по соседству...

Борис Ростиславович уже почти год работал в токсикологической лаборатории НКВД. После того как он подал в Казани свой рапорт, события стали развиваться необыкновенно быстро. Через пару дней его освободили. А еще через месяц он получил назначение в Москву. Ему выделили довольно большую комнату в доме на Сретенке. Невиданная роскошь. У него появились деньги. Он купил новое пальто. Снова ел досыта, ходил в синематограф. Его жизнь вдруг стала... нормальной. Точнее, она обрела видимость нормальной. Он ни на минуту не забывал, какой ценой это было добыто, но всё равно наслаждался. Наслаждался сытостью и ощущением безопасности, которое давала ему принадлежность к этой страшной организации. Безопасности, как он понимал, временной, иллюзорной, но всё же, всё же...

Единственным по-настоящему радостным событием стала для Кончака встреча с Заблудовскими. Они в то время уже жили на Новинском бульваре. Борис долго колебался, идти к ним или нет. О сво-

ей новой работе рассказывать не мог — дал все возможные подписки о неразглашении. Да если бы даже и не дал... Поэтому надо было врать, придумывать себе другую жизнь... Но желание видеть Павла Алексеевича и особенно Ариадну оказалось сильнее. Он узнал адрес, надел новый костюм, купил цветы... Дверь открыла Ариадна... Он хорошо запомнил выражение ее лица — радостно-удивленное. Она молча кинулась ему на шею. Он открыл было рот, чтобы сказать что-то, но девушка приложила палец к его губам.

— Молчи! — прошептала она. — Я так рада тебя видеть!

— Кто там, Риночка? — послышался из комнаты голос Серафимы Георгиевны.

— Ты не поверишь, мама! — крикнула Ариадна, отрываясь от Кончака.

Из столовой вышла старшая Заблудовская.

— О боже! Борис! — воскликнула она. — Какими судьбами? Когда? Как? Вот уж Павел Алексеевич удивится!

Мать и дочь подхватили его, повлекли за собою, стали расспрашивать... Сидели долго, пили чай, говорили о разных предметах... Потом со службы, из института, вернулся профессор Заблудовский, и снова объятия, расспросы, разговоры допоздна. И от этого жизнь показалась Борису уже не просто нормальной, но почти прекрасной... И только поздно ночью, когда он вышел от Заблудовских, твердо пообещав прийти еще раз на днях, и отправился пешком к себе на Средтенку, снова вспомнил, какова цена...

Он стал бывать на Новинском, часто выходил куда-нибудь с Ариадной. В ресторан, на танцы, в оперу. Это были дивные вечера! Она предпочитала итальянцев — Верди, Пуччини, а он уже увлекался Вагнером... Спорили, кто лучше. А иногда говорили родителям, что идут в театр или в кино, а на самом деле укрывались на квартире или в комнате у какого-нибудь знакомого Ариадны и занимались там любовью до изнеможения. Кончак ревниво спрашивал девушку, откуда она знает хозяина жилища.

— Ревнуешь? — смеялась Ариадна.

— Вот еще! — фыркнул он. — Просто спрашиваю.

— Не ревнуй, — тихо шептала она. — Ты, ты — мой главный мужчина! Ты меня сделал, вылепил, как Пигмалион свою Галатею...

И нежность переполняла его, и он готов был простить и позволить ей все!

С Павлом Алексеевичем они подолгу сживали в кабинете и беседовали на разные научные темы. Тогда Борис впервые услышал от Заблудовского о ВИЭМе. Институт только организовывался, но Павлу Алексеевичу уже предложили создать и возглавить там лабораторию органолептических препаратов. Он звал Кончака к себе. Это была прекрасная идея! Снова работать с Заблудовским, быть его близким сотрудником и другом семьи — это то, чего Борис желал больше всего. Кроме того, это решило бы проблему... легализации. Еще в первую встречу Заблудовские стали расспрашивать, что он делал в Москве, где работал? Пришлось изворачиваться, отделяться туманными объяснениями о каких-то переводах и редактировании научных статей. Павел Алексеевич заявил тогда, что подумает о трудоустройстве Бориса. И вот оказалось, что у профессора уже имелся определенный план. Кончак, правда, опасался, что в НКВД могут воспротивиться такому совмещению, но там на удивление легко согласились... Он понял: решили убить двух зайцев. Он будет продолжать работу в токсикологической лаборатории и одновременно присматривать за профессором Заблудовским в ВИЭМе. «Семь бед — один ответ, — решил Борис. — Всё равно ничего плохого про Павла Алексеевича я им не расскажу...»

Борис Кончак взглянул на часы. Прошло уже пятнадцать минут. Пора! Он выбросил окурок и пошел обратно в лабораторию...

Пес неподвижно лежал на столе. Из чуть приоткрытого глаза смотрел в потолок мертвый зрачок.

— Сдох Шарик, — сообщил Кончаку его мрачный помощник. — Минут пять назад.

— Что и требовалось доказать, — пробормотал Борис Ростиславович. — В прозекторскую его! На вскрытие.

МОСКВА, НАШИ ДНИ

Мысли о записной книжке Любомирского не давали мне покоя, и на следующий день я послал Антону Беклемишеву эсэмэску: «Старик, ты обещал мне человека, с которым можно поговорить о Заблудовском и всех делах». Почти сразу пришел ответ: «Извини. Закрутился. Коженков Федор Иванович». Далее шел телефонный номер, судя по коду, городской. «Черт, а мобильного у этого светила науки нет, что ли? — подумал я с легким раздражением. — Впрочем, какая разница?»

В понедельник я позвонил по номеру, который прислал мне Антон. Трубку долго никто не брал. Длинные гудки один за другим уходи-

ли куда-то в пустоту и гасли без следа. Я попытался представить, что происходит там, на другом конце провода. Где стоит телефон, на который я звоню? Воображение рисовало картины из фильма «Матрица». Пустая, обшарпанная комната, посреди которой стоит тумбочка. На тумбочке — допотопный черный аппарат с дисковым набором. Он оглушительно звонит, но трубку никто никогда не возьмет, потому что это — ненастоящая комната и ненастоящий телефон, всё это — фальшивка, подстава. И сейчас из трубки вылезут какие-нибудь агенты Смиты и вкрутят мне в мозг лампочку накаливания... И тут вдруг трубку сняли, и приятный женский голос сообщил мне, что я позвонил в федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии». Всё сразу переменялось: вместо пустой мрачной комнаты со старым телефоном перед моим мысленным взором предстало большое светлое помещение — приемная или ресепшен, молодая симпатичная девушка-секретарь в белой блузке и строгой черной юбке...

— Здравствуйте, не могли бы вы соединить меня с Коженковым... эээ... Федором Михайловичем?

— Ивановичем, — мягко поправила меня девушка на другом конце линии.

— Да, конечно... С Федором Ивановичем, извините, — пробормотал я и мысленно обозвал себя болваном.

— Как вас представить?

Как представить? Так и представить...

— Заместитель главного редактора журнала «Перископ» Алексей Петрович Кораблев.

Правду говорить легко и приятно.

— Одну минуту.

В трубке заиграла музыка. И играла она минуты полторы. Потом раздался щелчок, и глуховатый мужской голос произнес:

— Коженков слушает.

Я назвал себя.

— Да-да, Антон говорил мне, — сказал Коженков, как мне показались, без особого энтузиазма. — Чем могу быть вам полезен?

Меня так и подмывало спросить, какое отношение он имел к Любомирскому и делу Манюченко, но я решил, что не стоит с этого начинать. «Будем действовать последовательно, — подумал я. — Сначала надо поговорить с ним о лизатотерапии».

— Я пишу статью о моем прадеде Павле Алексеевиче Заблудовском и хотел бы поговорить о его научной деятельности.

— Что именно вы хотели бы узнать? — сухо спросил Коженков.

У меня определенно складывалось впечатление, что Федор Иванович не горел желанием встречаться со мной и был не прочь свернуть дело, ограничившись краткой телефонной беседой. В мои планы это не входило.

— Федор Иванович, у меня довольно много вопросов. Насколько ценным был метод, предложенный академиком Заблудовским? И почему, несмотря на популярность лизатотерапии в 30-е годы, исследования в этой области были прекращены? И отчего...

— Видите ли, — перебил меня Коженков. — в среду я уезжаю в командировку на две недели, поэтому если вы хотите побеседовать до моего отъезда, то у нас остается только завтра. Вы могли бы приехать в институт, скажем, в два часа дня?

Назначенное время было мне неудобно, но и ждать две недели я не хотел. Коженков продиктовал мне адрес, и на том мы расстались.

Институт, где работал Федор Иванович, находился на Юго-Западе, в районе метро «Профсоюзная». Безликая панельная коробка высотой в семь этажей. Прилегающая территория была обнесена железным забором и плотно заставлена автомашинами. Ни газона, ни деревьев — тоскливая асфальтовая плешь. Я беспрепятственно миновал КПП со шлагбаумом. Охранник в будке читал газету и не обратил на меня никакого внимания, видимо, потому, что я не был автомобилем. Я поднялся по ступенькам крыльца и вошел в вестибюль. Внутри было уютнее, чем снаружи. С левой стороны помещался гардероб, полупустой по причине теплой погоды. Справа стоял освещенный изнутри киоск, торговавший газетами, журналами и всякой мелочовкой. В окошке киоска я заметил пожилую женщину в очках, с гладко зачесанными седоватыми волосами. Прямо по курсу виднелись двери лифтов, а слева от них — стеклянная дверь, которая вела, судя по всему, на лестницу. На пути к лифтам с правой стороны стоял обычный письменный стол, за которым сидел еще один охранник.

— Вы к кому, молодой человек? — осведомился он.

— К Коженкову Федору Ивановичу, — отрапортовал я.

— Документ дайте.

Я протянул стражнику паспорт.

Дядька записал мою фамилию и номер паспорта в большую тетрадь и вернул мне документ.

— Пятый этаж, комната 517, — сообщил он.

Поднявшись на лифте на пятый этаж, я оказался в длинном коридоре, отделанном темно-коричневыми деревянными панелями. На полу лежала красная ковровая дорожка, местами немного потерятая. «Шик семидесятых», — подумал я. В коридоре не было ни души. Миновав большой светлый холл с пальмами и кожаными креслами, я быстро нашел комнату с номером 517. Рядом на стене красовалась табличка, на которой золотыми буквами по черному фону было написано «Профессор Коженков Ф. И.». Я постучал.

— Войдите, — послышалось из-за двери.

Надо сказать, что внешне Коженков оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Я ожидал увидеть худого желчного мужчину с бледным лицом. Вместо этого за столом сидел полноватый румяный дядька лет пятидесяти с гаком, чем-то напоминавший мистера Паррика из сказки о Мэри Поппинс. Правда, в отличие от героя Памелы Трэверс профессор Коженков явно не собирался взлетать в воздух от смеха. Дядька встретил меня вежливо, но без особой теплоты.

— Вы — Кораблев? — спросил он, вставая из-за стола.

— Так точно.

— Садитесь, — Коженков указал на стул, стоявший возле стола. — Прошу извинить меня за творческий, так сказать, беспорядок. Много работы!

И он обвел рукой свой стол, заваленный книгами, журналами и бумагами. Я уселся на предложенный мне стул. Коженков некоторое время изучающе смотрел на меня, потом откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе.

— Так, значит, вы пишете о Заблудовском?

— Да.

— А что же, если не секрет, послужило поводом?..

— Всё произошло довольно неожиданно... Мне вообще-то давно хотелось разобраться в том, чем занимался мой прадед... Понять суть его теории. А тут подвернулось предложение написать статью для одного... эээ... издания.

Коженков несколько секунд изучающе смотрел на меня.

— Хорошо, — сказал он, — я постараюсь максимально полно ответить на ваши вопросы.

У меня немного отлегло от сердца.

— Скажите, — начал я, — а как вы вообще узнали о профессоре Заблудовском и его теории?

— Хм... Вы, Алексей... Простите, как ваше отчество?

— Петрович, но можно просто Алексей.

— Хорошо. Так вот, Алексей, вы слышали об организации под названием ВИЭМ?

— Да, конечно. Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Прадед возглавлял там лабораторию органолептических препаратов... Помню, много лет назад мама разбирала старые письма и фотографии, и разговор зашел о Павле Алексеевиче. Тогда, кажется, я впервые услышал эту аббревиатуру... Мне понравилось, как это звучало. В-И-Э-М. Было в этом что-то такое хлебниковское. «Вээоми пелись взоры...»

Коженков с интересом посмотрел на меня.

— Пиээо, кажется, пелись брови... Хотите чаю? — вдруг спросил он.

Про себя я отметил, что в наших с профессором отношениях наметилось некоторое потепление.

— Не откажусь.

Федор Иванович встал из-за стола и включил стоявший на подоконнике электрочайник. Агрегат зашумел, а профессор засунул руки в карманы и спросил меня:

— Вы раньше занимались научной тематикой?

— К сожалению, нет, — ответил я.

— Понятно.

Чайник громко щелкнул и затих. Коженков вынул из шкафа две белые чашки и поставил их на стол.

— Вам черный или зеленый?

— Черный, пожалуйста.

Профессор достал из ящика стола пару чайных пакетиков, бросил их в чашки и залил кипятком.

— Сахар берите.

— Спасибо.

Коженков пододвинул ко мне блюдце, на котором лежали пакетики с сахаром.

— Н-да... Так вот, ВИЭМ. Это, знаете ли, было очень любопытное заведение. Сейчас о нем пишут редко, а если и пишут, то в несколько пренебрежительном тоне. Считают чуть ли не шарлатанской контрой. Я с этим не согласен.

Коженков произнес это с вызовом, так, словно я был тем, кто утверждал, что с ВИЭМом было что-то не так.

— Да-да, некоторые полагают, что ВИЭМ был большой аферой, в которую почему-то верило руководство страны. Один очень уважаемый мною писатель дал этому институту определение «лысенко-подобный»...

— Хлестко, — заметил я.

— Но не совсем верно.

Коженков легко встал с кресла и подошел к стоявшему в комнате книжному шкафу.

— У меня тут, знаете ли, книжки всякие имеются интересные, — произнес он и провел пальцем по книжным корешкам. — Вот, например!

И он вытащил из книжного ряда небольшой коричневый том.

— «Сборник материалов к 5-летию Всесоюзного института экспериментальной медицины», — провозгласил он, усаживаясь обратно в кресло. — Любопытнейшее чтение! Заметьте, пятилетие ВИЭМ наступило аккурат в 1937 году. К моменту выхода сборника некоторые авторы были уже репрессированы, так что хранить такую книжку было небезопасно. Но мои родители сохранили... Сейчас вам прочту кусочек...

Коженков нацепил на нос очки в тонкой металлической оправе и несколько секунд искал нужное место.

— Вот! «Советское правительство в декрете 15 октября 1932 года по поводу организации Всесоюзного института экспериментальной медицины четко и ясно поставило перед советской медициной проблему изучения человека и изыскания новых, активных методов лечения, профилактики и исследования. Эта задача, указанная Совнаркомом, ярко подчеркивает различие в путях развития советской и буржуазной медицины. В самом деле, разве можно прийти к новым способам исследования, лечения и профилактики, если взять за принцип пресловутый «нигилизм в медицине», проповедуемый Гольдшейдером и Зауэрбрухом...»

— Кем-кем, простите?

— Это так... цепные псы буржуазной физиологии, — вдруг подмигнул мне Коженков. — Не обращайтесь внимания!

Он опустил глаза и продолжал читать:

— «...И не менее пресловутый лозунг «назад к Гиппократу» с его принципом «Природа лечит, врач наблюдает». Часть советских вра-

чей, чувствуя фальшь этого лозунга, но не умея найти правильное направление, призывает идти не «назад к Гиппократу», а «вперед с Гиппократом». Но ни то, ни другое не решает вопроса. Гиппократ достоин памяти и уважения, но нельзя при современном развитии науки делать из него знамя. Надо уметь взять то полезное, что дал нам основоположник научной медицины, но идти вперед не с Гиппократом, а с тем лозунгом, который дают нам партия и рабочий класс».

— А? Каково?— воскликнул Коженков и захлопнул книжку.— Как вам это нравится?

— Идти вперед не с Гиппократом, а с лозунгом? Честно говоря, мне это совсем не нравится! Слушайте, а я ведь стал всё это уже забывать, а тут вдруг чем-то таким повеяло. Партия... Рабочий класс... «Нам нет преград...»

— Вот именно!— подхватил Коженков.— Именно! «Нам нет преград!» Вы уловили самую суть...

— А вы не думаете, что это просто ритуальные заклинания?— спросил я.

— Нет, друг мой, думаю, тут дело сложнее. В заклинания всё это превратилось потом, а тогда еще был... порыв!

— Думаете, был?

— Да. Это было такое время— революционное. Казалось, что всё возможно. Что вот сейчас рабочий класс напряжется еще немного и перевернет землю, и раздвинет горизонты, познает всё неизвестное и подчинит всё неуправляемое... И старость победит, а там, глядишь, и саму смерть! Так вот, еще будучи студентом, я заинтересовался и институтом, и учеными, которые там работали. Тогда-то я впервые и натолкнулся на труды вашего уважаемого родственника... Идеи Павла Алексеевича Заблудовского были очень созвучны времени... Активно вмешиваться в процессы, которые идут в организме, и направлять их в нужное русло. Понимаете?

— «Искусство— это не зеркало, которое мы ставим перед действительностью, а молот, которым мы ее куем».

— Недурно! А кто это сказал?

— Кажется, Карл Маркс.

— Ну что же, наука— тоже в некотором смысле молот. И вот на этой приливной волне поднялся и ВИЭМ, и профессор Заблудовский... Конечно, к любому большому делу всегда примазывается некоторое

число жуликов и проходимцев, но это не основание записывать в обманщики и всех остальных.

Мне показалось, что Федор Иванович вел спор с кем-то невидимым.

— Впрочем, я, кажется, немного отвлекся, — спохватился вдруг Коженков. — Давайте, Алексей, попробуем придать нашей беседе более ясное направление. Какие у вас есть ко мне вопросы?

— У меня их, по большому счету, два.

Коженкову, похоже, понравилась моя четкость. Впервые за всё время нашего разговора на лице его мелькнуло что-то похожее на улыбку.

— Выкладываете.

— Была ли лизатотерапия эффективной и, следовательно, можно ли ее считать ценным вкладом в медицинскую науку?

Коженков хмыкнул.

— Отвечая на этот вопрос, я вынужден буду обложиться оговорками, как подушками, — проговорил он. — Я сам опытами по изготовлению и применению лизатов не занимался и в рассуждениях своих могу опираться лишь на литературу. Поэтому всё, что я вам скажу, будет не фактом, а мнением... Так к этому и прошу относиться.

Я молча кивнул.

— Идеи Заблудовского довольно интересны, хотя и не бесспорны.

Я слегка наклонил голову, что должно было означать, что я принял это сообщение к сведению.

— Вы в общих чертах представляете себе теорию лизатов?

— В общих чертах да.

— С исторической точки зрения учение о натуральных клеточных ядах, которое развивал ваш прадед, является продолжением идей Парацельса и всей так называемой изопатической школы врачей. Они еще в конце XV века утверждали, что всякая ткань, всякий орган способен оказывать продуктами своей жизнедеятельности полезное действие на организм. Именно изопаты придумали лечить больные органы одноименными органами здоровых животных. В аптеках XVII–XVIII веков предлагались препараты головного мозга, печени, крови и других органов животных и человека...

— Человека?

— Ну да, человека.

— А как можно получить препарат из сердца человека, например?

— Из трупа, — пояснил Коженков, — из свежего трупа.

На моем лице, видимо, что-то такое отразилось, потому что Коженков вдруг замолк и с усмешкой посмотрел на меня.

— Вам неприятно? — спросил он. — Но без этого медицина не могла бы двигаться вперед... Впрочем, насколько я знаю, профессор Заблудовский пользовал пациентов препаратами, приготовленными из органов животных. Он же начинал как ветеринар и академиком был избран в Академии сельскохозяйственных наук...

Коженков снова откинулся на спинку кресла и в задумчивости пожевал губами.

— Так вот... Теория, выдвинутая профессором Заблудовским, представляла несомненный интерес. Однако при жизни автора она так и не нашла своего, если можно так выразиться, логического завершения. То есть не была ни окончательно подтверждена, ни окончательно опровергнута. Сам академик Заблудовский в одной из поздних статей признавал, что существенным недостатком лизатотерапии являлось то, что из нее так и не был изъят... да-да, он так и писал... не был изъят элемент случайности. Понимаете? В одних случаях получался исключительно благоприятный результат, а в других — нет.

— То есть он что-то нашел, но не мог точно сказать, как это работает?

— Именно! Он так и писал: мы эмпирически нашли лизаты — химически неопределенные смеси, которые имеют определенное физиологическое действие на объект. Но для того, чтобы утвердить лизатотерапию как научное явление, необходимо было ответить на вопрос: а какие химические вещества, входившие в состав лизатов, являлись активным началом?

— Можно сказать, что у прадеда в руках была «живая вода», но он не знал ее формулы?

— Я возражаю против термина «живая вода», потому что под ним обычно понимается некое волшебное средство от всех болезней и даже от смерти, в существование которого я не верю, — сказал Коженков. — Но суть проблемы вы уловили верно: средство есть, формулы нет.

— А почему нельзя было взять лизат, доказавший свою эффективность, отнести его в химическую лабораторию и...

— ...Там разложить на элементы и узнать, из чего он состоит? — закончил за меня Коженков.

— Вы угадали мою мысль.

Коженков усмехнулся:

— Пойдите в магазин, купите бутылку кока-колы, отнесите ее в лабораторию, и «Кока-Коле» крышка! Ах, если бы всё было так просто... Ваш вопрос немного дилетантский, но по сути правильный. Между химиками и биологами есть существенная разница в их отношении к исследуемым объектам. Химик привык иметь дело с точно определенными веществами, укладывающимися в рамки химических формул, и считает, что только выделенное в химически чистом виде вещество подлежит дальнейшему исследованию. Биолог, наоборот, сплошь и рядом не имеет перед собой химически выделенного объекта и только фиксирует способность тех или иных препаратов вызывать определенную реакцию в живом организме. Заблудовский считал «химический» путь разложения лизатов на составные части если и не бесплодным, то чрезвычайно длительным и полным случайностей из-за великого множества возможных комбинаций. Кроме того, он указывал, что нередко комплексное действие различных веществ не похоже на действие ведущего химически чистого элемента. И, тем не менее, отсутствие формулы его, видимо, беспокоило. Мне кажется, он видел в этом слабость, уязвимость своей теории, повод для упреков в ненаучности. Ведь даже «родные», как теперь принято говорить, лизаты, приготовленные по методике Заблудовского, не давали стабильных результатов. Что же говорить о множестве других препаратов, которые делались в различных лабораториях по всей стране. В то время за изготовление лизатов брались все кому не лень. Сам Заблудовский в одной из своих статей в 1933 году писал об этом с некоторым раздражением. Но так как не было формулы, не было «стандарта», то и отличить «правильный» лизат от «неправильного» не представлялось возможным. Контролировать и проверять работу всех энтузиастов лизатотерапии Заблудовский не мог. Последние годы его жизни, видимо, прошли в напряженных поисках ответа на вопрос, как же работает механизм, который он открыл. Особенно после 1932 года, когда он работал уже в ВИЭМе... Одним словом, ваш уважаемый предок выдвинул весьма интересную теорию. Следовало ее развивать, накапливать статистику, продолжать проверять экспериментально, но смерть академика Заблудовского прервала эту работу, и здание лизатотерапии осталось незавершенным.

— Тогда второй вопрос. Если, как вы говорите, идея была популярной и ею занимались многие, почему не нашлось никого, кто смог

бы продолжить работу? Почему вдруг всё кончилось и лизатотерапия оказалась так прочно забыта? Лизаты изготавливали и применяли — на минуточку! — в Лечебно-санитарном управлении Кремля. Съезды... кого там?.. эндокринологов?.. признавали ее новым перспективным методом. И вдруг тишина! Куда девались все эти энтузиасты? Объясните!

Коженков побарабанил пальцами по столу.

— Я думаю, тут в дело вмешался политический фактор, — медленно произнес он.

— Политический фактор? Что вы имеете в виду? Репрессии?

Коженков внимательно посмотрел на меня.

— Н-да, репрессии, можно и так сказать. Вы... В вашей семье никогда не обсуждали... эээ... ход и результаты третьего московского процесса 1938 года?

— Ммм... Не припоминаю такого семейного обсуждения.

— А вы вообще что-то об этом читали?

— Конечно, это был процесс, на котором осудили Бухарина и Рыкова... А заодно и бывшего главу НКВД Ягоду.

— Совершенно верно. Это были главные действующие лица, но кроме них на скамье подсудимых было еще много народу...

— Мне это известно...

— Там были и врачи...

— Да, Левин, Казаков и Плетнев. Кремлевские врачи...

— Ну, они в разной степени были «кремлевскими»...

— Мама говорила, что прадед всех их знал лично...

— Не сомневаюсь. А что им инкриминировали, помните?

— По-моему, неправильное лечение Горького...

— В том числе. А еще сына Горького Максима Пешкова, Куйбышева и, что очень важно, бывшего шефа ОГПУ-НКВД Менжинского Вячеслава Рудольфовича...

И в эту секунду на столе у Федора Ивановича громко зазвонил телефон.

— Коженков слушает, — бодро сказал профессор в трубку. — Да, Афанасий Дмитриевич, я в курсе... Да... Думаю, результаты будут на следующей неделе. Да, я зайду.

Федор Иванович положил трубку и задумчиво посмотрел на меня.

— А как они их неправильно лечили, знаете? — спросил он, глядя мне прямо в глаза.

— Нет, не знаю. А как?

— Тогда я советую вам почитать материалы третьего московского процесса, особенно стенограмму допроса доктора Казакова. Многие вам станут понятны.

Сделать то, что советовал мне Коженков, было совсем не сложно. Материалы процесса 1938 года и обвинительная речь прокурора Вышинского, изданная отдельной брошюрой, долгие годы стояли на полке в бывшем кабинете прадеда на Новинском. Я еще всегда думал, почему именно третьего? Почему в доме не было материалов первого процесса 1936 года? Или второго — 1937-го? А третий был...

На столе у Коженкова снова зазвонил телефон. Федор Иванович снял трубку.

— Да-да, Афанасий Дмитриевич. Иду! — сказал он. — Извините меня, Алексей Петрович, но вынужден прервать нашу в высшей степени интересную беседу. Начальство вызывает!

Коженков поднялся и застегнул пиджак.

— Федор Иванович, у меня к вам еще один короткий вопрос, — заторопился я. — Не касающийся профессора Заблудовского...

— Да? Слушаю.

— Вы были знакомы с журналистом Вячеславом Любомирским?

Коженков замер.

— Да... Нет... Мы виделись однажды, — медленно произнес он. — А почему вы интересуетесь?

— С ним случилось несчастье... Год назад он погиб при не вполне ясных обстоятельствах.

— Да, я слышал об этом... читал, — сказал Коженков каким-то безжизненным голосом.

— О чем он вас спрашивал?

Федор Иванович молчал.

— В разговоре с вами он упоминал фамилию Манюченко?

— Простите?

— Манюченко. Это российский предприниматель, который умер в Англии...

— Ах, ну да! Нет... Об этом мы не говорили.

— А о чем вы говорили?

— Господин Любомирский, как и вы, интересовался лизатами.

— А зачем ему понадобились лизаты, он не сказал?

Коженков явно колебался.

— Он интересовался, действительно ли можно при помощи этих препаратов вызвать смерть человека.

— Что?! А почему он этим интересовался?

— Не знаю.

— И что вы ему ответили?

— Ответил, что не знаю... Алексей Петрович, если честно, мне не хотелось бы об этом говорить.

— А почему, собственно?

Коженков как-то испуганно оглянулся, а потом, понизив голос, произнес:

— Вскоре после того, как у меня побывал Любомирский, ко мне пришел человек...

— Какой человек?

— Оттуда, с книжечкой,— многозначительно произнес профессор.— Он тоже интересовался моим разговором с Любомирским... Простите, но мне нужно идти.

МОСКВА, СЕНТЯБРЬ 1932 ГОДА

— Товарищи! Товарищи! Прошу внимания! — обратился к собравшимся зампред Совнаркома Валериан Куйбышев. — Слово для доклада предоставляется профессору Павлу Алексеевичу Заблудовскому. Тему своего сообщения уважаемый Павел Алексеевич сформулировал так: «Лизатотерапия как новый способ лечения и омоложения организмов».

Профессор Заблудовский занял место на импровизированной трибуне, слева от председательского стола, и обвел взглядом собравшихся. Заседание Совнаркома, посвященное лизатотерапии, собрали не в Кремле, а в бывшем особняке Рябушинского на Малой Никитской улице, где после возвращения в СССР жил Максим Горький. Павел Алексеевич знал, что писатель очень интересуется вопросами омоложения и продления человеческой жизни и принимает активное участие в организации нового научного учреждения — Всесоюзного института экспериментальной медицины. На заседание ждали Сталина, но он не приехал. Не приехал и председатель Совнаркома Молотов. Но несмотря на это, собрание получилось весьма представительное, Заблудовский увидел в комнате немало высокопоставленных лиц. В первом ряду рядом с Горьким сидели председатель ОГПУ Вацлав Менжинский, заместитель Молотова Ян Рудзутак и секретарь

ЦИК Авель Енукидзе, за ними, во втором ряду, — наркомздрав РСФСР Каминский и нарком земледелия Союза Яковлев. Чуть дальше — высокопоставленный чиновник Наркомтяжпрома Иван Москвин. Где-то в дальнем углу мелькнул заместитель Менжинского Генрих Ягода. Научное сообщество было представлено Львом Федоровым, которого прочили в руководители ВИЭМа, профессорами Беклемишевым, Сперанским, Левитом, Плетневым и Серебровским...

Павел Алексеевич достал из кармана и положил перед собой тонкую стопку небольших листков бумаги. Закончив приготовления, он начал доклад:

— Еще покойный профессор Мечников не раз высказывал глубокую философскую мысль, что «не смерть, а бессмертие является характерной особенностью жизни». Действительно, на основании целого ряда самых точных исследований мы знаем, что бактерии, инфузории и другие одноклеточные организмы, если им предоставить подходящие внешние условия, могут жить бесконечно долго. Каждая такая клетка, достигнув известной стадии роста, делится на две дочерние, такие же живые клетки. Здесь нет смерти. Мы полагаем, что все простейшие организмы потенциально бессмертны...

Павел Алексеевич говорил энергично, с подъемом, всё более воодушевляясь. Он чувствовал, что всё сильнее завладевает аудиторией, заставляет собравшихся буквально ловить каждое слово.

— Что же мы можем противопоставить этому? Можем ли бороться с тем, что неизбежно? Способны ли бросить вызов самой смерти? Чтобы попробовать ответить на эти вопросы, сделаем шаг назад и обратимся вновь к одноклеточным организмам. Если микробы поместить в пробирку с питательной средой и держать при оптимальной температуре, то сначала они быстро размножаются, но затем часть микробов начинает погибать. Гибель эта прогрессивно растет, и наконец наступает смерть. Происходит это потому, что микробы выделяют ядовитые продукты диссимиляции, иными словами, простейший организм погибает, отравившись продуктами собственной жизнедеятельности! Такие продукты, являющиеся неизбежными спутниками жизни всякой клетки, я называю натуральными клеточными ядами — в отличие от ядов искусственных, действию которых организм в течение жизни может подвергнуться, а может и не подвергнуться...

Клетки высшего организма, как уже говорилось, принципиально почти не отличаются от одноклеточных. Они тоже постоянно произ-

водят натуральные клеточные яды. И если бы эти вещества не вывелись бы всё время из клеток, то организм тоже скоро погиб бы, отравившись продуктами своей жизнедеятельности...

Заблудовский отпил немного воды из стоявшего на трибуне стакана. В комнате кто-то негромко кашлянул.

— До сих пор я говорил о ядовитом воздействии продуктов диссимиляции на клетку и находился, таким образом, на стороне смерти. Уважаемые слушатели вправе спросить меня: где же та дорога, где тот мостик, который приведет нас на сторону жизни? Ученым известен закон Арндта-Шульце, который гласит, что слабые раздражения усиливают жизнедеятельность клеток, средние — поддерживают, сильные тормозят, а очень сильные прекращают. Наши опыты показывают, что растворы ядовитых продуктов распада в малых дозах способны стимулировать работу соответствующего органа! Следовательно, имея в руках особые препараты, которые я называю «органолизатами», мы можем произвольно повышать или понижать функцию намеченного органа или ткани! За время своей научной работы я окончательно пришел к убеждению, что продукты распада клеточных ядер являются одновременно и ядами, и стимулинами — термин, которым пользовался профессор Мечников, — жизнедеятельности клеток в зависимости от их количества... В свете приведенных данных мне удалось построить такую гипотезу: введение лизатов вызывает в организме резкую физико-химическую пертурбацию и повышает его сопротивляемость. Если приготовить особые препараты из высококодифференцированных органов и тканей и ввести в соответственных дозах в кровь или непосредственно в орган, то можно получить новый вид терапии.

Листочки конспекта отлетали один за другим.

— ...Такая специфическая терапия открывает перед нами широкие перспективы для лечения самых разнообразных заболеваний. Более того, я утверждаю, что органолизаты могут использоваться не только для лечения, но и для профилактики целого ряда болезней и просто для улучшения работы органов. И отсюда нам уже совсем легко будет перейти к последнему пункту моего доклада — вопросу об омоложении.

По комнате пробежало волнение. У Заблудовского в руке оставался последний листок.

— Возможно ли действительно омоложение организма? Прежде всего давайте разберемся, что следует понимать под этим словом? Одни под ним понимают общее потенцирование организма: улучше-

ние самочувствия, длительный подъем физических и душевных сил и повышение половой потенции. Другие идут дальше и понимают омоложение как возврат к молодости, то есть как шаг назад к жизни. Отсюда, как следствие, и продление половой жизни. Конечно, никто из нас не думает получить вместо старика юношу, но с другой стороны, в некоторой доле жизненный процесс обратим. Мы можем видеть это из целого ряда описанных в литературе исторических примеров. К англичанке по фамилии Уотерморт в 80 лет вернулось зрение. У французенки Мари Жерне, дожившей до 110 лет, седые волосы вернули свой первоначальный цвет. Есть также случаи из современной практики: у 70-летнего мужчины, которому доктор Воронов пересадил половые железы обезьяны, на лысине выросли волосы длиной три сантиметра, у него прошла 10-летняя импотенция! По моему мнению, мы имеем в явлениях омоложения не простое взбадривание организма, а восстановление некоторых его функций, которое выражается в изменении внешности, усилении общей бодрости, повышении духовных способностей, ясности ума, памяти, силы воображения, в возвращении половой способности. Без настоящего омоложения мы не можем себе представить подобных последствий. Но даже если допустить процесс омоложения и без шага назад, только как поддержание сил и здоровья, то и против этого мало кто будет возражать. Профессор Мечников считал, что если бы все ткани и органы нашего организма изнашивались более или менее равномерно, то, по расчету, человек жил бы по крайней мере 150 лет, а не 60–70, как это обычно наблюдается. Я утверждаю, что мы можем прожить 150 лет! Это не фантастика! И если говорить о старости как об осени нашей жизни, то можно сказать, что осень иногда бывает долгая, жаркая, ясная, не хуже уходящего лета! Это всё, товарищи! Благодарю вас за внимание.

В комнате поднялся шум, раздались аплодисменты.

— Тише! Тише, товарищи! — постучал карандашом по стакану Куйбышев. — Желаящие могут задать профессору Заблудовскому вопросы...

МОСКВА, 8 МАРТА 1938 ГОДА

...Вышинский вынул из кармана носовой платок и промокнул лоб. Шел уже седьмой день процесса, и государственный обвинитель устал. А ведь ему предстояло допрашивать врачей. Делать это было

трудно из-за множества специальных медицинских терминов, в которых Андрей Януарьевич не очень хорошо разбирался. Но ошибиться было нельзя...

Первым допрашивали доктора Льва Левина.

...— Что же конкретно вам говорил Ягода о Менжинском? — задал вопрос Вышинский.

— Несколько раз он просто спрашивал меня о состоянии здоровья Менжинского... Я сказал, что, по моим сведениям, очень плохо.

— И что Ягода сказал на это?

— Он сказал: «Зачем же тянуть, если он — обреченный человек...»

— Не сказал ли он, что нужно это ускорить Менжинскому?

— Да, сказал, — ответил Левин после некоторого колебания.

— И тогда вы сказали, для этого нужно привлечь доктора Казакова?

— Да.

— Почему именно Казакова?

— В то время Менжинский был большим поклонником Казакова... Он лечил Вацлава Рудольфовича лизатами, которые приготавливал у себя в лаборатории.

— Значит, он мог приготовить всё что угодно?

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, что Казаков мог приготовить такие лизаты, которые бы не помогли, а вредили, то есть были бы равносильны яду.

— Совершенно верно... Есть две системы лизатов, одна так называемая симпатикотропная, которая сердечной деятельности Менжинского, безусловно, вредила, и другая система — ваготропные лизаты, которые успокаивали сердце и были для него полезны. Казаков стал давать ту группу лизатов, ту смесь, которая вредила сердцу Менжинского. Учитывалось и то, что комбинация лизатов с сердечными лекарствами могла привести к ускорению процесса, то есть к ухудшению... в состоянии здоровья... к новым припадкам грудной жабы. Смерть Вячеслава Рудольфовича, как известно, и произошла от нового припадка грудной жабы...

— Подсудимый Казаков, вы подтверждаете сказанное Левиным? — обратился Вышинский к бывшему кремлевскому врачу.

— Да, подтверждаю, — тихим, бесцветным голосом произнес Казаков.

— Расскажите, в чем именно заключалось неправильное лечение Менжинского?

Несколько секунд Казаков молчал, словно пытаюсь собраться с мыслями.

— Мое отношение к Менжинскому разделяется на два периода, — медленно начал говорить он. — Первый период — до ноября 1933 года, когда я правильно лечил его и добился определенных результатов. Второй период — когда я применял неправильный метод лечения, это было после встречи с Левиным и после встречи с Ягодой...

— Когда именно состоялась ваша встреча с Левиным?

— Я виделся с Львом Григорьевичем в конце ноября 1933 года. Вместе с ним был выработан метод, который заключался в следующем... Были использованы два основных свойства белка и белковых продуктов. Первое: продукты белкового распада... обладают свойством усиливать действие лекарственного вещества. Второе: лизаты поднимают чувствительность организма... В-третьих, были использованы особенности организма Менжинского — комбинация... астмы с грудной жабой...

— Назовите формулу, при помощи которой вы погубили Менжинского...

Казаков поднял голову и посмотрел в глаза гособвинителю.

— Я использовал лизат щитовидной железы... он необходим при астме, но противопоказан при грудной жабе.

— И вы его применяли?

— Да, применял...

— Что еще?

— Лизат гипофиза... противопоказан при грудной жабе.

— А лизат мозгового надпочечника, который вы использовали, тоже противопоказан при болезнях, которыми страдал Менжинский?

— Да, противопоказан.

— В каких же целях вы вводили своему пациенту эти лизаты?

— В преступных целях.

— В целях убийства?

— Да...

МОСКВА, НАШИ ДНИ

Я отложил книгу в сторону. Мне требовалось какое-то время, чтобы осознать прочитанное. Теперь стало понятно, почему лизатотерапия была предана забвению. Обвинение скомпрометировало метод профессора Заблудовского. После того как Вышинский на всю страну

объявил, что с помощью лизатов убивали людей, ни один советский врач не мог использовать их для лечения пациентов, тем более высокопоставленных. Оставался, правда, важный вопрос: лизатотерапия пострадала безвинно или всё-таки нет? Менжинского действительно убили? Или это придумали в НКВД?

Я всегда рассуждал так. Все обвинения, включая медицинские убийства,— выдумка НКВД, Менжинский и другие умерли своей смертью, а подсудимые оговорили себя. Собственно, я и теперь продолжал так думать... И тогда рождалась красивая концепция будущей статьи. Лизатотерапия была «невидимым подсудимым» на третьем московском процессе. Открытие, которое помогло бы людям справиться с болезнями, продлить жизнь и даже вернуть молодость, стало одной из жертв террора. Тоталитарный режим искривил линию развития, лишив нас выдающегося достижения научной мысли...

И всё же я чувствовал, что червь сомнения поселился внутри меня. А что, если Левин и Казаков говорили правду? Что, если с помощью лизатов действительно можно было убить человека? И знал ли об этом Павел Алексеевич Заблудовский? И почему лизатами интересовался Любомирский? И не только он, а еще и человек по имени Стивен Лейн... Как во всем этом разобраться?

МОСКВА, ЛЕТО 1933 ГОДА

Вечером 15 августа 1933 года Павел Алексеевич, Серафима Георгиевна, Ариадна и Борис Кончак сидели в столовой на Новинском и играли в кункен. Партия была «длинной» — до тысячи одного очка, а не до пятисот одного, как обычно. Игра продолжалась уже без малого час, но никто из участников этим нисколько не тяготился. Говорили обо всем, но так как трое из игроков были учеными, беседа неизменно возвращалась к работе. После окончания очередного тура был объявлен короткий перерыв.

В коридоре зазвонил телефон. Серафима Георгиевна встала и вышла из комнаты, чтобы ответить.

— Борис, это вас! — крикнула она через секунду.

Кончак вышел в коридор и взял трубку.

— У аппарата!

— Это Петухов,— слышался в трубке хрипловатый голос.— Приезжайте в лабораторию.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

— А в чем, собственно, дело?

— Приехал Майоранский, и с ним люди из наркомата. Хотят видеть опыт.

Майоранский был начальником токсикологической лаборатории, его приезд, да еще в такое позднее время, был событием экстраординарным.

— Хорошо, выезжаю.

— И поторопитесь. Возьмите таксомотор.

Кончак положил трубку на рычаг и шагнул в ярко освещенную столовую.

— Павел Алексеевич, Серафима Георгиевна, прошу меня извинить, но я вынужден вас покинуть...

— Что такое? — удивленно взглянул на него Заблудовский.

— Срочное дело.

— Так поздно?

— Увы!

— Ой, как жалко, что вы уезжаете! — сказала Ариадна. — Мы же не доиграли...

— Прошу записать точный счет, — сказал Кончак. — Мы обязательно завершим партию...

Ариадна выскользнула вслед за Борисом в прихожую.

— Ты вернешься?

— Не знаю, милая, — ответил он. — Если смогу, обязательно вернусь...

— Я сделала для тебя ключ от квартиры, — шепнула Ариадна. — На следующей неделе папа и мама уедут в Казань повидать тетю Аню, а оттуда на пароходе в Самару — к маминым родственникам. Мы сможем видеться каждый день...

Девушка вложила в ладонь Борису новенький ключик с острыми колючими гранями.

— Я люблю тебя, — сказал он.

Примерно через сорок минут Борис был на Мещанской. В окнах лаборатории горел свет, чуть поодаль, на улице были припаркованы два черных легковых автомобиля. Войдя в помещение, Кончак нос к носу столкнулся с Петуховым, нагловатым молодым человеком в форме офицера ОППУ. Положение, которое Петухов занимал в лаборатории, Кончак определял для себя как «комиссар-надсмотрщик». В отличие

от начальника токсикологической лаборатории Майоранского, который был медиком, Петухов специального образования не имел. В его задачу, насколько мог судить Борис, входило наблюдение за всем, что происходило в лаборатории.

— Кончак, где вас носит? — спросил Петухов, вплотную подойдя к Борису.

— Я был на Новинском, — буркнул Кончак, отстраняясь. — Не ближний свет...

— Ладно. Слушайте меня внимательно. Сейчас вам надо будет продемонстрировать возможности этого вашего препарата... Опыт будет проводиться в особых условиях.

— Каких особых условиях?

— Идемте, — сказал Петухов, увлекая Бориса за собой дальше по коридору. — В ваших интересах, Кончак, чтобы всё прошло гладко.

«Да это я и без тебя понимаю», — подумал Борис.

Они вошли в комнату, где обычно производились опыты на собаках и других животных, и Кончак застыл на месте как вкопанный. Посреди комнаты на столе лежал мужчина, одетый в старую больничную пижаму. Руки и ноги его были привязаны ремнями к столу. На вид мужчине было лет сорок, но, присмотревшись, Кончак понял, что на самом деле он был моложе, но сильно изможден. Когда Борис и Петухов вошли в комнату, человек на столе повернул голову и молча посмотрел на них. В глазах его читались тоска и ужас.

— Это кто такой? — тихо спросил Борис, не отводя взгляда от человека на столе.

— Ваш клиент, — прошипел ему в ухо Петухов.

— Вы что, хотите сказать, что опыт будет проводиться на живом человеке?

— Именно так.

— Но ведь он же... умрет.

Внутри у Кончака все похолодело.

— Скорее всего, — ответил Петухов.

— Но ведь это незаконно!

— Послушайте, Кончак, бросайте эти ваши буржуазные штучки! Законно — незаконно... Вам за это ничего не будет!

— Но кто он?

— Он? Враг народа, приговоренный за свою контрреволюционную деятельность советским судом к высшей мере наказания. Его...

Петухов быстро взглянул на часы.

— ...Его должны были расстрелять почти сутки назад. Так что формально он уже мертв. Пусть напоследок послужит делу пролетарской диктатуры.

— Нет, я не могу...

— Прекратите, Кончак! — прошипел Петухов. — Вы меня что, не понимаете? Я же говорю: в ваших интересах... Знаете, меня тут некоторые товарищи в управлении спрашивали: а наш ли этот Кончак? А я им говорил: наш! Наш в доску! Ценный кадр! Так что давайте без фокусов и этих... интеллигентских всхлипов.

Кончак молчал.

— Я зову наших гостей, — прошептал Петухов и быстро вышел из комнаты.

Кончак медленно повернулся и направился к вешалке. Надел халат и застегнул его на все пуговицы.

Тут дверь в комнату открылась, и вошли трое — начальник токсикологической лаборатории Георгий Майоранский в штатском костюме и двое в форме. Их Кончак не знал. За гостями следовал Петухов. От его развязности не осталось и следа, он был воплощенная почтительность.

— Товарищи! — обратился он к вновь прибывшим. — Это — наш главный специалист по вопросам особых органолептических препаратов — товарищ Кончак. Он, значит, нам сейчас продемонстрирует...

Кончак подошел к стоявшему у стены шкафу со стеклянной дверцей и достал оттуда шприц, флакон с препаратом, спирт и вату. На деревянных ногах подошел к столу и снова взглянул на обреченного мужчину. Больше всего на свете Борис боялся, что тот начнет кричать. Но мужчина молчал и только неотрывно смотрел на Кончака.

— Как вас зовут? — вдруг спросил Борис.

— Иван Арнольдович, — тихо ответил человек на столе.

— Не волнуйтесь, Иван Арнольдович, — сказал Кончак. — Я сделаю вам укол, это не больно.

Мужчина не ответил. Кончак закатал рукав его пижамы и протер предплечье ваткой, смоченной в спирте. «Хотя зачем? — подумал он. — Этот человек всё равно сейчас умрет...» Укол он сделал быстро и легко.

Начальник лаборатории Майоранский сделал шаг вперед и негромко спросил Кончака:

— Сколько ему осталось?
«Зачем он при нем?» — внутренне сжался Кончак.
— Двадцать минут, не более.

Окончание — в следующем номере

ОБ АВТОРЕ

Михаил (Майк) Логинов родился в 1963 году в Москве. Изучал экономику в Московском финансовом институте (ныне — Финансовый университет). Работал бухгалтером.

С 1989 года — журналист и редактор. Начинал в «Литературной газете», работал в газетах «Коммерсант», «Сегодня», журнале «Итоги». В 2009–2014 годах был главным редактором общественно-политического еженедельника «Профиль». В 2015–2020 годах редактировал «Строительную газету».

Писать прозу начал в середине 2010-х годов. В 2018-м опубликовал на платформе Ridero (за свой счёт) сборник рассказов «Десять писем к подругам».

Недавно в издательстве ЭКСМО (Москва) вышел дебютный роман писателя «Эликсир для избранных».

Майк Логинов — внук известной советской поэтессы Вероники Тушиновой. Вдовец. Имеет двух взрослых дочерей.

Живёт в Москве.

Елена ДУБРОВИНА
ДВА РАССКАЗА

МУЗА

Никогда раньше я не мог себе представить, что мое желание любить и быть любимым перерастет однажды в полное нежелание испытать эти чувства заново. Одиночество стало для меня убежищем, а искусство помогло уйти от той невыносимой боли, когда на крик моей души не откликнулись даже те, в ком я тогда так нуждался. Я художник, искусство всегда было моей страстью, любовь — вдохновением, правда — моим кредо. Но жизнь проходит слишком быстро, унося с собой обрывки последних воспоминаний. Листая дни моего календаря, я вскоре понял, что и они, эти тяжелые воспоминания, стали постепенно покидать меня. Я делал все возможное, чтобы забыть прошлое.

Теперь у меня была одна единственная цель — найти внутреннее равновесие, эмоциональный покой, успокоить брожение чувств и вернуться к творчеству. Я начал размышлять о причинах своего внутреннего состояния, анализировать ошибки. Несмотря на все мои невзгоды, я всегда стремился к интеллектуальному совершенству разума и души. Я пытался соединить свои мысли и сознание в один сплав, дать выход творческому вдохновению. И снова, как никогда, начал я страстно желать найти потерянное вдохновение, найти ту идеальную любовь, которая могла бы вернуть меня к творчеству. Я почувствовал, что я готов начать жизнь с нуля.

Таинственный огонь загорелся в моей душе, как иллюзорное желание снова любить и быть любимым. И хотя структура моих эмоций была мучительной и болезненной, она оставалась кристально светлой, непорочной, как первые лучи восходящего солнца, как прикосновение к усталой земле его теплых лучей. Теперь я жил только

одним желанием — освободиться от душевного мрака и терзания. Я боялся потерять ту надежду, которая, возможно, еще ожидала меня где-то за невидимым горизонтом.

Но, увы, наперекор своим желаниям, я заметил, что я продолжал жить в атмосфере порочных желаний, томиться надеждой на какой-то острый конфликт, драму, которые выведут меня из этого страшного состояния застоя. Я мечтал о встрече с той идеальной женщиной, которая смогла бы снова разжечь во мне давно забытые чувства, заставила бы меня страдать и показала бы мне мир за рамами моих незаконченных картин. Ведь именно в страдании я находил желание творить, дабы уйти от той боли, которая мучила меня все эти годы. Я искал такую женщину, которая отдала бы мне свою любовь, ничего не требуя взамен. Я пытался доказать сам себе, что я освободился от своего прошлого и был готов к новой жизни, и «она» должна была быть моей освободительницей, той женщиной, которая могла бы вдохновить меня на внутреннее путешествие из прошлого в будущее, в глубину настоящего искусства и творческого вдохновения. Моя неуспокоенная душа была в поисках моей таинственной музыки.

Те события, которые я собираюсь здесь описать, навсегда изменили мою жизнь и остались в памяти до конца моих дней.

В свои 42 года я все еще был бедствующим художником, одиноким волком, жившим рядом со своим единственным другом — одиночеством. Я жил в полной изоляции, наверное, только для того, чтобы оправдать свою ненужность и никчемность, нежелание и боязнь встретиться лицом к лицу с реальным миром, открыть те двери во внешний мир, которые были для меня все еще закрыты.

Абсурдизм моей философии заключался в брожении моего ума, неуспокоенности души, неумении охватить мир как одно неразделимое целое, в желании посвятить жизнь только одному искусству. Если бы я мог понять в то время необходимость увидеть и ощутить вселенную как одно целое не только внутри себя, но и дальше моего самозаточения, а также понять необходимость поиска абсолютной для меня одного истины и счастья за пределами своей души, выйти из того замкнутого пространства, в которое я сам себя поставил, я бы уже давно сломал рамки своего заточения и своего одиночества.

Однако все изменилось, когда я стал вдруг понимать, что исчерпал свои внутренние творческие силы и должен открыть дверь во вселен-

ную, выйти за рамки удобного для меня существования. Я стал вообразить себя выдающимся портретистом, и этот образ преследовал меня ночью во сне, а днем не давал покоя ни моим мыслям, ни моей душе. Мне нужна была натурщица, модель, лицо и тело которой я мог бы изучать и, наконец, воплотить на полотне. Я представил себе портрет женщины, поражающей сердца, завораживающей внутренней глубиной, чистотой души и роскошью обнаженного тела.

В мою студию приходило много женщин, но все они оставляли меня равнодушным, пока однажды холодным серым утром она не появилась на пороге, прочитав мое объявление в местной газете. В ее легкой и изящной походке, утонченных чертах лица, в каждом ее движении сквозила скрытая страстная натура. Мое сердце учащенно забилося, когда я увидел невинность и красоту в лепке ее продолговатого лица, смятение в ее широко открытых глазах, скромность в ее осторожных движениях. Я стоял совершенно ошеломленный в дверях студии, не в силах начать разговор.

— Наверное, это было слишком поспешное решение с моей стороны придти к вам в студию, но мне нужны деньги, мне очень нужны деньги, — сказала она тихим, мелодичным голосом, кинув на меня только беглый взгляд и направляясь к выходу.

Она казалась очень хрупкой, невероятно стеснительной и, тем не менее, я заметил, — достаточно решительной. Я был совершенно сбит с толку. У меня просто закружилась голова от ее присутствия в моей студии. Я не мог отвести от нее глаз. От нее шел свет, обволакивающее тепло, и я не мог произнести ни слова, пока, наконец, не заметил неловкость этой ситуации и ее попытку уйти. И тут меня охватил страх ее потерять, потерять вдруг нахлынувший творческий порыв и пробуждающееся желание ею владеть.

Я сбежал за ней по лестнице, взял за руку и почти прокричал:

— Пожалуйста, останьтесь. Вы именно та женщина, которая мне нужна!

Интуитивно я приблизился к ней, смотря прямо в ее широко открытые и удивленные глаза. Я почувствовал тонкий запах ее духов, и у меня появилось страстное желание сжать ее хрупкое тело в своих объятиях. Однако едва уловимый страх ее потерять привел меня в чувство. Она опять поднялась по лестнице и остановилась у порога, упорно посмотрела мне в глаза, смущенная, не зная, что ей делать дальше.

— Я умоляю вас остаться, — повторил я возбужденно, все еще страшаясь, что она сейчас повернется и уйдет, и я потеряю ее навсегда.

Ее появление в моей студии вызвало в моем сердце бурю давно забытых эмоций, и я знал, что просто умру, если она сейчас уйдет. Некоторое время она стояла молча, пока, наконец, едва заметная улыбка не коснулась уголков ее губ. Не произнеся ни одного слова, она прошла к дивану и в горячечной спешке стала раздеваться, как будто бы поток каких-то неясных чувств захлестнул все ее существо. Страстное желание ею обладать перешло в прежний страх ее потерять. Она как бы почувствовала, что происходило в моей душе, почувствовала мой звериный инстинкт и стала раздеваться медленнее, методичнее, не проявив при этом никаких чувств, как если бы меня не было рядом. Меня поразили ее доверительность, ее вера в меня, и мне вдруг стало стыдно за свое поведение, за свои мысли и желания, и я покраснел как школьник, которого учитель поймал на обмане.

Теперь она стояла передо мной обнаженная — гладкая кожа светила, прелестная улыбка застыла на губах. Я опрометью кинулся к полотну, чтобы не упустить момента и передать в красках ее красоту, нежность кожи, глубокие светло-карие глаза, легкую улыбку Джоконды, и в то же время — ее женственность, сексуальность и тайну ее закрытой для меня души.

Прошло какое-то время, и, наконец, почувствовав страшную усталость, я положил кисти и подошел к окну. Раздвинув тяжелые шторы, отгораживающие меня от внешнего мира, я был поражен необъяснимой красотой заходящего солнца. Солнце напоминало раненого зверя, кровь которого окрасила поверхность неба. Лучи этого пылающего солнца просачивались сквозь уходящие облака. Я еще никогда не видел такого яркого заката, и странное предчувствие охватило все мое существо. Что же на самом деле случилось со мной сегодня? Сердце мое словно остановилось от красоты открывшейся передо мной картины. Мне пришла мысль о зыбкости нашей жизни, о таком же заходе солнца, который когда-нибудь случится с каждым из нас последней, одинокой ночью. Медленно, словно привидение, стал я ходить из угла в угол студии, размышляя, стараясь уйти от монотонной мелодии теперь уже черного неба и облаков, тяжело нависших над миром. Душа моя в этот момент стремилась к передаче моего состояния с помощью творчества. И руки мои отвечали требованиям моей души. Я знал, что единственный путь успокоить чувства, — это

вернуться к холсту и снова окунуться в другой мир, передать невинность и красоту той женщины, которая так открыто доверила мне душу и тело.

Я поспешно взял кисть, и, не взглянув на нее, начал смешивать краски. Когда я, наконец, на нее посмотрел, то к своему удивлению увидел, что она сидела все так же на краю дивана, руки скрещены на коленях. Она казалась подавленной, упавшей духом. Незнакомка беспомощно уставилась на меня, и странная улыбка играла на губах, как будто бы смотрела она мне прямо в глаза сквозь невидимую стену, разделяющую нас в этот миг. И я понял, что должен разрушить эту стену, что этот портрет будет рожден в агонии моего творческого вдохновения, окрашенный моими переживаниями, глубокой болью прошлого, почти что на грани безумства. Чем больше я наблюдал свою натурщицу, тем больше видел ту печаль, которая отражалась в глазах этой загадочной женщины.

Может быть, я просто терял разум, или это было мое большое воображение, но я неожиданно почувствовал вместо обычной подавленности какой-то внутренний подъем, как бы кристаллизацию души и прояснение разума. Мои воображение и разум воспламенились, руки горели нестерпимым желанием творить. Я почувствовал огромное удовлетворение от своей работы, которая полностью захватила меня. Я забыл о ней, о моем странном предчувствии, о прошлом. Наконец-то, я нашел настоящее удовлетворение и то душевное волнение, которое я так долго искал.

Вскоре ночные краски полностью поглотили комнату. У меня стала кружиться голова, и я почувствовал невероятную усталость. Я включил свет и на какую-то секунду ослеп от неожиданной яркости. Моя студия, в форме овала, была завалена неоконченными работами, на столе стояла бутылка недопитого бренди, на единственном стуле лежал мой халат, синий в белую крапинку, темные шторы были раздвинуты. И в конце комнаты, на краю дивана сидела, неподвижно застыв, незнакомая женщина, усталая и незащищенная, дрожа от ночного холода. Я поспешил принести ей теплый, шерстяной плед. Я набросил его ей на плечи, поправляя, чтобы укрыть все ее тело, но прикосновение к нему вернуло меня к тем прошлым ощущениям, которые я испытал, впервые ее увидев. Страстное желание проникнуть не только в ее душу, но и ее тело, было таким нелепо жестоким, таким ярким и таким устрашающим, что я почувствовал необъясни-

мое волнение от ее присутствия, оттого, что она была так близко ко мне, здесь, в моей студии. Но боязнь разрушить тайну этого чувства, потерять эту иллюзорную женщину, была сильнее моего желания ею обладать. Я видел, как мой страх отразился в ее глазах, когда она сбросила на пол одеяло.

При лунном свете, пробивавшемся сквозь просветы в шторах, я увидел ее лицо. Оно не выражало ни страсти, ни желания. Но в тот момент мне было все равно, кто она и что она чувствует — эта незнакомка, пришедшая ко мне из другого, неведомого мне мира. Я обхватил руками ее тело и коснулся губами ее холодных губ. Мое горячее дыхание обжигало ее, и мы оба отдались нахлынувшему на нас потоку чувств. Я был глубоко взволнован, опустошен до предела и счастлив. Она лежала рядом со мной, в моих объятьях, и мы оба медленно погружались в сон.

С тех пор она стала приходить ко мне в студию каждый день, в одно и то же время. Молча раздеваясь, она садилась в той же позе на край дивана, а я лихорадочно и одержимо, с жадностью впившись в ее тело, старался передать всю его прелесть, запечатлеть свет, исходящий от него, и страдания души, которые отражались в ее широко открытых глазах. Мы едва разговаривали, охваченные страстью — это была почти животная страсть двух одиноких людей, затерянных в огромном мироздании, где забытые и страдающие души стремились к совершенству, сливаясь в одном любовном порыве.

Прошли почти две недели ее визитов в мою студию. Я заканчивал ее портрет, нанося последние штрихи. Однако, к моему страшному разочарованию, все мои невероятные усилия довести ее образ до совершенства, не увенчались успехом. Я глубоко страдал от неумения передать внутренний мир этой странной женщины, которую, казалось, я так любил. И хотя ее тело на портрете было прекрасным, глаза ее выражали глубокую скуку. Мои руки видели то, что не видели мои глаза.

Если бы только я подумал тогда о том, как мало я знал ее, я бы приложил больше усилий узнать ее жизнь, заглянуть в душу, в закрытый для меня мир. Но, как ни странно, это был мой эгоизм, упование собой, своими собственными страданиями, невнимание к ее человеческим качествам, все то, что не позволило мне почувствовать или разгадать ее истинные чувства ко мне. К сожалению, моя навязчивая идея закончить ее портрет преобладала над желанием познать

живую, настоящую женщину, которой я обладал почти каждый день. Я находился опять на грани безумия. Я не мог спать, ясно размышлять — я только видел перед собой лицо прекрасной женщины с холодным, безразличным взглядом. Я был одержим работой, чувствами к ней, ее очарованием, которые околдовали мои тело и разум. Я искал душевного очищения, но оказался в капкане двух страстей — женщины на портрете и реальной, живой женщины, которую я так и не узнал.

Это было такое странное чувство, как будто бы весь мир вдруг раскололся, раздираемый одной невозможной, навязчивой, эгоистичной, и в то же время прекрасной любовью к двум женщинам, одной на портрете — другой живой. В одно мгновение мир вокруг меня снова погас, и все линии пересеклись в одной единственной точке. И этой точкой была моя любовь к неизвестной мне женщине, к моей вдохновительнице, к моей музе. Почему не могу я передать на портрете все эти сильные, обуреваемые мною чувства, заставить портрет говорить, рассказать историю женщины, на нем изображенной? Я не мог себе этого до конца объяснить.

В один обещанный день она не пришла. Я ждал ее до позднего вечера, не зажигая света. Я стоял у окна, уставившись в пустое пространство на границе сумерек и ночи, наблюдая, как сливались они в один неразрывный союз. Может быть, любовь рождает мрак? — думал я, охваченный каким-то странным предчувствием, мечтая о тепле ее тела, мелодичности ее мягкого голоса. Мое ожидание стало нестерпимым — я терялся в догадках. Я был влюблен в ее красоту, ту тайну, которую она так тщательно от меня скрывала. Я пытался откинуть завесу ее очарования, за которой я не мог увидеть реальную женщину, натурщицу со своими жизненными невзгодами, расчетливо борющуюся за выживание в этом огромном, бездушном и холодном мире.

Я вернулся к портрету, и с помощью какой-то непонятной интуиции, окрашенной новыми страданиями, на портрете начала вырисовываться другая женщина, теперь уже живая. Следуя своему импульсу, хаотичными мазками я перерисовывал ее глаза, рот, руки. И портрет ожил, заговорил со мной на другом, понятном мне языке, который я только сейчас начал познавать. Интуитивно я рисовал портрет женщины, красота которой была жестока, глаза скрывали неподдельную страсть, и холодная улыбка слегка тронула уголки губ.

Эта женщина была рождена из мрака, на границе сумерек и ночи. Она не была больше для меня той загадочной незнакомкой, какой я себе ее представлял. Теперь она была реальной, осязаемой — холодной, бессердечной, жестокой и расчетливой. Ее притворная невинность исчезла, и возникла та, другая, которую я не мог разгадать и увидеть за слоем своих воображаемых эмоций. Это ощущение показалось мне таким странным несоответствием между моим реальным и нереальным видением мира. Она была всего лишь плодом моего голодного воображения, примитивного восполнения моих темных желаний. Я был ослеплен ее безупречной красотой и не мог увидеть то, что скрывалось за пеленой моего собственного воображения.

Только намного позже стал я понимать, что она подарила мне тот магический момент творчества, который я ждал так много лет, спасла меня от моей собственной изоляции, помогла мне забыть прошлое. Она так никогда и не вернулась ко мне, и я никогда больше ее не видел, несмотря на все мои бесконечные усилия ее найти. В конце концов, опыт дал рождение мудрости. После многих дней страдания и размышлений, я, наконец, сумел подавить в себе чувства к ней и вернуться к творчеству.

Моя страсть переросла в творческую энергию, и, слившись с интуитивным интеллектом и стремлением к совершенству, подняла меня на новый, более высокий уровень творчества. У меня открывалась одна выставка за другой, где портрет моей незнакомки, моей музыки, имел неизменный, грандиозный успех — он принес мне деньги и славу. Моя мечта осуществилась, и я стал известным художником. С тех пор у меня было много женщин, но ту таинственную, ночную женщину, мою единственную музу, которая так безропотно отдала мне свое тело, но не впустила меня в свою душу, я так и не смог забыть.

УМИРАЮЩАЯ СЛАВА

Было около восьми часов вечера, когда профессор Теодор Минский вернулся домой с работы. Не обращая внимания на жену, которая ждала его к обеду, он поспешно бросил в прихожей на стул пальто и шапку и тотчас отправился в музыкальную комнату, его любимое

место в доме, где он хранил свою коллекцию фламандских и голландских живописцев. Особенно выделялся на стене портрет английского короля Карла работы фламандского художника Антония Ван Дейка. Рядом висели небольшие рисунки художников 17 века.

Овальная комната с высоким, лепным потолком была оклеена светло-серыми, рельефными обоями, а из большого, на всю стену окна проникал лунный свет, бросая тонкие блики на картины в тяжелых, золотых рамах, хаотично развешанных вдоль стен. Музыкальная комната примыкала к небольшому кабинету с окном, выходящим в японский сад. Напротив окна висела старинная коллекция рапир, украшенных белой и розовой эмалью, некоторые были инкрустированы осколками бриллиантов в золотом оформлении. Он не мог объяснить, чем его так привлекало это старинное оружие. Возможно, что оно олицетворяло его вечное желание полной власти над всем, к чему он прикасался. Такую славу он мог достичь только таким оружием, которое он мог заострить и довести до блеска, до совершенства.

В углу комнаты горел камин, у которого, удобно примостившись, дремала старая собака — его верный и единственный друг. Искры из камина переливались в бриллиантовых осколках рапир разными причудливыми цветами. Теодор Минский сел к роялю и задумался. Сегодня он не мог переносить одиночества в этом красивом и холодном доме. Ему всегда нравилось быть среди людей, чувствовать свою власть над ними.

Профессор Минский был человеком практичным и никогда не тратил свое время зря. Только иногда он разрешал себе мечтать о несбывшемся — о карьере оперного певца или большого писателя. Как часто представлял он себе, что книга его мемуаров будет иметь грандиозный успех, а он, переворачивая ее страницы, будет снова рассматривать старые фотографии — его жизнь в науке, его долгое путешествие по тернистой дороге из маленького, провинциального русского городка к президенту большой биотехнологической компании в Америке. Он еще точно не знал, о чем бы он писал в этой книге своей жизни, — возможно, о борьбе за выживание в научном мире, о своих научных открытиях, научной правде и чести ученого. Книга могла бы послужить сценарием для пьесы, в которой молодой и честолюбивый ученый выживает своего любимого учителя, и занимает его место.

Сегодня он как-то особенно чувствовал себя совершенно разбитым после долгого рабочего дня. Эксперименты с новой вакциной давали

отрицательные результаты. В группе ученых начался разлад — кто-то пытался фальсифицировать данные. Он догадывался, кто мог это сделать, но разбираться не хотелось. Он слишком устал от всех этих научных интриг и постоянных разборок. Нужны были результаты, а их не было. Последнее время тяжелые мысли о смерти часто посещали его. Было почему-то грустно. Холодный, мелкий осенний дождь тревожно стучал в окно. Ветер раскачивал тонкую ветку старого дерева, которая, как извивающаяся змея, то появлялась в квадрате окна, то снова исчезала, словно манила его в неизвестность, прочь из этого мрачного дома.

Из столовой доносились голоса прислуги и крики жены. Все было привычно, как каждый день его жизни, но сегодня он вдруг отчетливо почувствовал, что устал и от жены, и от этого размеренного быта, и от самой, когда-то такой любимой работы. Сколько раз он давал себе слово бросить все и уехать куда-нибудь далеко, от этой суматошной и насыщенной жизни, туда, где тишина и покой, где он мог бы полностью предаться своим мечтам.

Профессор Минский внимательно обвел глазами комнату. Да, когда-то он так гордился своим домом, этой красивой комнатой, куда он мог уйти после тяжелого рабочего дня от всех дневных неприятностей, закрыться наедине со своими мыслями, погрузиться в любимый им мир музыки, литературы, искусства.

Именно сейчас, как никогда, поддавшись сентиментальным настроениям, ему хотелось играть Брамса. Это был его любимый композитор, который всегда помогал ему найти баланс после трудного рабочего дня. Музыка заполнила комнату восторженными, романтическими звуками. Даже черты лица уродца, изображенного на картине, висевшей напротив рояля, казалось, смягчили свое дьявольское выражение, тронутые красотой музыки Брамса.

Это была картина под названием «Смерть скряги» голландского живописца Иеронима Босха, мастера чудовищного, первооткрывателя подсознательного, эксцентричного художника с большим воображением, любимого художника профессора. Босх был художник-символист с необычным виденьем мира, странным и диким воображением, где преобладала победа греха и смерти. Профессор купил эту картину на аукционе в Лейпциге, в Германии. В сопроводительном каталоге к ней он прочитал, что «Смерть скряги» была написана

художником как предостережение каждому, кто хватался за все жизненные удовольствия без всякого разбора и не был готов к последствиям такой жизни — к смерти. Кого такая картина могла оставить равнодушным? Профессор постоянно ее рассматривал и всем сердцем чувствовал ее магическое действие.

На этом большом полотне Босх разыграл неприятную сцену. Обнаженный, умирающий человек, когда-то обладавший силой и богатством, борется за свою жизнь. Он появляется на картине дважды. Второй раз он одет в дорогие одежды, на шее золотые украшения, которые он копил всю свою жизнь. За спиной и над кроватью умирающего притаились демоны. За дверью прячется смерть, завернутая в белое одеяние. Она пришла за ним... Что случилось в конце со скрягой, зрителю неизвестно. Наверное, ему пришлось оставить сопротивление и принять смерть как неизбежное.

Часто любуясь этим шедевром, профессор раздумывал о своей собственной смерти, которой он так панически боялся. Он видел ее в виде демона, с которым он будет сражаться до последнего дыхания. Однако он не знал, сколько времени осталось ему жить, и поэтому старался взять от жизни как можно больше. Его самым заветным желанием было построить себе пожизненный монумент, оставить после своей смерти след в науке. Его путь в стихии времени не должен был быть напрасным.

Профессор Минский был одним из величайших американских ученых, «столп науки», как его называли его коллеги. Он же чувствовал, что наградой за его труды будет та лепта, которую он внес в эту науку, и которая будет вписана в страницу истории золотыми буквами. Так же, как и Наполеон Бонапарт, он обладал удивительной памятью и страстной жадой жизни, и славы. В начале своей карьеры, когда он был еще молодым, профессор Минский мечтал завоевать науку, найти ключ к лечению многих неизлечимых заболеваний. Время летело быстро, быстрее, чем он даже мог себе представить. Неосуществленные мечты его больше не тревожили. Он взглянул на себя в зеркало, и боль заволокла ему глаза — он так заметно состарился за последние десять лет.

Профессор вздохнул, отогнал от себя навязчивые мысли и направился наверх, в спальню. Жена была уже в постели — она читала свою любимую книгу — «Сто лет одиночества», не обращая на мужа ни малейшего внимания, чтобы избежать обычного, неприятного разгово-

ра. Она любила его всю свою жизнь — глубоко и преданно, но счастлива никогда не была с человеком, который управлял ее жизнью, контролировал каждый ее шаг и никогда не был ей предан. Она всегда была только его тенью. Он, не произнося ни одного слова и не взглянув на жену, взял с тумбочки свои очки и книгу Артура Рембо, и направился в кабинет, что-то напевая себе под нос.

Его преданная собака свернулась калачиком в углу возле камина и спокойно отдыхала, наслаждаясь теплом и потрескиванием сухих дров. Профессор удобно устроился в своем любимом кресле, протянул ноги ближе к огню и устался на танцующие в камине поленья. Он устал и чувствовал, как тяжело давят годы на его сторбленные плечи. Откинувшись на спинку кресла, он на секунду закрыл глаза, постепенно погружаясь в сон. Профессор Минский возвращался во сне в прошлое, в юность, переверачивая страницы своей жизни, где он видел себя опять молодым и красивым, окруженным родителями и многочисленными друзьями. Он смотрел на летающих над ним ангелов, поющих своими чистыми, тонкими голосами. Белые облака, похожие на танцующих в белых, свадебных платьях невест, медленно кружились над головой.

Но неожиданно, сквозь эти белые облака, проступило знакомое лицо с картины Босха, лицо, искаженное гримасой, с растрепанными, стоящими дыбом волосами на удлинённом скальпе, и вытаращенными, нагло смеющимися над ним глазами. Это была сама смерть, закутанная в белую длинную накидку, уставившаяся на него в упор и протянувшая к нему свои длинные, костлявые руки. Он слышал свой собственный испуганный голос, громко лающий, как собака. Когда он, наконец, открыл глаза, собака все еще спокойно спала, свернувшись калачиком у его ног, и огонь в камне едва теплился. Он подбросил дров в камин и взглянул на часы. Было уже далеко за полночь. Дом был погружен в ночную тишину. Настольная лампа с шелковым, выцветшим абажуром отбрасывала на ковер полосу желтого, мерцающего света. Он выключил лампу, и комната погрузилась во мрак, только тени от пламени в камине освещали его усталое лицо.

За окном все также шумел дождь, и раскачивалась за окном одинокая ветка, извиваясь от порывов ветра. Он подумал о приближающейся зиме, об еще одном прожитом отрезке времени. Что-то больно сдавило сердце, и стало трудно дышать. Профессор замер, боясь пошевелиться в ожидании нового приступа боли. Когда боль отступи-

ла, он со вздохом облегчения сбросил тяжелый плед и приподнялся с кресла. Но сердце снова неприятно заняло, и он с трудом сделал несколько шагов по комнате. Думал позвать жену, но, вспомнив ее недавнюю перебранку с прислугой, передумал.

И вновь погрузившись в свое удобное кресло, он медленно обвел комнату затуманенными глазами. Профессор Минский подумал о том, что был всегда окружен этими прекрасными вещами — старинной мебелью, дорогими картинами в золотых рамах, античными вазами, бронзовыми скульптурами, которые он с таким увлечением собирал всю свою жизнь, но чего-то не доставало ему и в этом доме, и в этой жизни. Он наклонил голову и устался на угасающие в камине поленья, медленно переходя из мира реального в мир воспоминаний и размышлений. Неожиданно ему показалось, что где-то скрипнула дверь. Он настороженно прислушался, но в доме все было тихо, только узкая полоска света просочилась сквозь щель в двери.

— Боже мой, — подумал профессор, — и здесь они не могут оставить меня в покое.

Тихо приоткрылась дверь, и в комнате, как белое привидение, появилась жена в длинной ночной рубашке.

— Это за мной пришла смерть, — странная мысль промелькнула в его голове, и он напряженно устался в темноту.

Наконец щелкнул верхний выключатель, и яркая полоса света поглотила мрак, выхватив из темноты его одинокую фигуру.

— Почему ты не идешь спать? — недовольно прошипела она, уставившись на мужа своими светлыми, острыми глазами.

Он невольно зажмурился от яркого света. Холодный пот мелким бисером выступил на лбу. Профессор подался вперед и съежился как ребенок, которого вдруг застали на месте преступления. Как в этот момент он ненавидел ее и жалел. Жалел за ту боль, которую он постоянно причинял ей своим невниманием, постоянными обманами, нелюбовью. Ненавидел за то, что она все видела, понимала, но не уходила и не упрекала. Он создал ей удобную жизнь, ни в чем ее не ограничивая, ни потакая, ни о чем не спрашивая. Он дал ей полную свободу, но взамен требовал того же. И вдруг, резко поднявшись с кресла, он впервые за свою жизнь закричал на жену громким, хриплым, почти истерическим голосом.

— Оставь меня, наконец, слышишь, оставь меня хоть на один вечер в покое. Я устал от тебя, от твоих слезок, подозрений. Даже в своем

собственном доме у меня нет свободы. Боже мой, боже мой, как же я тебя ненавижу.

Жена попятилась назад и, не выключая света, не проронив ни слова, вышла из комнаты. Профессор почувствовал, как против его воли поползла по щеке тяжелая слеза. Он еще больше сгорбился, как от удара, и осторожно ступая по мягкому ковру, подошел к выключателю, что-то невнятно бормоча себе под нос. И только снова погружившись в кресло, он почувствовал, что весь дрожит, не то от холода, не то от гнева. Глаза его опять затуманились от слез — такое с ним еще никогда не случалось.

Было грустно оттого, что жизнь подходила к концу, а он так и не сделал выдающегося открытия, которое могло бы выдвинуть его в число лучших ученых мира. Он написал много научных статей, книг, но этого было недостаточно. Хотелось большего, чего-то грандиозного, чтобы слава его стала настоящей, неумирающей. Но он как ученый уже давно исчерпал все свои идеи.

С каким блаженством вспоминал он свою молодость, свою громкую славу. У него был успех не только в науке, его любили женщины, много женщин, но все они уходили постепенно из его жизни, одних бросал он, другие оставляли его. Он никогда не оглядывался назад, никогда не сожалел. Он знал *«love does not last long»*. И только Рамона, его секретарша, оставалась ему самым близким и дорогим человеком. Она могла часами слушать его, не прерывая его речи. Ее большие, глубоко посаженные, синие глаза излучали свет. Она ходила почти воздушной походкой, и от всего ее тела, ее легких движений исходил аромат юности, женственности. Он мог без конца смотреть на нее, утопая в море ее глаз, в тепле ее слов, в нежности ее юного тела. Так он еще никогда не любил. Рамона ждала, когда он уйдет от жены, ждала нетерпеливо вот уже много лет. Теперь ей исполнилось тридцать, а ему семьдесят пять. Любовь и ненависть уживались мирно в его сердце. Любовь для него была равнозначна завоеванию, победе над женщиной, которую он желал. И если она уходила, ненависть сменяла любовь. Может быть, он никогда и не знал, что такое настоящая любовь, она была для него только страстью завоевателя. Страх быть отвергнутым означал для него потерю власти, медленное умирание чувств и желаний. Он редко мог просчитаться, даже если цель свою приходилось достигать с помощью манипуляций. У него был характер борца, и борьба придавала ему дополнительные силы,

энергию, навязчивую идею добиться своего любыми путями, принести к ногам целый мир. Каждое сопротивление было для него вызовом, сломать и завоевать то, что не поддавалось его силе. С Рамоной все было по-другому — он жил в постоянном страхе ее потерять, но уйти от жены, с которой он прожил почти полвека, так и не смог. Профессор сидел съежившись, ночной холод подбирался под плед. Нет, он не мог больше этого вынести. Если завтра же он не скажет жене, что уходит от нее, он навсегда потеряет Рамону. Он сжал руки в кулак, да так сильно, что хрустнули кости.

Профессор Минский еще раз с любопытством обвел глазами комнату, неожиданно осознавая, что именно тепла и любви не хватало ему в этом холодном доме, в его успешной и насыщенной жизни. Он почувствовал исходивший от стен холод. Холодный ветер, проникающий через щели старого дома, колот как ледяными иголками его дряблое тело. Он поежился и, закутав плечи в теплый плед, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Все ниже опускалась на грудь голова. Казалось, что он тихо задремал. И сквозь тяжелую дрему опять увидел он через уплывающие белые облака смеющееся лицо смерти с картины Босха. Был ли это какой-то знак самой судьбы? Мозг еще продолжал работать, но кулаки разжались, и руки теперь уже безучастно лежали на коленях.

Прошло много времени, но профессор Минский все также продолжал сидеть у камина — плечи сгорблены, голова упала на грудь. Неожиданно он открыл глаза и бессмысленно уставился на дрожащую за окном ветку. Ему мерещилось, что кто-то звал его по имени, долго, тихо, настойчиво. Он хотел ответить, спросить кто, но почему-то голоса своего он не слышал. И снова закрыв глаза, он погрузился в глубокую дремоту. Но даже во сне, медленно покидая реальность, напрасно искал он ответы на свои вопросы. Какая-то новая, таинственная сила возвращала его назад во времени, туда, где его молодой и свободный дух мечтал о великих свершениях, новых, высоких достижениях. Он уже не мог отделить прошлого от настоящего так же, как он не мог больше отличить сон от реальности. В этих галлюцинациях он видел длинную, каменистую дорогу, идущую вверх, в бесконечность. Маленькая, сгорбленная фигура человека медленно брела по этой дороге, стараясь достичь ее вершины. Это была та дорога, которая вела его к славе, успеху, но там, в конце ее, вместо ожидаемой победы, он видел дьявольское лицо смерти, уставившееся

на него с картины Босха в тяжелой, золотой раме. Это была темная, труднопроходимая дорога. Не было над ней ни чистого неба, ни яркого солнца, ни мерцающих звезд, только черная, круглая луна низко повисла над землей, и причудливые, незнакомые тени медленно двигались за ним в другой, неизвестный ему мир.

Авторизованный перевод с английского

ОБ АВТОРЕ

Елена Дубровина — поэт, прозаик, эссеист, переводчик, литературовед. Родилась в Ленинграде. Уехала из России в конце семидесятых годов. Живет в пригороде Филадельфии.

Является автором десяти книг на русском и английском языках.

Ее стихи, проза и литературные эссе печатаются в различных русскоязычных и англоязычных периодических изданиях. В течение десяти лет была в редакционной коллегии альманаха «Встречи». Являлась главным редактором американских журналов «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present». Входит в редколлегию «Нового Журнала».

В 2013 году Всемирным Союзом Писателей ей была присуждена национальная литературная премия им. В.Шекспира за высокое мастерство переводов, а сборник рассказов «Черная луна» был признан лучшей книгой года на международном литературном конкурсе в Германии в 2017 году.

Марк ПОЛЫХОВСКИЙ
ПЕРЕЧИТЫВАЯ БРОДСКОГО

ИНЫЕ ВРЕМЕНА

*Всё то, что я писал в те времена**

В краю озёр, лесов и сновидений,
Грибов и мне неведомых растений,
Друзей, подруг и красного вина,
Журналов, книг и прочих увлечений,
Когда от чувств и мыслей не до сна, —
Всё то, что написал в те времена,
Я уничтожил вмиг без огорчений
И никогда о том не сожалел,
Мой стих тогда был робок, неумел
И недостоин сосуществованья
С написанным в иные времена,
Когда вокруг — то Бог, то Сатана,
А в голове одни воспоминанья.

* Строка из стихотворения Иосифа Бродского «В озёрном краю» (1972).

ЯНТАРНЫЙ КРАЙ*

Полно в витринах бус из янтаря,
Куда ни глянь — янтарные витрины,
А вот в кафе не подадут угря,
Но подадут котлеты из свинины, —
Так было в середине мартабря,
Июль свои лишь справил именины.

Я грезил о Литве, и я в Литве,
Где раньше не был, — в Каунасе, в Ковно,
Я помню ров, я помню обо рве,
Где сгнули евреи поголовно, —
В Девятом форте. Знаки на траве,
Не ведают, не знают, кто виновны...

Кружит над фортом тучей вороньё,
А вот и туристический автобус,
Шумят-галдят бабьё и мужичьё,
Расходятся кто группами, кто порознь...
Скажи мне, Боже, есть ли в мире глобус,
Где не было понятия «враньё»?

Люблю янтарь, он цвета сентября,
И даже при балтийской непогоде
Он согревает, солнышком горя
На безымянном — или на комоде,
Горит себе неярко, втихаря,
Как лампочка в подземном переходе...

* Аллюзия на стихотворение Иосифа Бродского «В Паланге» (1967).

В УЕЗДНОМ ТИХОМ ГОРОДКЕ

*Здесь можно жить, забыв про календарь,**
не ведая числа и дня недели,
и, если вдруг все листья облетели,
предположить, что наступил сентябрь.

Когда-то в позапрошлых временах
приравнивал я осень лишь к ненастью,
и, каркая, вороны на столбах
предвидели грядущие несчастья:
порвавшийся на всём бегу шнурок,
взяла соседка за руку другого,
невыученный вовремя урок,
премерзкий флюс от зуба коренного.

Давно я эти беды перемог:
и волосы, и зубы поредели,
с соседкой напрочь кончен диалог
и сплю я лишь с женой в своей постели.
Зато в уездном скромном городке
мне всё, как прежде, дорого и мило:
лодчонка с рыбаками на реке,
некрашенные старые перила

и ветхое скрипучее крыльцо
у булочной в районе, где мы жили, —
бежал сюда, накинув пальтецо, —
с тех пор его пока не обновили.
Раскачивает ветром фонари,
всё та же осень, и всё те же лужи,
и те же на деревьях снегири
всё так же ожидают зимней стужи.

* Строка из стихотворения Иосифа Бродского «Осенний вечер в скромном городке...» (1972).

Я мог бы жить в уездном городке,
забыв про календарь и про газеты,
с утра на рынок бегать налегке,
носить себе домашние штиблеты,
в охотку есть селёдочку с лучком,
по осени — картошечку с грибами,
на завтрак — миску каши с молоком,
вставал бы на рассвете с петухами,—

я мог бы жить так, но не довелось,
и я о том, представьте, не печалюсь —
быть может, этим я и отличаюсь
от очень многих тех, кому пришлось...

СВЕРЧОК

*Различишь в тишине, как перо шуршит,**
и припомнишь, как в кухне сверчок сверчит,
а в квартире — тишь, на восьмом этаже
можно жить нам с милой вдвоём в шалаше,
я бы так вот и жил и пером шуршал,
и сверчок мне в тиши, как всегда, мешал.
На восьмом этаже в стольном граде П.
я на кухне сижусь — один, не в толпе,
впрочем, нет, я отнюдь никак не один,
мне напомнил сверчок, кто здесь господин, —
под шуршанье пера он громко сверчит,
кто из нас здесь кому наносит визит?
Проскрипи мне, сверчок, своё болеро, —
прошуршит за тобой стальное перо,
по бумаге проложит буквенный след,
и пойдёт отдыхать усталый поэт.

* Строка из стихотворения Иосифа Бродского «Надпись на книге» (1993).

НАД ОЗЕРОМ

*Так тихо, что не слышно слов,**
лишь плеск волны о дебаркадер,
полёт бесшумный облаков
над озером, далёкий катер
неслышим — так же, как слова,
произнесённые не нами,
гладь озера — как нежива,
не потревожена следами.

Неслышим звон хрустальных звёзд
над дебаркадером уснувшим,
клюют рябиновую гроздь
клевсты в ночной тиши — на суше,
а попросту — на берегу,
где спят берёзы и рябины.
По небу Млечную дугу
раскинули — не без причины,

и мы промчимся под дугой
из века нового — в минувший,
он в нашей памяти — другой,
воспоминаниям послушный.
О, как отрадно в тишине
сливаться с призрачным безмолвьем
с самим собой наедине —
не с сумрачным средневековьем.

* Строка из стихотворения Иосифа Бродского «Загадка ангелу» (1962).

ЕВРЕЙСКАЯ ПТИЦА ВОРОНА

*Еврейская птица ворона,**
картавя, с весны до весны
кричит с одинокой сосны:
«Одной лишь природе покорна,

я, вольная гордая птица,
картавлю когда где хочу,
а есть настроенье, — молчу
и сплю на сосне, — если спится,

а если не спится, — кричу,
пусть корчатся антисемиты,
партийные и замполиты, —
картавить всех птиц научу!

Пусть наше картавое «р-р-ры»
несётся от края до края, —
и звуки вороньего грая
усвоят тотчас школяры!»

И всё оправдалось сполна:
картавят и горн, и валторна,
еврейская птица ворона, —
а с нею вся наша страна.

* Начальная строка стихотворения Иосифа Бродского «Послесловие к басне» (1993).

О ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

Григорию Бескину

*Над лесом совершался ход планет,**
над долами и весями — подавно,
скользило время в ритме блюза — плавно,
и кто-то размышлял на сей предмет —

не я, конечно же, не я, давно
я прекратил витийствовать впустую,
хотя порой под рюмочку спиртную
болтаю — хоть и редко, но умно.

А что же мысли? Мысли в голове
пытаются на грани дилетантства
связать навечно время и пространство
в их кровном домотканом естестве.

Мой друг, знаток межзвёздных катаклизм,
о времени с пространством знает много,
он друг Эйнштейна и приятель Бога,
а мне из измов лишь астигматизм

присущ, зато я в память погружён
и в ней связую время и пространство,
она — мой дом, и в ней моё гражданство,
я памятью навек заморожён,

она меня бессленно теребит:
картины детства, юности, взросления
и избавления от самомнения,
как жизнью был наказан, даже бит,

* Строка из басни Иосифа Бродского «Мужик и Енот» (1970).

родители, родные и друзья,
восьмая школа, универ, подруги,
женитьба, неизбежные недуги
и навсегда со мной — моя семья...

Всё так же неизменен бег планет
над нами, и всё так же циферблаты
отсчитывают дни, сменяют даты,
не замечая, что иных уж нет...

КАРМАННЫЕ ЧАСЫ

*Показывают правильное время**
часы, что много лет носил отец,
а прежде дед, — швейцарские часы,
карманные, с серебряной цепочкой, —
показывают правильное время
всего два раза в сутки. Иногда
я завожу их, и они идут,
отмеривая редкие секунды,
слагая их в минуты и часы, —
пока не остановятся. И вновь
показывают правильное время
два раза в сутки. Этого вполне
хватает мне, чтоб жить, не забывая
отца и деда, жизнь свою сверявших
со временем по этим же часам...

* Строка из стихотворения Иосифа Бродского «Отрывок» (1967).

У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ

*Действительность — поклон календарю**
в стремлении умиловить даты.
Я думаю о том, что говорю.
Чем мы ещё по существу богаты?

То празднуем День мирного труда,
то юбилей забытого артиста,
то чествуем — бывает иногда —
упавшего со сцены пианиста.

Эпоха грузно двигается вспять,
и вот опять цари в большом почёте,
толпе баранов не на что пенять,
они слегка ошиблись при расчёте,

привыкли, что на первый и второй
их в армии по осени считают, —
ан нет, есть только первый, рот закрой
всяк прочий, кто того не понимает.

И вот толпа ждёт нового царя,
который будет править справедливо,
а тех, кто протестует втихаря,
спровадит быстро, как судью, на мыло.

Потом развяжет пару честных войн,
потом народ поставит на колени,
а если кто-то там поднимет вой,
он всем покажет, кто холоп, кто гений.

* Строка из стихотворения Иосифа Бродского «Оставив простодушного скупца...» (1964).

Действительность у прошлого в долгу,
пришла пора запрячь страну в оглобли,
а тем, кто против, вставить в нос серьгу,
на цепь — и в каторгу. Колпак соболий

Владимир-царь натялит на башку,
протрёт суконкой скипетр и державу
и, усладив по прошлому тоску,
страну согнёт он в рог — и на боку,
как в сказке, будет царствовать на славу.

НЕ ПО УЧЕБНИКУ

*Стремится в точку «Б», которой нет в помине,**
покинув точку «А» и странствуя поныне,
извечный пилигрим, бредёт и вязнет в глине

просёлочных дорог, минует горы, доли,
весною зелёны, зимою снежной — голы,
заборы и плетни, ограды, частоколы, —

стремится он попасть, он в точку «Б» стремится,
мелькают тут и там задумчивые лица
бредущих наугад, неймётся им, не спится...

Покинув точку «А», бредут они по свету,
им некуда спешить, дал Бог одну планету,
а на планете той — хоть ту страну, хоть эту,

что хочешь, выбирай — по вкусу, по названью,
по предкам, по друзьям, по устному преданью,
по глупости своей, по Божью наказанью...

* Строка из стихотворения Иосифа Бродского «Пятая годовщина» (1977).

Из пункта «А» в пункт «Б» уйти и не вернуться,
без планов наперёд, без дружеских напутствий,
отринув всё и вся, уйти — не оглянуться...

Из точки «А» в пункт «Б» найти свою дорогу
не так легко: один стремится стопы к острогу,
другого путь ведёт к далёкому порогу.

Порог переступить, поняв предназначенье,
не каждому дано — в смятенье и сомненье —
узнать, что точка «Б» лишь плод воображенья.

ОБ АВТОРЕ

Марк Польшовский — поэт, переводчик. Окончил физико-математический факультет Петрозаводского университета, затем — институт патентования в Москве. Заведовал патентным отделом в Карельском филиале Академии наук.

В 1991 году репатрировался в Израиль. Живёт в Ашдодде. В 2009 году выпустил первый сборник стихов «Ашдодский дневник». Вслед за ним вышли в свет более 10 сборников стихов и переводов с английского. Печатается в журналах Израиля и за границей. Был литературным редактором издававшегося в Ашдодде журнала «Начало».

Михаил КОВСАН

МЯТЕЖНО ПИРУЯ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

НАСТЫРНЫЙ СОН ЗАКОНЧИЛСЯ, СКВОЗЬ ЯВЬ...

Настырный сон закончился, сквозь явь
Видение незваное явилось,
Из полутьмы соткавшись, не приснилось
И далее отправилось вплавь
По воздуху, густея в синеве,
Руками воздух бренно загребало,
Словно себя рассветно погребало
В реке какой-то, Сене иль Неве.

Как душно дышит пылью сеновал,
Всенощно, запущенно, невнятно,
Иссякло наводнение, обратно
Река уходит в каменный провал,
Гудящий между небом и землёй,
Меж сном и явью, воздухом и ночью,
Но сон иссяк, чтоб увидеть воочью
Восьмёрку, зашипевшую змеёй.
Фиглярничанье. Музыка. Факир
На час или на вечность — всё загадка,
С виденья, как известно, взятки гладки,
Как с лозунга — напомнить? — миру мир!

Всё музыка! Шипящие шипят,
Всяк звук настойчиво миру являет норов:
Глухи велярные, сонорные сонорят,
Всё музыка, всё — с головы до пят.
Коль так, то почему не пригласить
Сквозящее видение на танец,
Пусть даже фыркнет глухо: «Оборванец!»
В ответ: «Не смею тайну изъяснить!
Я сам, если на то пошло, со сна,
Пусть во плоти, но призраку подобен,
Если такой партнёр вам не угоден,
Прошу простить...» Задумчиво сосна

Заглядывает в спальню спозаранку,
Сочувственно: опять ночная пьянка.

* * *

Пора? Что, брат, сойдём с ума?!
Как это? Посох и сума!
Вставай, пойдём!
За нами гонится сама
Стоглазо чёрная чума!
Шугнём её огнём!

Жара довольно запасли
В лугах, когда слова пасли,
Любили музы нас!
От пекла смертного спасли!
Невыносимое снесли,
Наградой — тихий глас.

Коснулся слуха, чтобы мы,
Смело бежавшие чумы,
Дерзали сметь,

Припасы вынув из сумы,
Пламенем слов смущать умы
И жизнь воспеть!

Внимая нам, и стар и млад,
Тьма голосов, на всякий лад —
За нами вслед.
Внимая хору, мир и град
Пророчит долгих, светлых, брат,
Счастливых лет!

Ох, эти долгие лета!
Пиров раздольных маята,
Пей, пой и вой!
И видишь всё, но — слепота!
Красна девица, но и та
Глядит чумой!

А КАРАЧУН?

Шуты и клоуны, двуличные бродяги,
оставив в прошлой жизни бодрый бред,
всё просмеяли телу не во вред,
душой с партером, времени вослед
пучок намоленной оставили бодяги:
ужас гортанный — Карл кораллы крал,
золотники сусальных эпитафий,
безделицы громоздких географий,
пару пародий, несколько анафий,
шут всё шутил, а клоун всё моргал.

Клоун светился жёлтой тыщей лун,
шугал шутихой шут велеречиво,
ворчливы оба, во хмелю драчливы,
отбредив, стали дерзко молчаливы,
такими их и встретил карачун,

Непримечательный, обыкновенный злой дух,
не царь и не герой, не совратитель,
ой, не Сократ, злой жизни сократитель
и выморочный мрака повелитель,
но зорок глаз, остёр зловещий слух.
Бродяг приметив, слыша бодрый бред,
те, как всегда, забыли про овраги,
мрак начеку — и гикнулись бродяги,
в руках смиренно по пучку бодяги.

А карачун? Хохочет им вослед.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Взгляд набухал горячей белизной,
Зрачок тонул в ней, словно мысль в безумье,
Сверчок сверкал, зудел безбожно зуммер
О тех, кто живы, кто пока не умер,
Что гром грядёт и скоро грянет зной,

Что здесь, на грани, на границе дней
Так дышится светло и ненасытно,
Так видится: наездник, пламя, свита,
Свет — впереди, за ними время свито
В колючий кокон из слепых огней.

И в ослеплении отчаянно светло
Взгляд вспять вернётся, мудростью змеиной
Отравлен, словно трелью соловьиной,
Туман оплавлен, белою равниной
Мир новый за ночь буйно намело.

Профукав чудо, таинства проспав,
Из кокона затрепетать на волю — мука,
Зудит зудя, зловредничая, муха,
Вонзая звон звенящий зорко в ухо —
Песнь песней мух во славу славных слав!

БЕСОВСКИЙ ПОЕДАЯ ВИНЕГРЕТ

Проказливая сказочность надежд
Не только юношей — и стариков питает,
Там, в кучевых, кто только не витает,
Не ведая, что бес в них обитает,
Глупцов употребляя на обед.

О нет, не что подумали вы, нет,
Ни показаний с них, ни кожи не снимает,
Он их надеждам сладостно внимает,
Снимает кожуру и промывает,
Восторг и соль — готовый винегрет.

Мечты и мечты — радость юных лет,
Всё то, что старость немощно скрывает,
Бесовский уксус жёлчно поливает,
По капле яд в мечтателей вливает —
Такой, уж не посетуйте, обед.

Но это на мечтателей навет!
Чёрт побери, ведь бесов не бывает,
Верблюды топают, собака байки бает,
И стар и млад бессовестно зевает,
Отважно дельный позабыв совет.

Какой? Пустое! Явится корнет
Надушенно взмывая, обнимает
Надежду юную, желаний не скрывает,
Всё, что корнета тайно подмывает,
На нём написано: скорее в кабинет.

Там рифмы, музыка, искательный кларнет,
Надеждой озарённый, с ней взмывает!
Куда? Туда же! Два крыла вздымает!

Корнет? Надежда? И лицом впадает,
Точнее мордой пьяной в винегрет!

И БАНТОМ ПОВЯЗАТЬ!

Бездомностью, безденежьем, безбрежьем
Не ошарашить и не поразить,
Цветок сдуть с ветки и преобразить
Себя в себе, себя вообразить
Идущим, взглядом ползая небрежно
По закоулкам встречных тощих душ,
Тщеславно тщащихся прохожий взгляд примерить,
Переманить, в величии уверить,
Семь раз отрезав, один раз отмерить
И поместить в мешок полный баклуш.

Как музыка баклушная свежа!
Как истина баклушная прелестна!
Как похвала баклушная чудесна!
Любовь баклушная прекрасна и небесна!
Как крылышкует, бабочкой кружа!
О, бить баклуши — чудо из чудес!
Какой баклан об этом не тоскует?
Какой глухарь об этом не токует?
И эта, как её, об этом не кукует?
А взгляд летит из глубины очес!

Пусть будет: глаз, пусть будет: из очей,
Но — вылетел и кружит устремлённо.
Что ищет одинокий он влюблённо?
Зачем тоскует нежно, умилённо
Из дней изгнанником, изгоем из ночей?
А кем ещё ему, поганцу, быть?
Оставив очеса, родимый глаз покинул,
Как нос майора, раз — и мерзко сгинул,
Влипнув в кудрявую комком засохшей глины.
И поделом! Скотина! Волчья сыть!

А мысли задние? В себе ли? Про себя?
На задний двор их! Батогом! Кудряво!
Отныне, если мыслить, только здраво!
Налево взгляд! Перед собой! Направо!
Взгляд! Грудь четвёртого! На месте! Семеня!
Иллюзии, аллюзии — изгнать!
Всех с пьедесталов яростно низвергнуть!
Всё до последней буквы опровергнуть!
С подлинным? Крест! И зачеркнуть «всё верно»!
Переписать! И бантом повязать!

КОГДА, НАШЁПТЫВАЯ БЛАЖЬ

Когда, нашёптывая блажь,
Блажит, куражась, дьяволёнок,
Когда в ночную смену страж
Гул уловляет отдалённый,
Когда нелепые часы
Плетутся, утро отдаляя,
Когда майорские носы
Сбегают, в тесте застревая,
Когда весёлою толпой
Бредут не слишком трезво рожи,
Когда спешат на водопой
Под утро их подруги тоже,
Тогда ты воспаришь туда,
Где благостно бесплотны люди,
Когда... Что, собственно, тогда,
Когда тебя уже не будет.

МЯТЕЖНО ПИРУЯ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Мятежно пируя во время чумы,
Избегнуть дерзая тюрьмы и сумы,
Зверем гонимым на воле брожу,
Раненой птицей над волей кружу,
Но сумрак наставлен, поставлен силоч,
Исчислен ход мысли моей между строк.

Если исчислен последний мой срок,
Какой смысл в мысли, какой в слове прок?
Бродить и кружить, города возводить,
Горы бессмысленных слов городить?
Никем не лелеем, никем не любим,
Вся жизнь в вечном слове, невечном, как дым.

Всем ненавистен, всеми гоним,
Жаждою слова и мысли томим,
Горюя, страдая, скорбно тужу,
В поисках вещего слова брожу,
Хожу, сокрушаясь, вперёд и назад
Иду, возвращаясь, всю жизнь невпопад.

За словом слово годы подряд,
Пугает прохожих утлый наряд,
По сторонам разбегается люд,
Рой слов оставляя, скверен и лют,
Вьётся поверх он повисших голов,
Жалящий зло рой неистовых слов.

Там, в междуречье, между холмов,
Среди чужеземно злостных богов
Слово таится, слово из слов,
Таинство звуков превечных основ,
Слово творенья и вечного сна,
Его не касались людские уста.

Скрыто века напролёт неспроста
В чёрной пещере, где темень густа.
В пропасть проникнуть! Без вести пропасть?!
Всевластная тьма там властвует всласть!
Путь зверя ей ведом и птицы полёт,
И гордый герой в эту тьму не войдёт!

А если осмелится, если дерзнёт,
То не чуму и не гибель пожнёт!
Зверем гонимым будет бродить,
Раненой птицей над волей кружить.
Мысли наступит исчисленный срок,
Слово исчезнет водою в песок.

Зверю и птице уста не даны,
Слова не нужны: ни на что не годны.

СКАЗКИ НА ДОМУ

За сменой вех — смещение основ,
Смущение ослов и розных сред смешенье,
Беспечность цезарей и плебса возмущенье,
На круги новые слепое возвращенье
У тел насильно отнятых голов.

Смешенье красок и смещение форм,
Судеб скрещенье и смущенье плоти,
Не отличить в смертельном хороводе
От масок лиц, смостыренных по моде,
Их расшвыряет бесноватый storm.

Сметающий, сминающий сорвёт
Бельё с верёвки, ту — с готовой шеи,
С той голова сорвётся! Неужели?
Всё точно так, и в своде сопряжений
Записано, хотя наоборот.

Вначале голова, вослед за нею шея,
Потом верёвка, а за ней бельё,
Кромешное затем житьё-бытьё
И нестерпимо жуткое нытьё,
Брезгая правдой, сказок не жалея.

Вот смена вех: в мистическом дыму
Прекраснейшая пифия тоскует,
Прекрасный принц дня нового взыскует.
Пророк безумье пифии толкует.

Заказывайте: сказки на дому!

КАКОЙ ЕЩЁ ОТВЕТ

Воздушным шариком сиятельно вспорхну,
что надо мною, глянуть наверху.
Внизу все знают: лужи, бездна, мразь,
грязь, из которой не случится князь.
И шарик лопнул, ничего там нет,
Вопроса нет — какой ещё ответ.

ОБ АВТОРЕ

Михаил Ковсан родился и вырос в Киеве. Закончил филологический факультет Киевского пединститута. Был старшим научным сотрудником музея книги и книгопечатания Украины.

В 1991 году репатрировался в Израиль. С 2000 по 2008 гг. раввин общины «Ковель» Консервативного движения Израиля.

Автор комментированного перевода ТАНАХа на русский язык, ряда книг по иудаизму и литературоведческих статей (русская литература, теория литературы), многочисленных публикаций в бумажных и электронных журналах, нескольких книг прозы и поэтических сборников.

Живет в Иерусалиме.

Игорь РЫМАРУК

ВЕЧНАЯ ЗАГАДКА ТАЛАНТА

Его уже нет с нами 14 лет. Он умер в 2008-м в больнице после автомобильной аварии, в 50-летнем возрасте. И, как это часто бывает, его уход только подчеркнул, оттенил важность личности в контексте украинской поэзии периода перелома столетий.

Родился он в селе Мякоты (ныне Изяславский район, Хмельницкая область, Украина). Окончил факультет журналистики КГУ имени Т.Г.Шевченко (1979). Дебютировал в 1978 году в журнале «Дніпро» (Днепр). Главный редактор журнала «Сучасність» (Современность), заведующий редакцией современной украинской литературы издательства «Дніпро», член СПУ (1984), вице-президент Ассоциации украинских писателей. Составитель антологии новейшей украинской поэзии «Вісімдесятники» (1990).

Автор восьми сборников стихов. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2002) — за книгу стихов «Дева Обида».

Он появился в украинской поэзии где-то в начале 1980-х, по крайней мере для автора этих строк. Выглядел как настоящий поэт — длинные волосы, худощавая фигура, очки. Два-три года разницы (в его пользу) только подчеркивали в глазах младших по возрасту его значимость. Первая книга Рымарука называлась «Высокая вода» — она увидела свет в относительно свободные годы, когда сотрудники издательств уже не так пристально искали двойное и тройное значение в самых простых фразах и предложениях. Тогда и пришли к читателю первые «восьмидесятники» — Василь Герасимьюк, Иван Малкович, Светлана Короненко. Игорь был среди них — среди первых.

Но Рымарук не только блестящий версификатор и глубокий философ. Игорь сделал нечто большее: он практически создал наше поколение. Прежде всего, это именно он, а не кто-то другой, составил, отредактировал и подготовил к публикации знаменитую антологию с названием «Восьмидесятники» — сорок имен, составлявших в то время еще не окрепший костяк новой, уже *не советской* украинской поэзии. Книга вышла в Канаде, в далеком Эдмонтоне. Издал ее KIUS — Канадский институт украиноведческих студий. Позже были и серьезные статьи об этом издании, и банальные обиды тех, «кого не взяли», — но Игорь действительно сделал, совершил это: сформировал поколение. Далеко не каждый поэт может записать себе в актив такое достижение. Игорь Рымарук имел на это право и как поэт, и как талантливый редактор, — а такой талант встречается гораздо реже писательского.

Благодаря мягкому и ровному сангвиническому характеру Игорь не имел и не мог иметь врагов, недоброжелателей. Люди любили или по крайней мере уважали его. Он никогда не обидел, не унизил другого поэта при обсуждении чужого творчества. Хотя вкус имел тончайший и фальшь чувствовал за версту. И сказать об этом — редкостное свойство! — умел тихо и убедительно, ни на йоту не оскорбляя автора. В то же время чувство юмора у Рымарука было ярким и сильным.

Он не был публичным поэтом, хотя свои (да и чужие) стихи читал красиво — негромко и проникновенно. Но что еще важнее — он умел слушать, когда читали другие. На него ориентировались, его реакция была важной и ожидаемой. Не печатный отзыв, а сказанное в глаза, по горячим следам замечание почти всегда поражало глубиной видения и ясностью восприятия.

В жизни он дружил с Василем Герасимьюком. Ни в какие литературные объединения и группы (кроме очень недолго просуществовавших «Псов святого Юра») Игорь Рымарук не входил принципиально. А с Герасимьюком их объединял возраст (всего лишь около двух лет разницы) и общие взгляды на литературу. Мы, поэты помладше, уже в конце 1980-х относились к Игорю и Василю как к мэтрам. Слово каждого из них имело огромный вес в нашей внутренней «тусовке». Это должно быть знакомо каждому, кто грешил сочинительством, — когда мнение старшего товарища равно вердикту высшего суда и либо повергает в уныние, либо возносит все естество молодого поэта к небесам.

Игоря Рымарука нет с нами, но он остался надолго — если не навсегда — неотъемлемой частью пейзажа украинской поэзии. И его незри-

мое присутствие будет ощущаться еще очень долго. Как минимум — несколько поколений.

Александр Ирванец

1

Так и живешь — ни дома, ни ключа.
Не капают ни слезы, ни свеча.
Смеркается и на задворках тучи.

Земля, как стул, из-под ноги бежит.
На улице апрельский снег лежит, —
Глотай его. Что кактус твой колючий,

Белёсый, с моложавой сединой,
Выспрашивай паромщика и ной,
Вымаливай, проси покоя, охай.

В Днепре глубоком, где кромешен ил,
Утопленник-старик слезу пустил,
И Водяной, которому всё по...

2

На небе будут с бельмами века,
Мимозы, наподобие песка,
Осыпятся, как будто при раскопках...

Но даром под землей гробы лежат:
Ненайденный тобою тайный клад
В последних не указан гороскопах.

Всё позабуди — планет бездумный лад,
Виденья пирамид и анфилад,
Как книгу пожелтевшую, эпоху...

И вечный эпос, где на фоне плах
Есть всадники на клячах и ослах,
И рифмоплет, которому всё по...

3

Приют всегда найдется для двоих:
Их носит Бог в кармане брюк своих,
А что карман с дырою — позабудет.

А, может, так задумал — ибо вниз,
К лесам, цветам летят под видом птиц
Блаженных опечаленные люди.

Так усмири же ветхий свой испуг,
Встречай рассвет, щенка корми из рук,
И Смерти не буди любовным вздохом —

С высот, куда глазам не прорасти,
Взирает ибо (Господи прости)
Предряхлый Бог, которому всё по...

перевод Германа Власова

* * *

Так дышится лесам, и так, почти запретно,
в них дышит эхом звук, под свежей и льняной
рубахой каждый взмах и мускул так заметны,
так маленький олень бежит на водопой.

Полшага в тень ворот — и никого за нами,
нас манит высота, и, значит, неспроста
чуть видный огонек живет в оконной раме,
хоть ночь, как стадион заброшенный, пуста.

И с городом внизу поговорить нам любо,
прогнозов и угроз не услышав опять, —
но влажный ритм не зря льнет к водосточным трубам,
ближайшего дождя уже недолго ждать.

И вот он загустел, вот он грядет как праздник
проснувшихся грудей под влагою рубах,
он обнажает суть всех зарослей и азбук,
в началах и путях, зачатях и годах...

Он смоев накипь строк, он не оставит брода
мне бывшему, тому, кто в пуще слово пас,
и крикнет нам — глухим от лета и свободы:
напейтесь же дождя! напейтесь про запас!..

Так смотрятся леса в немые бездны просек,
на тишине ворот — лишь эхо набекрень,
так — вновь, и вновь, и вновь — воды напиться просит
из пригоршней моих тот маленький олень.

перевод Натальи Бельченко

* * *

Последний беженец рождественских вестей,
я оказался в Откровенье Иоанна.
И пустота открылась, будто рана.
В смятеньи домыслы плодятся непрерывно.
Разбит скудельный мир на тысячи частей.

Семь наполняются уже Господних чаш —
Мне суждено пригубливать из каждой...
Бредет зверье, замаранное сажей,
пожарищем, чернее тучи вражьей...
Боюсь клейма: «Ты — в их числе. Не наш!»

Карающий огонь неотвратим —
уже склонилась тварь над близнецами.
Поникнем под суровыми руками
Того, Кто Мечен.
Но хранит ночами
Тот, Кто пришел уже. Не меч, но агнец с ним.

перевод Натальи Бельченко

«ГОГОЛЬ». СКУЛЬПТУРА ИВАНА МЕРДАКА

Те мелодии печали... Сколько, где их
забывалось, как перчаток, вспомни точно.
В твердокаменных молчащих колизеях,
в сатанинском вертограде полуночном.

Надлежит еще пройтись орлиным взором
темным бором, безголосых душ не трогать,
обойтись не столь фольклором, сколь декором,
но узнать, что привкус скорби — жженный деготь.

Это кто там в красных ботах на воротах?
Как вареник-самолет — еще летает?..

Бездна с бездною,
сквозняк
по смертным нотам
руки с плеч
в пустое небо
выдувает.

перевод Марии Огарковой и Сергея Слепухина

* * *

Василию Флёрку

блажен кто поделил на чистых и нечистых
роды и племена живой и мертвый люд
кто всходит на костёр по празднественным числам
а в будни сам вершит слепой и честный суд

блажен кто верит нам и каждому картушу
учтиво постучав в почтовый синий храм
где литерам жрецы заглядывая в душу
вещают о былом — борам и таборам

блажен кто утеплит край жизни ледовитой
не прется на рожон и понял меру цен
кто чтит всегда Завет пленен Бхагавад-гитой
и знает наперед — кто бла́жен кто блажён

а кто же тот молчун бесхозный в будней пыли
творца шутейный бзик кудрявый белый еж
его нашли века и метку прилепили —
колядную звезду каленой правды брошь

опомнись кто блажен гони его с порога
туда его в качель не выйдет ни шиша
пусть зла и тяжела а все-таки дорога
затюкана дурна а все-таки душа

перевод Марии Огарковой и Сергея Слепухина

ДОЖДЬ

Ирине

вот из провала Бог
на золотых ветрах
нас будто выдох-вдох
душу о двух телах
золотом обовьет
кров просмолит как челн
и золотым мечом
страх навсегда убьет

может и вовсе нет золота в том плюще —
чувствую трепет в нем будущего креста —
спит Украина — чу — в черном дождя плаще
а золотой поток ищет твои уста

перевод Санджара Янышева

ГРЕШНИК

Евгению Пашковскому

Господь меня простит: я жил и был неправ;
зато уж и любил без края и без права.
Я не бежал ножей, но и своих в рукав
заточек и стихов не прятал. Как Варавва,

пощады не просил; и чаша — она вот.
За черный чет простит. За белый нечет.
За неумных птиц, долбящих этот свод.
За плод, что сам — как голова Предтечи —

на блюдо мне падет... Вот и скажу: Господь,
скорей, простит меня... А не простит — не надо:
как веретье, сметет слова-огрызки — плоть
того, что не вернет из каменного сада.

перевод Санджара Янышева

* * *

Стыд — эти сорок под взглядом ужа —
киевский стрепет...

В сорок под срам наезжает вожжа
прозы как рэкет.
Можешь соловушке сбросить слова,
только не стоит:
бритоголового слога братва
разом построит.

В сорок бывает такой оборот:
градус без водки,
в прозу Галиции «скорая» прет
юзом подметки.
Тем и сюжетов навяли впрок
частные лица.
Львову кофейному врезался в бок
угол больницы.

При сороковке поэт как маньяк
«prosit» при морсе...
Тут и судьба подмигнет, как маяк
прозе приморской.
А вот пока ты на лире бряцал
гории — свинке,
где-то мудрец-одессит откопал
золото инков.

Дуй в прозаичный прозрачный экспресс
сороконожки
топчут изгой с изнанки небес
стежки-дорожки.
В глотах у них, как в зашитых сумах,
зов волхованья.
Сорокалетье в синайских песках
аж до закланья.

Сорок — как морок то стрелок, то стрел,
лик без обличья,
не беспредельность, но и не предел
послеязычья,
послелюбовь без греха и гроша.
будто в «Токае»,
сорок — затычка, а стерва-душа
все ж вытекает.

Дополнение от переводчика

Сорокалетье примерит наряд —
стрекот сорочий,
а у безвременья тот же расклад,
только короче.
Сорок твоих сороков не у дел —
тихо и пусто.
Кто бы последнее слово допел
сорокоуста?

перевод Ивана Жданова

Элина СВЕНЦИЦКАЯ
РАССКАЗЫ

ЧЕТВЕРТАЯ МОЙРА

В какой-то день, в какой-то миг я стала ощущать, что за мной кто-то всё время наблюдает, кто-то караулит каждое мое движение. Первое, о чем я подумала, — крыша поехала, это мания преследования. Однако уже тот факт, что я понимаю всю ненормальность происходящего, да еще и диагноз себе ставлю, заставил меня отказаться от этой версии. Нет, не мания преследования, всё на самом деле: вот я просыпаюсь — и сразу чувствую на себе этот взгляд, грустно иронический, слегка сочувствующий, но жесткий и спокойный. Под этим взглядом я стараюсь поскорее и поаккуратнее заправить кровать, хотя вообще-то мне это не свойственно, обычно я люблю поваляться, а кровать заправляю эпизодически, я же, в конце концов, у себя дома. Под этим же жестким взглядом я сразу делаю зарядку... понимаю, что это зрелище не для слабонервных, но ничего не могу поделать. Однако еще труднее под этим взглядом умываться и совершать прочие процедуры, при которых наблюдатель, в общем-то, не предусмотрен — это самое ужасное в моей новой жизни.

Но можно сделать умное лицо и о чем-нибудь подумать. Ведь интересно же наблюдать за думающим человеком: у такого человека обычно очень глупый вид. Но о чем тут можно думать? Разве что — гадать, кто он — этот странный наблюдатель? Как ему, наверное, смешно, наблюдать за тем, как я думаю, кто же это за мной наблюдает...

Может быть, он на самом деле писатель, и пишет обо мне... А что обо мне можно написать? Я же такая легкая, славная и шутливая — и всегда была такая, всю жизнь, а еще я очень наивная, и до сих пор наивная, в свои сорок восемь лет верю в принцев и спасаю бездомных

котят, и так долго в моей жизни ничего не менялось, что душа моя превратилась в дырявую тряпочку. Поэтому роман обо мне трудно написать, разве что — несмешную юмореску. Но ведь можно! А писатели — на самом деле они все шпионы. Они только и делают, что подслушивают и подглядывают, а потом всё это записывают и печатают — просто ужас!

Но как у меня дома мог завестись писатель? Муравьи вот недавно ползали, так я их всех вывела, и тараканов всем подъездом потравили... Но кто-то же, однако, за мной наблюдает и зачем-то это ему нужно! Я это чувствую, чувствую каждую минуту! Напряжение воздуха, легкое колыхание шторы от чьего-то движения, тихое кружение белого перышка посреди комнаты — и вдруг со стола падает книга, и снова все как было.

С этого момента я стала по-новому смотреть на весь свой жизненный обиход. Прежде всего, я решила каждый день пить чай. Чай я вообще-то не очень люблю, мне нравится кофе, но я заметила, что все интеллигентные люди время от времени пьют чай и размышляют о чем-нибудь возвышенном. Мне непонятно, в чем прелесть этой теплой водички, даже если со вкусом травы, но я решила пить — для вида, для тона.

Но этого было мало. Начав пить чай, я поняла, что тот, кто за мной следил, был не писатель. Писателю, наверное, хватило бы моей скромной и одинокой жизни — он бы мог из этих моих безумных чаепитий создать хороший рассказ со множеством аллюзий и реминисценций — и сделать паузу в своих наблюдениях.

Но нет. И это был взгляд не писателя. Это было другое — нечто беспощадное и жадное, требующее чего-то конкретного. И всё изменилось. Судьба схватила меня и поволокла неизвестно куда, и выбросила из квартиры, утащила с работы и из страны, и забросила меня в чужой город к совершенно чужим людям. И оказалась я в съемной однушке, денег нет, работы нет, и какой-то чужой мужчина дышит рядом. Судьба заставляла меня бегать по ледяным улицам в поисках неизвестно чего, не замечая ни редких прохожих, ни сочувствующих собак, и что листья пахнут, как полуразложившиеся трупы.

И чувствовала каждую минуту этот проклятый взгляд, от которого мурашки бегали по спине и подташнивало, и, конечно, убила бы того, кто так смотрит, если бы знала — кого можно убить. Ну ладно, думала я, это судьба...

И еще я думала, что художники очень жестокие люди. Чего они от нас хотят? Вот жила я, никого не трогала, поживала себе в своем уголке, милая и наивная, но ведь надо было выковырять меня из моей конурки, вышвырнуть из домика. Просто из любопытства, чтобы посмотреть — как я буду копошиться, вертеться, лапами шевелить... И хоть бы знали — чего хотят, зачем они это делают?

Вот кому от этого лучше, что все увидят меня, увидят, что у меня сапоги промокают, куртка потертая, а свитер растянулся? И что старше я стала лет на двадцать и страшнее в сто раз? А я живой, между прочим, человек, и совсем мне не надо, чтобы все знали, что у меня курточка одна на все времена и дырявые колготки. Ночами я плакала — просто слезы валились из глаз, и я никак не могла уснуть. Я молилась — но кому молиться?

Тут я вспомнила, что были когда-то богини судьбы — мойры и парки, они пряжу пряли и нити обрезывали. Старенькие вроде были, но беспощадные, сидели где-то далеко, на небе... Я постепенно засыпала, и тихо плыли облака прямо над моею головою, и летели осенние листья, пахнущие корицей, и падали перерезанные нитки — красные, желтые, зеленые...

Утром я проснулась и стала зашивать колготки, перекусывая нитку как мойра, у которой затупились ножницы.

И вот тут он, художник, наконец поймал меня. Он меня нарисовал — и жизнь моя в этом мире закончилась. А картина называлась «Мойры».

И вот теперь я — Мойра, богиня судьбы, и живу я вместе с другими мойрами там, на небе. Я думала, что на небе ничего нет — и была неправа. Вот он, наш ветхий сарайчик под низкой крышей, полный мышами и другими Божьими тварями, всё как у всех — продавленный диван, обязательно лыжи и зеркало, потускневшее от всего увиденного. Вот там и сидим мы вчетвером на маленьких табуреточках — четыре старые дуры — мойры. Одна мойра прядет, другая — нитку скручивает, третья — обрезает, ну а я все за ними подметаю, что они насорят. Мусорные эти старухи, что поделаешь... В общем, у нас тут курсы кройки и шитья со смертельным исходом.

И к тому же мы на карантине, так что к нам никто не ходит. Хотя раньше тоже никто не ходил. Все говорят, что наш мир изменился и уже никогда не будет прежним. Но мне кажется, что это только так

кажется. Если вдуматься, всё осталось как было и нет ничего нового под солнцем, бледным и медленным, и под этим серым небом — выцветшей занавеской, за которой давно уже никто не заглядывает, потому что ничего там интересного нет. Нет, мир не изменился, и по сути нет ничего нового, чего не было бы раньше. И пандемии случались, но и без всяких пандемий: посторонних надо остерегаться — это естественно, сохранять дистанцию — очень полезно для здоровья, особенно психического. Разве что маски не носили, но если вдуматься — носили всегда, только изображали их из своего лица, примеряя каждый день разные лица — чтобы было и по погоде, и к месту, и к костюму. Маска только удобнее — лица не видно. В общем, не изменилось ничего, только то, что было раньше не очень заметно — стало очевидным и безусловным. Что-то новое есть только для тех, у кого плохая память, — счастливые это люди!

К нам в сарайчик только иногда залетают осенние листья, они пахнут дымом и тоской, а еще почему-то горячим чаем.

— Вот бы чайку попить... — говорит одна из нас. Как ее зовут?

Нет у нее имени. Ни у кого из нас нет имени. Кто помнит, как нас звали? Да никто уже не помнит, а если и помнит — то не зовет.

Вот что страшно — на самом деле никто ничего не помнит. Почему никто ничего не помнит? Ладно бы — только вот эти вот глупые наши чайные ложечки, чашки с отломанной ручкой, поломанные будильники, их-то давно уже пора выбросить отовсюду — и из сарая, и из памяти. Это ведь всё мелочи, если вдуматься. Но никто ничего не помнит — прошлое, как огромная рыба, погружается под воду, зарывается в ил, и в голове всё чисто и светло, и вчерашний день покрывает утешительная мгла. Никто ничего не помнит — и можно всё начинать сначала, и не думать о том, что сделал и сказал несколько дней назад, и гулять по садам, где цветут розы забвения, и отвыкать от себя и своей прошлой жизни. Ведь от всего можно отвыкнуть. Даже отвыкнуть быть человеком. Вот я уже привыкла быть мойрой, привыкла подниматься ни свет ни заря и брать в руки веник, и надвигать платок на самые глаза, и садиться на маленькую табуреточку передохнуть, и бормотать про себя:

— Вечно у вас тут бычки накинаны, лушпайки набросаны... Вечно у вас бардак, зла не хватает... когда уже будете как люди?

Но вот самое горькое, что память вдруг взъерошивается, и плывут запахи и звуки из прошлой жизни, из покинутого дома, и сердце раз-

рывается, и горло давит, и слезы градом, потому что — больше никто и никогда не назовет меня Аннушкой.

РАЗГОВОРЫ С ТЕЛОМ

Но шум исступленно ревущего города стихнет, если втянуть голову в плечи и постараться его не замечать. ... Шел четвертый месяц карантина, улицы заполняли толпы людей, и все они были в масках. Маски были разные — белые с красными точками посередине, черные с белыми точками посередине, просто черные, просто белые или голубые, а еще цветные — с абстрактными рисунками. В общем — города расцвели масками. Сколько стало на улице загадочных людей! Люди шли в масках, одетых на правое ухо, люди шли в масках, одетых на левое ухо, некоторые закрывали маской исключительно подбородок, некоторые носили маски на руке, как носят обычно болонку, а многие были без маски. Несомненно, они ее просто прятали, и это было самое загадочное.

А звали ее Муся, потому что так получилось. Когда началась эта страшная пандемия, у Муси завелись странные привычки. Во-первых, она смотрела по телевизору новости. Во-вторых, услышав в новостях количество людей, заболевших коронавирусом, она обязательно его записывала в особую тетрадку. В-третьих — в отдельной графе она еще записывала количество умерших в этот день. Каждый день приносил болезни — шестьсот, семьсот, девятьсот заболевших, и каждый день приносил смерти — по десять, пятнадцать, двадцать умерших. Муся всех записывала и скрупулезно подсчитывала, а потом себе представляла... И эти цифры то носились перед нею в виде черных липких мух, то заглядывали ей в лицо мертвоглазыми кислородными масками, то растягивались лентами лежащих рядом трупов. А еще она видела перед собой ангары, а в них — кровати, кровати, кровати, и вокруг каждой — толпа наряженных в резиновые халаты и сапоги докторов... Было страшно и с каждым днем страшнее, а уж как пугали цены...

Муся была умная и знала, что всё это называется — стресс, тем более что это слово всё время звучало по телевизору. И по телевизору ей рассказали, что стресс надо лечить. Для того, чтобы лечить стресс, надо было делать много разного — гулять, заниматься любимым де-

лом, принять ванну с травами... Но гулять в условиях пандемии — это тоже стресс, любимого дела у нее не было, а посторонние запахи в ванной Муся не любила. Муся долго копалась в интернете и однажды возле объявления «Обучение гипнозу в Бердянске» прочитала, что надо попытаться полюбить себя и свое тело. Муся удивилась:

— Но зачем? Что я себе сделала хорошего? И как меня любить, если у меня длинный нос и ресницы, как у поросенка? И что мне теперь делать? И при чем тут обучение гипнозу, да еще и в Бердянске?

Посмотрев внимательно на объявление об обучении гипнозу в Бердянске, она решила, что себя она пока любить не будет, а вот свое тело — попробует. Чтобы его полюбить — надо с ним общаться.

И Муся стала разговаривать со своим телом. Просыпаясь утром, она говорила: «Доброе утро, тело! Как ты спало? Я — хорошо!». И внимательно прислушивалась. И, между прочим, тело ей отвечало: «Плохо я спало. Ты мне спать не давала — шебуршилась, ворочалась, бегала в туалет и о чем-то думала. Может, хватит уже думать?».

Тут Муся останавливалась, чтобы подумать над сказанным. В голову приходила только одна мысль: «Сегодня такая странная погода!». Где-то она слышала эту фразу, только вот где? Муся смотрела за окно — а там был маленький дождик, как два года назад, и ничего странного.

От дождика и от думания хотелось спать, и Муся засыпала. Проснувшись, Муся опять обращалась к своему телу: «Добрый день, тело! А теперь как ты себя чувствуешь? Я — не очень». И тело отвечало ей: «О Господи! Как можно себя чувствовать, проспав до самого вечера?»

Муся опять задумывалась и смотрела в окно. Дождь закончился, но тьма сгущалась, и низко над землей носились ласточки, а деревья осуждающе качали головами. За окном не было ничего хорошего, и Муся стала изучать обои. Но там были всё те же полоски и цветочки-незабудки — скучные, хотя и милые.

— Послушай, тело! — сказала Муся. — А чего ты, собственно, от меня хочешь?

В ответ было молчание. Даже слышно стало, как отчаянно кричат ласточки за окном.

— Ты почему со мной не разговариваешь? Я к тебе обращаюсь, а ты молчишь... это, в конце концов, невежливо!

Но тело по-прежнему молчало. Только листья падали вниз с мертвым жестяным стуком.

— Тело, ну поговори со мной, мне же, в конце концов, скучно... Расскажи мне, чего тебе надо?

— Это так просто не расскажешь...

И тело умолкло окончательно и бесповоротно. И сколько ни обращалась Муся к своему телу — оно только обиженно молчало. И телефон давно молчал.

Мусе ничего не оставалось, как остаться наедине с собой, с телевизором и компьютером. Устав от телевизора, она включала компьютер, устав от компьютера — включала телевизор, а когда в конце концов уставала от них обоих — пыталась разговаривать со своим телом. Но оно молчало, как рыба об лед, и это доводило ее до истерики. И она говорила телу: «Тело, я понимаю, у нас с тобой сложные отношения. Но поверь, ты мне очень нужно, ты мне дорого, тело, я хочу быть частью твоей жизни! Да, я понимаю, мне не надо надеяться на ответные чувства, но я хочу быть тебе хотя бы другом. Солнышко мое, скажи, чего ты хочешь?»

Молчание тела стало уже привычным, но Муся не отступала. Почувствовав, что ситуация стала драматичной, она написала письмо своему телу. Письмо было длинное, на четыре страницы, и начиналось оно так: «Не выбрасывай меня, мой фунтик, я хочу быть рядом, когда тебе плохо или хорошо, грустно или весело, я хочу согреть тебя в холодные дни, а когда тебе жарко, поить тебя водой с лимоном. Ты мой ненаглядный хомячок, я жду твоего ответа! Чего ты хочешь, в конце концов? Котенок, тебе просто нравится меня мучить!».

И однажды, растерзанная и растоптанная, Муся сказала своему телу:

— Если ты мне объявило бойкот — скажи почему! Если нет, давай разговаривать, иначе я буду ходить за тобой, как призрак отца Гамлета!

— Ой, нашла чем испугать, их много здесь толчется! — неожиданно ответило тело.

Муся широко открыла глаза, а тело продолжало:

— Ну что ты за человек такой, Муся? Не надоело разговаривать? Не надоело приставать ко мне с этими солнышками, хомячками и котенками?

— Но я... но я...

— Уйду я от тебя, надоела ты мне! Скучная ты, Муся!

И что-то странное стало происходить с Мусей. Исчезли тяжесть и тепло, стало очень светло и пустынно, и Муся почувствовала, что она летит, и поднимается всё выше и выше, и дороги становятся ниточ-

ками, а дома — спичечными коробочками, и где-то там, на абсолютно пустой улице, в сгущающихся сумерках, под медленным дождем, стоит ее тело в сером халатике — и всё такое маленькое, бедное, несчастное — Боже ж ты мой! «Без маски... как же ты без маски? заболешь же! надень маску немедленно», — закричала, заплакала Муся. Но тело в это время подняло руки к небу, к шевелящимся листьям, и вдруг стало медленно танцевать. Вначале медленно, а потом всё быстрее и быстрее взлетали вверх руки, и кружилось тело в струящихся одеждах, как будто бы оно собирало на невидимой полянке невидимые цветы и складывало их в невидимую корзину, а потом снова кружилось и поднимало руки в небу, к дождю, вдыхая вечерний воздух, полный пыли, воды и вирусов.

А Муся летела всё выше и выше, и вот уже ничего не видно, только темное небо, похожее на экран компьютера, а на нем надпись: «Обучение гипнозу в Бердянске. Учим синтезировать гормоны счастья и развивать невероятную творческую активность. Возможен он-лайн!»

ТЩЕТА ПАМЯТИ

Какие могут быть счета с детством в пятьдесят девять лет? Уже такой возраст, до которого могла бы и не дожить, старость дышит в затылок тихим и трудным дыханием, пора поумнеть, и всё, что было и чего не было, сложить в какую-нибудь большую коробку, положить на антресоли и пусть лежит там до лучших времен, в мире и спокойствии. Но лучшие времена никогда не настанут — это уже понятно почти старому усталому человеку, и мурашки уже не бегают по коже в ожидании неизвестно чего.

И правда — какие могут быть счета? Уже давно пора смириться и примириться, потому что если к этому почтенному возрасту не будет мира — что же тогда будет? Мир должен быть — серые голуби стонут за окном и клюют дорожную пыль, солнце садится за облезлую девятиэтажку, где-то вдали слышен детский голосок: «Танька! Сучка! Отдааай»...

Мир должен быть — но нет... И одним прекрасным утром человек ползет на кухню, медленно вглядывается в прозрачные окна с видом на мусорные баки, любуется белой блестящей газовой плитой, шкафом

чиками, в которых всё разложено по полочкам, — и открывает эти самые антресоли. И вот оно, детство, вдруг валится оттуда, сыплется всеми своими сломанными игрушками, заношенными куртками, стоптанными сапогами, слезами и страшными сказками о жизни. И что с ним делать? Куда его теперь?

Тогда человек садится у окна. Нет, он не вспоминает — потому что убедился в тщете памяти, ведь то, что помнится, похоже на то, что было на самом деле, примерно так же, как памятники похожи на своих прототипов. Короче, воспоминания — это только тоска по ушедшему, которого нет нигде, — и не надо тешить себя иллюзиями. Но человек всё равно сидит у окна — он просто переживает. Переживает свою жизнь.

Предположим, что этот человек женщина — просто для удобства того, кто рассказывает об этом человеке. В детстве ее звали Манечка, и бабушка ее очень любила, и была еще строгая мама, и маячил где-то на горизонте непонятный отец с суровым лицом, и опасный мир вокруг, в котором может случиться всё что угодно, между ними и Манечкой расстилается глухая и тревожная тайна. И всё это она пережила.

И потом она выросла — и звали ее Марианной. Юность у нее была красивая и таинственная, как у всех — курила днем и ночью, водку пила стаканами. Естественно, сочиняла стихи и выходила замуж. Пережив несчастную любовь, остриглась налысо. Через несколько дней ей сказали, что у нее слишком развиты височные бугры, а это нехорошо для ее егo, а еще вдавленность бугра служения указывает на склонность к бюрократизму. А она думала, что не идет ей всё это, и когда ее голова стала покрываться черным колючим ежиком — она поняла, что хватит с нее, и стала носить на голове черный чепчик с кружавчиками, который ей, конечно же, шел, хотя и люди оглядывались, а однокурсницы говорили:

— Какая интересная шапочка... Ты как будто бы из прошлого века!

— Я и есть из прошлого века, только ради этого стоит жить, — отвечала она.

Но волосы отросли, а чепчик с кружавчиками куда-то потерялся. Марианна искала его везде, очень уж был хороший чепчик — как корова языком слизала.

— Как корова языком слизала, — бормотала она, выбрасывая из книжного шкафа книги. — Но зачем корове лизать мой чепчик? И где же эта странная корова?

И это Марианна пережила. И начала взрослеть. И так повзрослела, что стала поэтессой и матерью-одиночкой с дочкой и внучкой, и звали ее Мариэтта. И теперь она вращалась в самых высших кругах самой исключительной богемы города Старобешево, которая всегда тусовалась в подвалах, и даже если вдруг в их распоряжении оказывалось нормальное помещение — оно сразу же превращалось в подвал. Тут бы она очень хорошо смотрелась в своем черном чепчике — но как она ни старалась заказать новый, ничего похожего не получалось. Приходилось рыться в секондах, находя то винтажное платье с изображением Че Гевары на груди, то брюки с колокольчиками, то купальник в горошек. Но однажды она начала писать стихи на латыни — самое интересное, что латыни она, конечно же, не знала, но когда ее осеняло вдохновение — слова всплывали откуда-то из глубин и сами слагались в стихи. И однажды она пригласила своих божественных друзей, заявив, что больна, а когда они пришли с цветами и фруктами, села на кровати в позу лотоса, что уже само по себе было удивительно. Но когда она, сидя в позе лотоса, стала читать стихи на латыни — никто ничего не мог понять, все сидели в полуобморочном состоянии, тем более что читала она громким голосом и вдохновенно глядя в потолок. Закончив, Мариэтта объяснила, что стихи эти были посвящены современной Украине, и все должны запомнить эту гениальную строчку: «Горе Украине, горе!». И это она пережила.

Потом ее звали Марина. И дожила Марина до войны. И надо было уезжать из маленького города и начинать всё сначала где-то в большом мире, полном неизвестности и страха. Улицы были пусты. Друзья затаились и не выходили на связь. Стихи не писались. Дочка плакала. Одна жизнь была закончена, а новая не начиналась. Книжный шкаф был пуст, и раскрытые дверцы беспомощно болтались. Стулья сбились в кучу, как испуганные олени. Пола не было видно — он весь завален бумагами, фотографиями, которые уже не нужны, детскими рисунками. Шагов не слышно — кажется, что ходишь по трясине, ноги утопают в бумажной мякоти, а под ними почему-то хрустит стекло.

Но и это пережила она. И теперь ее зовут баба Муся. Она часто лежит в постели и ждет — то ли смерти, то ли звонка внучки. Жизнь коротка, а краткость, как известно, сестра таланта. Только вот — зачем ему такая сестра? Краткость ведь бывает такая медленная, как прогулка улитки по мокрым листьям. Вот и чепчик нашелся — черный, с кружавчиками, валялся в кармане старого пальто. И, глядя на этот

старенький, потрепанный чепчик, перебирая его кружавчики, Муся вдруг подумала: а было ли всё, что с ней было? В самом деле — зачем ей было стричься налысо? Может, она и не стриглась... И какие могли быть стихи на латыни, если сейчас у нее из латыни в памяти только «*Catilina potentia nostra*»... И вся старобешевская богема не восхищалась ее стихами? И не уезжала она никуда? Вот дочка у нее есть — но откуда? Может быть, всё было совсем не так... Только вот он — черный чепчик, вот растрепанные кружавчики... И глядя это выцветшее кружево, Муся вдруг увидела то, что она переживала, — кусочки, лоскутки — и поток света, льющийся между ними и уносящий их далеко-далеко, туда, где по безмятежным холмам сбегают веселые ручьи, где небо наклоняется к земле над пышными пастбищами. Там она увидела корову, которая когда-то слизала языком ее чепчик.

Только не всё ли равно теперь? Ведь всё, что было, — в сущности, не жизнь, а ветер.

ОБ АВТОРЕ

Элина Свенцицкая — писатель, поэт, литературовед. Автор восьми книг: «Из жизни людей» (проза и стихи), «Пустельні риби» (стихи), «Простите меня» (проза), «Білий лікар» (стихи), «Проза жизни» (проза), «Триада рая. Проза жизни» (проза), и др. Стихи и проза публиковались в журналах Москвы, Киева, Торонто, США и других.

Лауреат I премии Фестиваля малой прозы (Москва), премии Украинской библиотеки г. Филадельфия (США), Литературной премии «Планета поэта» им. Л.Вышеславского, фестивалей «Art way» (Харьков), «Культурный герой» (Киев), IV Международного конкурса короткого рассказа «Zeitglas-2015», Международного конкурса короткой прозы «Без границ» (Барселона, 2017, Одесса, 2019), лонглист Международной литературной премии им. И.Бабея (2018, 2019, 2020). Лауреат Литературной премии им. М.Волошина (2019).

Неоднократно принимала участие в «Сакура-фесте», «Книжном Арсенале», Book Forum во Львове и других мероприятиях.

Валерий БОЧКОВ
ЧЕРВИ-КОЗЫРИ

1

Они оказались правы — Москва действительно поразила меня. Я не был в своём родном городе почти четырнадцать лет. Мы приземлились на сорок минут позже из-за бури над Атлантикой, пилоту пришлось огибать какие-то слишком турбулентные куски неба, о чём он каждый раз информировал пассажиров своим усталым и красивым баритоном. После пива я перешёл на джин-тоник и зачем-то перевёл часы.

Когда наш «боинг» пошёл на посадку, короткая стрелка на часах подбиралась к семи. Солнце, пронзительно яркое на фоне почти космической синевы, прилипло к кривому горизонту. Я не был уверен — закат это или восход, а спросить стюардессу мне показалось почему-то неловким. Я точно знал, что август ещё не кончился и что до воскресенья ещё дня три-четыре.

Пока мы пробирались в город из Шереметьева (их новый аэропорт действительно мог запросто заткнуть за пояс Хитроу и Кеннеди), я поймал себя на мысли, что не узнаю ничего. Точнее, я узнавал, но совсем не то, что я оставил четырнадцать лет назад. В многоярусных шоссейных развязках мне мерещился Лос-Анджелес, в жилых комплексах на излучине Москвы-реки где-то за Химками я узнавал тополиные пригороды Парижа, стеклянные башни с логотипами банков и отражением перистых облаков напоминали Дубай в мае.

Когда мы въехали в город, я опустил стекло до упора — Москва пахла так же, как и раньше. Это был запах, с которым я вырос. Родной авгу-

* Рассказ был написан в 2015 году.

стовский дух — смесь горячего асфальта Малой Бронной с последними днями каникул; летней жаркой пыли бульваров — с вонью новенького портфеля, запах тоски (если у тоски есть запах) по ускользнувшему лету пополам с неуловимым ароматом предвкушения чего-то нового.

Город выглядел вымытым и свежепокрашенным, я помнил Москву менее щепетильной в вопросах гигиены. Гостиница с уютным двориком и выводком дорогих лавок-бутиков вдоль фасада на углу Столешникова вообще показалась куском Лондона где-то в районе Челси. Из окна моего номера была видна маковка колокольни Василия Блаженного и таинственный хрустальный минарет на том берегу Москвы-реки, ориентировочно за Плющихой. Не распаковывая, я бросил сумку в угол, добросовестно решил принять душ и побриться, но вместо этого рухнул на кровать и тут же заснул.

Мой дядя, в отличие от Онегинского родственника, скончался скоропостижно, оставив мне в наследство двухкомнатную квартиру на Юго-Западе. Владеть недвижимостью в Москве, постоянно проживая в Нью-Йорке, мне показалось не слишком практичным. Квартиру удалось быстро продать, но для оформления бумаг потребовалось моё личное присутствие.

Да, вот ещё что — в апреле я развёлся во второй раз. Три с половиной месяца депрессии — раздел и переезд, помноженные на небывалую манхеттенскую жару, доконали меня, и к концу августа я бы согласился рвануть на экскурсию куда угодно — в Сахару, на Луну, в ад. Лишь бы куда-нибудь уехать. Москва оказалась не самым худшим вариантом — по крайней мере, на первый взгляд.

2

В целом, это напоминало сон — знакомые места перемежались с неожиданными, почти инопланетными вкраплениями. Бульвар, летняя пыль, скамейка под кустом сирени напротив печального Гоголя, похожего на больную каменную птицу, опрокинутая монастырская башня в маслянистой Яузе, перезвон трамваев на Лефортовских стрелках. И тут же на горизонте, как в дурном сне — стеклянные колоссы каких-то газово-нефтяных небоскрёбов.

Удивило обилие церквей. Старые, заботливо подкрашенные, позолоченные и оштукатуренные, неожиданно выступили из тенистых бульваров и закоулков Замоскворечья, где они скромно прятались

в моё время. Новые, разных фасонов и калибров, походили на привычные декорации к постановке «Золотого петушка» в каком-нибудь Мариинском или КДС.

Ночью город загорался разноцветными огнями. Безудержная иллюминация расцветала повсюду, вспыхивала, подмигивала, переливалась рубинами и изумрудами по карнизам, колоннам, вывескам и рекламам. Шпили высоток рождественскими ёлками хищно втыкались в бурый мрак августовского неба. Сперва я даже решил, что у них какой-то праздник. Голенастая проститутка, похожая на цаплю, в лаковых ботфортах, дежурившая у входа в мой отель, брезгливо оглядев меня, бросила:

— Да у нас каждый день праздник.

Забавно и неожиданно выглядела кириллица на вывесках — «Старбакс», «Бургер Кинг», «Милки Вэй» — так в нашей школьной рок-группе я записывал слова знаменитой «Кент Бабилон»: «Ай бай ю даймонд ринг, май фрэнд...» — ну и так далее. Группа называлась «Термиты», и я играл на бас-гитаре. Нашей «коронкой» была инструментальная версия «Day Tripper», которую из-за неприличной транскрипции мы называли почему-то «Ворон».

После развода я пребывал в неважном расположении духа, поэтому, решив не производить на старых приятелей дурного впечатления, я дал себе слово никому не звонить и ни с кем не встречаться.

Юридические формальности прошли на удивление легко и заняли всего пару часов, меня никто не ограбил и не увёз в лес в багажнике. Внушительная сумма — спасибо, дядя Слава, спасибо! — была аккуратно переведена на счёт моего нью-йоркского банка.

Я пожал вялую и чуть потную ладонь юриста вполне европейского пошиба, (если не считать странного и рискованного выбора одеколона) и оказался на солнечной и шумной улице Димитрова. Я был уверен, что она называется как-то иначе, но это значения не имело. У меня неожиданно оказалось полтора дня абсолютно свободного времени. Я купил сливочный пломбир в шоколаде, снял пиджак и, перекинув его через плечо, зашагал в сторону Садового кольца. Было три часа дня.

3

Я с детства любил рисовать. Моя бабушка водила меня в художественные кружки при разнообразных клубах и домах пионеров. Один из

таких кружков размещался в музее Бахрушина в Замоскворечье. Об этом мелком факте из своей биографии я не вспоминал лет сорок.

Пройдя Зацепу, я остановился на углу перед особняком. Фасад был недавно подкрашен, готическая крыша башни сияла новой медью, стрельчатые окна вымыты. Здание и раньше нравилось мне, оно напоминало настоящий рыцарский замок. Сегодня я мог безошибочно определить, что здание выполнено в стиле ранней английской готики с ассиметричной планировкой и двумя акцентами в виде квадратной башни с шатровой кровлей и большим готическим окном с фигурным аттиком. На афише перед входом я прочёл: «Музыкально-поэтическая композиция «От Евы до Клеопатры». Недолго думая, я толкнул тяжёлую дверь.

Так обычно в сказках происходит переход в волшебный мир. Пружина захлопнула дверь, и я очутился в тихом полумраке прохладного вестибюля. Пахло мастикой, старым деревом, антикварными книгами. После жаркого и шумного Садового кольца это было особенно приятно. Грохот машин сюда едва долетал и напоминал скорее океанский прибой, косые лучи пробивались сквозь витражи и с кафедральной строгостью выкладывали полосы света по резным дубовым панелям, по росписи стен, по багровым узорам старого ковра.

Под двухметровым портретом полугололого Шаляпина в роли Мефистофеля из оперы «Фауст» стоял резной письменный стол на львиных лапах. За столом сидела строгая старушка, удивительно похожая на Крупскую постленинского периода.

— Вам билет? — без улыбки спросила она.

Я подошёл.

— На «Еву и Клеопатру» или нужна постоянная экспозиция?

— Постоянная, пожалуй.

— Льготный или полный тариф?

Перед новоявленной Крупской лежал мятый лист преискуранта:

Льготный тариф — 100 рублей.

Полный тариф — 200 рублей.

Иностранцы — 500 рублей.

Я достал бумажник.

— Пожалуйста, один для иностранцев, — я протянул ей цветную купюру, похожую на деньги для игры в «Монополию».

— Гражданин, — Крупская поджала губы. — Тут музей. Прекратите валять дурака. Что, я иностранцев не видела?

Я молча вынул синий паспорт с золотым орлом.

Старушка, сверкнув очками в стальной оправе, скупым жестом сунула мне сдачу и билет за пятьсот рублей.

4

Я оказался единственным посетителем, за время блуждания по залам музея я не встретил никого. Постоянная экспозиция впечатления не произвела: современный театр был представлен старыми шрифтовыми афишами на дешёвой бумаге и тусклыми сценическими фотографиями. В Лужнецком зале — невысокой комнате без окон, похожем на траурную прихожую провинциальной похоронной конторы, стены и потолок были затянуты чёрным крепом, а перед лаковым концертным роялем, тоже чёрным, стояли малиново-красные плюшевые банкетки. По стенам развешаны чёрно-белые фотографии каких-то мужчин с фрачными бабочками, из дюжины портретов я узнал лишь мужественную физиономию дирижёра Гергиева.

В других залах попадалась случайная мебель, словно что-то оставили во время переезда: какие-то древние кресла с побитой молью обивкой, золочёные столы в стиле рококо, разномастные стульях-калеки. Линялые камзолы и платья, густо украшенные стекляшками и шитьём, были туго натянуты на портняжные манекены. По стенам висели скучные портреты каких-то давно умерших лицедеев, подходить и читать мелкие таблички было лень. Я, поскрипывая паркетом, неспешно брёл, переходя из комнаты в комнату.

Кабинет бывшего хозяина особняка господина Бахрушина мне понравился — внушительный письменный стол с бронзовым письменным прибором, несколько неплохих портретов маслом, один — портрет жены Бахрушина, написанный Маковским, был просто великолепен. Несколько карандашных рисунков Серова, лихих и лаконичных, две гуаши Бакста, страшноватый бронзовый бюст какого-то хохочущего толстяка, портрет Петипа в клоунском костюме — коллекция хоть и эклектичная, но вполне занятая.

Я попытался вспомнить, где размещался мой детский кружок рисования. Игнорируя табличку «Служебные помещения», я тихо спустился по узкой лестнице и пошёл по тёмному коридору. За первой

дверью оказалась тесная уборная с одним унитазом и ржавым сливным бачком с железной цепью, вторая дверь находилась в самом конце коридора. Я тихонько толкнул её, дверь раскрылась.

Там была комната, тёмная, с дешёвым письменным столом школьного образца и гигантским сейфом в углу, на котором чахнул бурый кактус в гжельском горшке. Посередине комнаты, спиной ко мне, стояла невысокая крепкая тётка. Задрав тугую юбку на талию, она подтягивала колготки. От неожиданности я замер, уставившись на её круглый зад. Комната была освещена скудным желтоватым светом, круглый пластмассовый плафон был вделан прямо в потолок.

Тётка обернулась, я открыл рот, продолжая пялиться на её зад. Она вскрикнула, оступилась, судорожными рывками пытаюсь натянуть юбку на место. Я что-то промямлил и наконец сообразил закрыть дверь.

— Чап? — услышал я из-за двери. — Чап, это ты?

Я остановился, медленно повернул ручку и раскрыл дверь. Последний раз Чапом меня звали лет двадцать назад.

— Это ты? — изумлённо повторила тётка. Юбка была на месте, но тётка продолжала тянуть её вниз, оглаживая ладонями. — Костик, это ты?

— Да... — неуверенно подтвердил я, не имея ни малейшего представления, откуда эта коренастая грудастая тётка с жёлтыми волосами и в тесной юбке из кожзаменителя может меня знать. — Это я...

Она медленно пошла ко мне, верхний свет безжалостно бил ей в лицо. Она улыбнулась, мне это не помогло — я её никогда в жизни не встречал.

— Чап... Ну ты... — жалобно проговорила она, потом запнулась. — Что, так плохо? Да?

Мне показалось, она сейчас заплачет. И она заплакала.

Закрыв лицо ладонями, она тихо завывала, потом начала всхлипывать. Потом заревела как ребёнок. Задыхаясь и захлёбываясь, пытаюсь что-то сказать, она размазывала тушь и помаду по лицу кулаками. Её волосы растрепались, прилипли ко лбу. Она шмыгала носом, я сунул ей свой платок. Она, пробормотав «спасибо», громко высморкалась.

— Шурочка... — еле слышно проговорил я. — Воронцова... Твою мать...

Прижав пальцы к вискам, словно пытаюсь вручную остановить что-то там, в своей голове, она снова зарыдала и, обхватив меня, уткнулась мне в грудь горячим и мокрым лицом. Я неловко обнял её,

чувствуя через гипюр кофточка потную мясистую спину. От волос пахло сигаретами и приторной парфюмерией.

— Твою мать... — повторил я.

5

— У Викентьевны на похоронах много наших было... Ледуховский Игорь, Сидоров, Танька Богданович. И Куров приходил — жив, представляешь? С палочкой, старенький... помнишь, как он на рисунке: «плоскостя строй, плоскостя!» — она засмеялась, комкая мой платок. — А Гишплинг теперь звезда в Израиле, персоналки каждый год, представляешь?

Я радостно кивал, хотя понятия не имел, кто такой этот Гишплинг. Или кто такая. На Шурочкином лице я старался не задерживать взгляд, скользил, косился в угол, как мелкий жулик.

— А Гурецкая Сонька, она в Третьяковке искусствовед, статьи пишет, диссертацию по Куинджи защитила. Критик, куда там! По ящику каждую неделю показывают. Помнишь, как она обнажёнку писала, под Модильяни? Выдра...

Я кивнул.

— А у Данилина персоналка была на Крымском прошлой весной... нет, осенью. Сильно пишет. Молодец. Такой урбанистический Сезанн. А Дажин в Германии, преподаёт, кажется, в Баухаузе.

В моей памяти обнаружились внушительные дыры, я кивал и улыбался. Она замолчала. Я почувствовал, что мне нужно что-то сказать.

— Ну ты тоже, Шур, ты тоже! — я обвёл рукой её кабинет, зачем-то ткнул в кактус. — Тоже! Такой музей! Молодец... Я ходил, восхищался. А оказывается, это ты...

— Ну я только зам, — скромно улыбнулась она. — По связям с ответственностью. Пиар — как у вас говорят. В Америке.

Потом мы пили шампанское в какой-то стекляшке. Шампанское было сладковатое и комнатной температуры, но удивительным образом помогло мне не отводить глаз от её лица. Я вполне убедительно соврал, что она почти не изменилась.

— А ты как? Как ты? — она вернулась из туалета подкрашенная и бодрая. — Давай за тебя! До дна!

Воронцова залпом выпила, оставив на бокале яркий след от помады.

— Ну давай, рассказывай! — весело приказала она. — Без утайки!

Неожиданно я разговорился. Рассказал о работе, о том, что издательство солидное и что я там почти главный худред. И что из моего окна виден Крайслер-билдинг, что машины у меня нет, поскольку иметь машину на Манхэттене полное безумие. А на работу я добирался пешком, а если опаздываю, то на такси.

— Рисуешь? — спросила она.

Я запнулся, махнул рукой.

— Я тоже, — она грустно кивнула. — Жаль... Я не про себя, я про тебя говорю. Помнишь курсовую по книжной иллюстрации? Ты Гёте делал, помнишь? Обалденно!

— Гёте...Кому всё это нужно, все эти картинки?

— Да, — мрачно согласилась Шурочка. — На наших глазах умерло искусство. Умерла живопись, умерла станковая графика, книжная иллюстрация. Скульптура стала утилитарной — так, средство для заполнения дыр в интерьере и пейзаже.

— Только не надо драматизировать, — я разлил остатки шампанского. — А что там с нашим ликбезом стало? Ты давно там не была?

— В Брю? — она пожала плечами. — Лет сто.

6

С Зацепы до Лефортова мы добирались почти час. Обе стороны Яузы были забиты, машины едва ползли. Таксист равнодушно втыкал первую, переходил на нейтралку, вплотную подкатывался к передней машине, тормозил. Мы сидели молча на заднем сиденье, Шурочка иногда начинала что-то вспоминать, но присутствие шофёра сковывало её и она, словно выдохнувшись, замолкала. Я чувствовал своей ногой её упругую ляжку.

Вышли у Немецкого кладбища. Я пытался сообразить, сколько лет я тут не был — получалось полжизни. Наше училище, официальное название — Художественно-графическое училище имени Карла Брюллова, или сокращённо Брю, стояло на пригорке и своим кирпичным фасадом глядело на глухой кладбищенский забор. Окна второго этажа загораживали кусты сирени, а вот с третьего и четвёртого этажей кладбище было видно как на ладони. Удивительно, но такое мрачное соседство за пять лет учёбы никак не повлияло на моё психологическое здоровье. Уверен, что сейчас результат получился бы другой.

Шурочка незаметно взяла меня под руку, вышло это у неё естественно, как-то само собой. Мы задержались под белыми колоннами, на новой вывеске рядом с дверью сияла золотая надпись «Академия визуальной коммуникации, рекламы и маркетинга».

— Что это вообще означает? — смеясь, спросила она.

— Сейчас узнаем! — я распахнул перед ней дверь.

Вестибюль не изменился, тот же кафель на полу, тусклый свет в пустой раздевалке. Налево буфет, направо деканат. Исчез гипсовый Ленин, вместо него в тёмной нише скучала безрукая Венера. Кто-то подкрасил гипсовые соски губной помадой.

На доске объявлений висел список абитуриентов, зачисленных на первый курс. У меня ёкнуло сердце, я вспомнил пронзительную радость, когда, задыхаясь от счастья, нашёл свою фамилию в таком же списке.

— Господи, когда ж это было? — Шурочка явно подумала о том же.

Пошли по лестнице. Наверху кто-то гремел ведром, шлёпал мокрой тряпкой, эхо разлеталось по всему зданию. Второй этаж пропустили — там были скучные кабинеты черчения и начерталки, увешанные унылыми пособиями по аксиометрии, плакатами с эпюрами и разрезами всевозможных геометрических тел.

Третий этаж был залит закатом, в широкие окна коридора вривалось рыжее солнце. В простенках между окнами стояли тумбы с античными гипсами — настороженный Гомер, лукавый Цицерон, сердитый Сократ.

— Вот он, мой любимый! — Шурочка шлёпнула ладошкой по лысине Цезаря. — Я его на вступительном рисовала.

— А я — Дорифора.

С лестницы донеслась песня, уборщица пела тихим молодым голосом, пела что-то восточное.

— Гляди, запасник открыт! — Шурочка распахнула дверь в кладовку, где студенты оставляли холсты после занятий живописью. Я пошёл за ней. Тут пахло скипидаром, лаком, масляными красками.

— А помнишь... — она начала и замолчала.

Конечно, я помнил. Я помнил и запасник, и закуток у входа на чердак, и лавку в дальнем конце кладбища, рядом с заброшенными могилами наполеоновских гренадёров. Я притянул Шурочку и поцеловал в мягкие, сладкие от помады губы.

— Чап, ты что? — игривым шёпотом ужаснулась она. — Тут? Нам же не двадцать. Поехали ко мне.

7

Всё произошло точно так, как и тогда, когда нам было по двадцать.

Потом она закурила. Натянула простыню и поставила пепельницу себе на грудь. Я, пребывая в какой-то шальной лёгкости, заморожено наблюдаю за пластами сиреневого дыма, плывущего сквозь последние солнечные лучи от окна к двери.

— Чап, а ты был счастлив? — неожиданно спросила Шурочка.

Вопрос застал меня врасплох. Меня насторожило прошедшее время, словно само собой разумелось, что сейчас я полный лузер. Я прошлёпал в гостиную, в знакомом серванте открыл памятную мне дверцу — там Шурочкин батя в прошлом веке хранил фирменное бухло. Лампочка внутри бара перегорела, но я без труда, среди липких даже на вид ликёров, нашёл початую бутылку кальвадоса.

Я забрался на кровать, устроившись по-турецки рядом с Шурочкой, сделал пару глотков из горлышка. Я не курил лет десять и от первой затяжки меня прошиб жестокий кашель.

— Счастлив? — с силой ввинчивая бычок в пепельницу на её груди, переспросил я. — Счастлив...

Начал я издали, рассказал о первых годах в Америке, о страхе остаться без работы, без страховки. Боязни очутиться на улице, под мостом, в картонной коробке из-под двухкамерного холодильника. Потом, ни с того ни с сего, рассказал всё про свою первую жену, красивую и абсолютно чокнутую, которая семь лет назад в длинном коктейльном платье с голой спиной бросилась вниз с балкона тридцать второго этажа отеля «Эльдорадо» в Лас-Вегасе. Рассказал, как мне оперировали колено, которое я повредил, играя в теннис. Рассказал про рыбалку в Коста-Рике и о гигантском марлине, которого я вытаскивал почти сорок минут. В моей жизни неожиданно обнаружилась целая куча историй, которые просто необходимо было кому-то рассказать. Шурочка умела слушать. Мне вдруг показалось, что так внимательно меня вообще никто и никогда не слушал.

— А как её зовут? — спросила Шурочка, к этому моменту я уже добрался ко второй жене.

— Кого? — не понял я. — Как жену звали?

— Почему звали? — испугалась Шурочка. — Она тоже...

Я засмеялся.

— Мелисса зовут. С ней всё о'кей. Она классная баба, правда. Умная — жуть! Это со мной что-то не так...

Я запнулся. Шурочка пытливо смотрела на меня, словно я вот-вот раскрою ей тайну земного бытия.

— Мне иногда казалось... Не знаю, как объяснить, знаешь, такое чувство...—красноречие моё сменилось внезапным приступом косноязычия. Я сделал большой глоток из бутылки.—Мелисса была... верней, она и сейчас преподаёт в Колумбийском университете. На международном отделении.

— Вроде МГИМО?

— Что-то вроде, — я вспомнил пару знакомых оттуда. — Не совсем. Без мидовского блатняка. Но не в этом дело.

Шурочка щёлкнула зажигалкой, затянулась.

— Воронцова, — строго заметил я. — Курить надо бросать!

— Вот ещё! — она кокетливо постучала по сигарете, стряхивая пепел. — Ну и что твоя Мелисса? Умная Мелисса?

— Она специализируется на «совке».

— Это как?

— Ну, на истории, экономике. Написала толстенный труд по гонке вооружений, «От Карибского кризиса до Берлинской стены» называется. Мы её издавали, книгу. Я так с ней и познакомился. С Мелиссой. Она с пуделем в издательство приходила. Путиным звали.

— Как?

— Путин. Отличный пёс был. Год назад усыпить пришлось, почки отказали...

Я проследил за идеальным кольцом, которое выдула Шурочка в сторону хрустальной люстры.

— Года два назад — мы встречали Новый год в Праге, мне вдруг начало казаться, что Мелисса вышла за меня замуж лишь потому, что я оттуда. Верней, отсюда. Что я для неё артефакт, экспонат. Осколок Советской империи. Империи зла...

Мы молча глядели в потолок — дымное кольцо, теперь рыхлое и корявое, устало доплыло до люстры. Солнце село, и в спальне наступили сумерки. Я был уверен, что мы думаем об одном и том же. А думать об этом не хотелось совсем.

— Ты помнишь, как мы всей группой свалили с начерталки и закатились к тебе? — спросил я. — Ещё мужик этот чудной появился? Родительский приятель.

— Не с начерталки, — голос у Шурочки стал тусклым. — Отменили консультацию по черчению. Конец семестра, третий курс.

8

Был конец апреля. Март тянулся вечно и напоминал январь. Последний снег выпал пятого апреля — это был мой день рождения, поэтому я запомнил. В четверг в нашей группе отменили консультацию по черчению, мы вывалили на улицу, небо звенело от скворцов, в воздухе горько пахло тополями, кладбищенские клёны проклюнулись и были окутаны нежно-зелёным туманом.

Воодушевлённые неожиданным везением, мы купили шипучего красного вина, дешёвого, но похожего на крымское шампанское, и галдя направились вдоль трамвайных рельсов к Шурочке. Она жила в трёх остановках, у Яузы, сразу за Немецкой слободой.

Ворвались, настезь распахнули окна. Тут же начали курить, стрелять винными пробками в потолок, хохотать, спорить. Лёвушкин брэнчал на гитаре, я подпевал ему, усадив Шурочку на колени — тогда она была компактной трогательной девчонкой с пшеничными волосами. Лариска Дроздова, развалясь на диване, рисовала — делала с нас набросок, Кравчук меланхолично гладил её зад, Гурецкая и Кедров листали альбом Дали и о чём-то громко спорили, наверное, о влиянии Вермеера и Веласкеса на живопись Сальвадора. Кто-то гремел посудой на кухне, оттуда уже тянуло жареными сосисками. Аппетит тогда у нас у всех был просто волчий.

Раздался звонок в дверь. Шурочка удивлённо соскользнула с моего колена, через минуту она вернулась в гостиную. За ней вошёл невысокий мужчина, жилистый и хмурый. Шуркину родню я знал, этого типа видел впервые. Шурочка что-то строго шепнула ему, он кивнул, взял стул и сел в угол. Закурил, сунув горелую спичку обратно в короб. Курил он «Приму», курил по-солдатски в кулак, щурясь от дыма и мрачно разглядывая нас.

Я вырос в квартире с высокими потолками, учился в английской спецшколе рядом с Патриаршими, у нас были уроки ритмики,

нас там учили танцевать полонез и падеграс, после уроков бабушка водила меня на рисование и плавание. Сегодня у меня были волосы до плеч, голубые джинсы, мои иллюстрации уже печатали в журнале «Юность». Между мной и хмурым типом в углу было не десять погонных метров, мы находились в разных вселенных.

Он встал, подошёл к серванту. Его движения были скупы, словно он просчитывал оптимальность каждого жеста. Так двигаются хищники — быстро и плавно. Он открыл дверцу бара, налил себе английского джина. Налил под самую кромку. Поднял стакан и аккуратно выпил, выставив острый кадык.

На него никто не обращал внимания кроме меня. Шурочка вернулась с кухни, села на диван. Я поманил её, она отрицательно качнула головой и закурила. Дроздова, сидевшая рядом, запрокинула голову, наощупь отложила карандаш и блокнот, Кравчук лениво целовал её в шею. Лёвушкин выдал лихой цыганский перебор в ре-миноре и, чуть кривляясь, запел про лейб-гусаров. Припев громко, но нестройно подхватили.

Я видел, не просто видел — чувствовал, как незнакомец наполняется какой-то тёмной энергией, злобой. Зреет, как нарыв. Стакан «бифитера» тут явно помог. На последнем куплете, когда все хором заголосили: «Эй, царица, comment sa va?», он неожиданно оказался рядом с Лёвушкиным. Зажав ладонью струны, он ухватил гитару за гриф. Песня оборвалась.

Теперь все смотрели на него, даже Кравчук удивлённо приподнялся на локте. В полной тишине незнакомец прислонил гитару к стене, дека гулко загудела басовой струной. Он выпрямился, оглядел нас — с презрением, с жалостью — не знаю.

— Может кому-то из вас подфартит, — начал он негромким, сиплым голосом. — Чтоб масть шла. Чтоб черви-козыри всю жизнь.

Он переводил взгляд с лица на лицо, словно оценивая каждого.

— Но я так не думаю, — он покачал головой. — Не бывает так.

Было слышно, как на кухне капает кран.

Незнакомец снова подошёл к серванту, снова налил полный стакан джина. Выпил. Полез во внутренний карман, вытащил оттуда скрученную тетрадку. Это была общая тетрадь в чёрном клеёнчатом переплёте. Раскрыв её, стал медленно перелистывать страницы. Остановился, начал вслух читать:

Нас не коснулся
Ветер перемен.
Всё те же крысы
Шастают в сортире.
Всё так же брызжет кровь
Из вскрытых вен,
И в грязь кишки
От русских харакири.

Каждое слово он произносил с натугой, словно с мукой выдавливал из себя. На его лбу, под ёжиком чёрных волос, вздулась вена. Я только сейчас обратил внимание, какой он загорелый, но это был не курортный бронзовый загар, а какая-то серая смуглость, словно пополам с копотью. Он поднял глаза и, глядя сквозь нас, сквозь стены квартиры, продолжил:

Вы дружно шли к победе коммунизма,
А я в другую сторону шагал.
Земля кругла
И состоялась встреча.
Но общий не хочу искать язык,
И в жизни у меня ещё не вечер,
Сдаваться я без боя не привык.

Лёвушкин, сидевший ближе всех к незнакомцу, выпрямился и прижался к спинке стула. Словно хотел стать незаметней, слиться с интерьером.

Хотя не избежал советской метки,
И в нашем прошлом часть моей вины.
Россию разрубил на пятилетки
Поверенный присяжный сатаны.
О, Господи, как допустил Ты это?
В своей стране я как в аду горю!

Самоуверенный Кравчук, он был старше нас, поступил в Брю после армии, перестал мять Дроздову, приподнялся и сидел с глупым лицом — смесь восторга и ужаса. Незнакомец продолжал читать, что-то

про топоры, к которым тянется рука. Про бледную шею тирана и алую кровь на песке. Шурочка, бледная и злая, кусала губы. Стул, где сидел Лёвушкин, был пуст. В прихожей тихо клацнула входная дверь.

9

Если бы проводился чемпионат Советского Союза по цинизму среди поколений, то наше определённо получило бы золото.

Те, до нас, — были романтиками. Дети войны, послевоенные ханурики, их родители ещё шептались по кухням и боялись завернуть селёдку в газету «Правда». Их принимали в пионеры, они сами вступали в комсомол, у них подкатывал комок к горлу, когда они слушали Бернеса и Окуджаву. Они во что-то верили, сомневались, пытались найти правду. Они всерьёз думали, что от них что-то зависит. Что они могут что-то изменить.

Поколение после нашего — птенцы Горбачёва, хилое племя, выросшее на пепелище империи, так никогда и не смогло оправиться от вселенского позорища. Да и как — если весь мир знает, что у тебя батя пропойца, а мать — шалава? Душевная травма на всю жизнь.

Наше поколение вскормлено сладким молоком издыхающей волчицы — дряхлой и беззубой империи, немощной, как её вожди, отправлявшиеся один за другим под Кремлёвскую стену. Мы научились врать, глядя в глаза, нам ничего не стоит всадить нож в спину, лучшие из нас делают это, глядя в лицо. Мы не понимаем, что значит предательство, слова «честь» и «совесть» вызывают у нас улыбку, нас не интересуют идеалы — это лирика. Мы оперируем цифрами. Мы называем себя прагматиками. И вы нам верите. Мы раздербанили вашу страну, мы всё поделили, втюхали вам дурацкие ваучеры — помните те цветные бумажки? — каждый теперь хозяин! Хозяин! Вы сами всё нам отдали. И сегодня моё поколение рулит Россией.

Да, мы — черви. Но сегодня на Руси черви — козыри.

10

Время — странная штука: история столетней давности вспомнилась мне в мельчайших деталях, я вспомнил звуки и запахи, вспомнил целые куски из его стихов. Вообще, для художника у меня отличная слуховая память.

— Я тогда подумал, что Лёвушкин — стукач, — сказал я.

— Нет, — Шурочка улыбнулась. — Просто трус. Если бы он стучал, то наверняка остался.

Это было логично.

— А помнишь, у него был мощный стих, что-то про серый свет, серый день?

Шурочка кивнула, соскользнула с кровати, прошла к комоду. Прошла на цыпочках — как и раньше. Голая, она всегда ходила чуть на цыпочках, старалась казаться повыше, я думаю. В сумеречной спальне её тело будто светилось, она присела на корточки, выдвинула нижний ящик. Вернулась, протянула мне тетрадь. Тетрадь в чёрной клеёнке.

— Он появился года через два, мы как раз защищали диплом. Ты тогда был уже с этой, с длинной... Он появился, оставил тетрадь... И всё...

— Странно... — я взял тетрадь. — Почему тебе, он же друг твоих...

Я не договорил, до меня вдруг дошло. Она кивнула.

— Мне не было и года, когда его посадили, мать развелась, вышла за Гошу. Я до семи лет считала, что Гоша мой отец.

Я вспомнил дядю Гошу, румяного развесёлого здоровяка, похожего на царского штабс-капитана, страстного любителя лыжных маршбросков, рыбалок и дачных шашлыков, он басовито пел романсы, немилосердно щипля струны гитары, и рассказывал анекдоты в лицах.

— А где... как они... — я идиот, наконец догадался спросить о Шуркиных родителях. — Всё *о'кей*?

— В Кратово. Они там теперь безвылазно, — Шурочка залезла под простыню, прижалась ко мне. — Сауну построили, живут, как олигархи. Мать совершенно чокнулась на розах, я к ней когда приезжаю, ты не поверишь...

Я не слушал, нащупав выключатель, зажёл лампу, раскрыл тетрадь и начал листать. Это был чистовик. Ни помарок, ни исправлений — каждому стиху, даже короткому четверостишью отводилась отдельная страница. Поразил и почерк — строгие печатные буквы, так обычно пишут архитекторы. Стихов было много, я пробежал страницу глазами, выдёргивал несколько строк, шёл дальше. Иногда смысл этих нескольких слов обжигал, я читал стих целиком.

Я закрыл тетрадь, устался в потолок. Горло сжалось, я не дышал, боясь в голос всхлипнуть. Казалось, дом накренился и вот-вот рухнет, рассыплется, завалит обломками набережную. Волна боли и правды откатила, я выдохнул.

Через мои руки проходит много рукописей. Тех, что готовятся к изданию. Значит, лучших, отобранных редакторами. Иногда мы издаём и поэзию.

— Воронцова, — я кашлянул. — Это надо печатать.

— Что? — она не поняла, она рассказывала про дачу. — Стихи?

— Да.

— Чап, ты чокнулся. Кому это нужно, ты что! — она грустно засмеялась, ткнула рукой в сиреневое окно. — Ты посмотри вокруг. Стихи!..

— Дело не в стихах. Это боль, это правда! Это страдание! Это ж написано кровью!

— Чап с годами стал сентиментальней... — Шурочка засмеялась и уткнулась мне в шею. Кончик её носа всегда был почему-то ледяным. — Никого это не интересует. Ты просто давно тут не был.

— Да при чём эти «тут», «там»?! Я покажу стихи у себя, покажу ребятам из Колумбийского, русистам...

— Ага, своей Джессике с пуделем.

— Мелиссе. А пудель сдох, — почти оправдываясь, сказал я, с удивлением услышав ревность в её голосе.

— Ну-ну, — она обняла меня, мне почудилось, что от неё пахнет теми же духами — теми, французскими, в голубой коробке. Я ей такие подарил тогда, в начале весны. Тетрадь шлёпнулась на пол.

11

Я одевался, она молча наблюдала за мной. Рыжий огонёк сигареты вспыхивал и медленно таял, умирал. Дым седым туманом плыл по спальне.

Мы повзрослели, надеюсь, поумнели. И она, и я, мы оба отлично понимали, что чудеса — штука хрупкая. Их иногда может угробить даже такая пустяковина, как утренний свет.

Я свернул тетрадь в трубку, сунул во внутренний карман. Наклонился, ткнулся губами ей в скулу. Её лицо было горячим и мокрым.

— Я... — начал я.

Она замотала головой, я кивнул. Прошёл по тёмному коридору. Стараясь не шуметь, защёлкнул за собой дверь. На набережной было душно, воняло тухлой водой и бензином. С заправки вырулила старая «трёшка», я поднял руку.

— Куда? — не вынимая окурка, спросил шофёр.

Я сказал, он лениво мотнул головой — мол, залезай. Мрачный и небритый, он был здорово похож на актёра Машкова.

Мы неслись по колдобинам, виляя и объезжая какие-то невидимые препятствия, ныряя в чёрные повороты, бездонные, как чужие галактики, — Машков явно знал дорогу наизусть. Выскочили к Москве-реке. Промчалась мимо пустоши на месте гостиницы, неожиданным куличом выплыл пёстрый Блаженный. Перед Каменным мостом нас подрезал белый «ауди».

— Блядва чёрножопая! — Машков ладонью вдавил сигнал.

«Ауди» неожиданно начал тормозить, прижимая нас к обочине. Мой шофёр уткнул «трёшку» в бордюр, выхватил из бардачка отвёртку. Распахнув дверь, выскочил на дорогу. Водитель «ауди» действительно оказался кавказцем. Он орал и размахивал туристским топориком, такие, я помню, продавались в «Рыболов-спортсмене» на Полянке и были похожи на настоящие индейские томагавки. Машков, крича матом, пошёл на кавказца, выставив отвёртку. Из «ауди» появился ещё один, мелкий и вертлявый, как пацан, он подскочил и огрел моего шофёра коротким металлическим прутом по затылку.

Всё это заняло секунд пять. Шофёр осел на асфальт, кавказцы запрыгнули в «ауди», но тронуться не успели. Надсадно воя и сияя огнями, молниеносно, как божья кара, им перегородила дорогу патрульная машина. Другая подлетела и уткнулась в багажник моей «трёшки».

Кавказцев выволокли, я видел, как сержант вломил мелкому в пень, видел, как тот сложился. Меня за шкирку вытряхнули на дорогу, я, подняв руки, повторял, как мантру: «Я пассажир! Я пассажир!» Подкатила «скорая». Неподвижный Машков, неловко поджав под себя ногу, лежал на спине, уставившись в чёрное небо. Меня затолкали в патрульную машину, куда-то повезли.

Въехали в какой-то двор, остановились у коренастого московского особнячка в кустах пыльной сирени до второго этажа. На вывеске светилась надпись «Отделение полиции Центрального округа». Там было ещё что-то написано, но меня уже втолкнули внутрь.

В полицейском участке воняло, как в обычной ментовке: потом, перегаром, солдатским гуталином. Моих объяснений никто не слушал, я смирился, покорно вывернул все карманы. Хмурый старлей свалил мой хлам в пластиковый пакет, не обратив особого внимания на паспорт, словно в их околотке по ночам от американцев отбоя нет.

Когда я сидел в просторной клетке, а на соседней лавке храпел некто, натянув на лицо грязный пиджак, через закрытую дверь одного из кабинетов до меня донеслись обрывки разговора, очевидно, касавшегося моей личности. Я насторожился. Говорили по телефону, так что удалось подслушать всего половину.

— Пиндос. Но из наших... ага... Звери бомбилу завалили, зверей взяли. Пиндос — олень натуральный, не при делах конкретно. Я решил тебе, Михалыч, отзвонить на всякий случай. Отпускать, что ли?

Возникла пауза. Михалыч что-то говорил или думал. Я попросил Бога приказать Михалычу ответить «да». Михалыч медлил.

— Лавэ? Четыре сотни налом, пластик, пучок деревянных по мелочам. Плотва, короча. Не... ничего. И не бухой. Не, не нашли, чисто. Да не, конкретный ермолай. Тетрадка ещё. Ксива и лопатник.

В нашей тройной коммуникации я — Бог — Михалыч явно наблюдался сбой, думаю, на отрезке Бог — Михалыч.

— Тетрадка? Ща, погоди...

Возникла пауза.

— Ничего нет. Стихи. Не, на русском.

Раздался смех.

— На хера мне головняк с пиндосами, Михалыч. Сниму показанья — пусть гуляет. Ну... Ну пробей, пробей... Как скажешь... Погоди, ни хера не видно... А тут, блин, ещё и английскими буквами! Погодь-погодь... Константин, это понятно, это имя. Да я пытаюсь... Ну по буквам... Сэ, нэ, а, потом рэ, потом лэ английское...

Я бы сам запутался, пытаюсь из этой шарады составить свою фамилию.

12

Через сорок минут за мной пришёл сонный мент, провёл по тёмному коридору мимо дерматиновых дверей. Одну распахнул. Из-за письменного стола мне навстречу поднялся ладный мужичок в сером, чуть тесноватом, костюме.

— Константин Андрейч! — улыбаясь, мужичок выставил ладонь.

Я пожал руку, тоже улыбнулся. В моём паспорте вместо отчества стояла лишь заглавная буква «А». Паспорт лежал на столе, под ним лежала чёрная тетрадка.

— Садитесь, садитесь,— он радушно потянул меня к стулу, усидил.— Как столица? — Сам тут же ответил.— Потрясающе! Нью-Йорк и Токио в одном флаконе!

Он, уткнувшись задом в угол стола, засмеялся переливчатым баритоном — так на сцене хохочут дачники, попивая на веранде чай из бутафорского самовара.

— Вы сколько годков златоглавую не навещали? Четырнадцать? Пятнадцать? Вот ведь город стал! Городище! Наверное, ходили по центру, — он выпучил глаза и развёл руки, изобразив удивление. — Где я? Это Париж? Или Лондон?

Он снова засмеялся, вдруг серьёзно спросил:

— Не жалеете, что уехали?

— Не жалею. Вы кто?

Не давая мне в руки, раскрыл перед моим носом книжку в малиновой коже. На розоватой бумаге кокетливой прописью с нажимом было выведено: Сергей Михайлович Долматов, майор. Эта школьная каллиграфия выглядела странно рядом с тиснёным двуглавым орлом и логотипом учреждения. Не говоря уже о названии учреждения. Я догадался, что это и есть тот самый телефонный Михалыч, разговор с которым я подслушал в клетке.

Захлопнув удостоверение, жестом фокусника спрятал во внутренний карман. От майора воняло приторным, каким-то бабским, одеколоном. Я отодвинулся, стул оказался совсем обычным и не был привинчен к полу.

— Я ехал в гостиницу, поймал машину на набережной, — начал я. — Где-то в районе Зарядья нас обогнал «ауди»...

— Знаем, знаем,— Сергей Михалыч замахал ладошкой, прерывая меня. — Всё мы знаем.

— Отлично. Значит, я могу идти?

— Конечно! Конечно.

Я встал, он соскочил со стола.

— Можно? — я кивнул в сторону паспорта и тетради.

— Угу,— ответил он фальцетом, обходя стол и садясь в кресло.— А что это за тетрадь, кстати?

— Так. Стихи одного человека.

— А-а,— фальцетом протянул он и раскрыл тетрадь.— Человека, говорите... Интересно... Очень интересно. Стихи...

Михалыч делал вид, что впервые видит эти стихи. Он листал страницы, задумчиво склонив голову. На макушке светилась лысина, аккуратно прикрытая бледными волосами.

— Интересно... — бормотал он. — Очень интересно... А вот тут просто здорово. Просто здорово, — неожиданно поднял голову. — Вы давно пишете?

— Это не моё, — устало сказал я, посмотрел на часы. Было без трёх два.

Михалыч полистал ещё, закрыл.

— А не тянет на родину? Честно так, не тянет? — задушевно спросил он. — Ведь вы москвич? С Бронной, да? Ну вот... А я в Текстилях вырос — соседи можно сказать.

Он потёр шею ладонью, расстегнул пуговицу под толстым узлом галстука.

— А вы садитесь, садитесь, Константин Андреич. Вы ж помните — в ногах правды нет. Вы в Нью-Йорке обитаете, так?

Я медленно сел, закинул ногу на ногу. Начинало ломить затылок.

— А Нью-Йорк, как вам известно — город жёлтого дьявола, — он снова загоготал своим гортанным смехом. — Каменные джунгли. А у нас — прыг в машину — и через час уже и Пахра тебе, и Дубна, и водохранилище, озёра там, знаете, под Дубной. Вы не рыбак, нет? Нет? А я вот, грешным делом... Ушица, знаете, на костерке... Туман стелется.

Плавной ладонью он изобразил туман. Мечтательно устался в угол с вешалкой, на которой висела ментовская фуражка с крупной кокардой, похожей на дамскую брошь.

— Что вам нужно? — невежливо спросил я.

Михалыч удивлённо повернулся, словно я только что материализовался из затхлого воздуха кабинета.

— Мне?

С улицы донеслась ругань, возня, хлопнули двери, кого-то куда-то поволокли.

— Мне? — повторил он и шутивым баритоном запел. — «Цвела бы страна родная, и нету других забот». Мне лично — ничего не нужно. Вы мне — лично — очень даже симпатичны. Но меня, — он сделал паузу. — Как должностное лицо при исполнении соответствующих обязанностей. Меня беспокоит кое-что тут...

Он звонким щелбаном щёлкнул по клеёнке тетради.

— Тут же Рылеев и Солженицын в одном флаконе, — Михалыч раскрыл тетрадь, начал листать. — Меня настораживают некоторые пассажи... Ну вот, например: загнали Россию на нары, стянули чекистской удавкой.

Он, недоумевая, поднял глаза.

— Прошу прощения — кто загнал? На какие нары? Да, безусловно, у нас есть исправительные учреждения, есть и преступники... — перебив сам себя, он ехидно вставил. — Кстати, в вашей Америке заключённых гораздо больше, чем у нас. Но я не про то...

— Я вам повторяю, стихи не мои...

— А чьи? — тут же спросил Михалыч. — Чьи?

— Одного человека, — я замялся. — Мне их дали...

— Кто? — ласково. — Кто дал?

Я запнулся, потом сухо произнёс:

— Я американский гражданин и требую присутствия представителей американского посольства. Немедленно сообщите...

Михалыч засмеялся.

— Ну! Куда, куда, дорогой вы мой, сообщать? Куда звонить? Спят все, спят все ваши. «Спят усталые игрушки, книжки спят...». У вас дети есть, кстати?

— Без представителя посольства США, — я скрестил руки на груди, — отвечать отказываюсь.

— Вот! Ну зачем вы так? — Михалыч расстроился. — Я же помочь хочу.

Я отвернулся, разглядывая дрянные обои. В углу протёк потолок, жёлтое пятно было похоже на Африку. В районе Туниса обои отклеились и свернулись трубкой.

— За время вашего отсутствия, дорогой Константин Андреич, в стране был принят ряд новых законов. О клевете, о защите чести и достоинства, — майор полистал тетрадь, нашёл. — Ну вот к примеру: «Нас не коснулся ветер перемен, всё те же крысы шастают в сортире». На кого вы намекаете? Кого вы называете крысой?

Михалыч лукаво закатил глаза, за его спиной висел портрет, чёрно-белая фотография в золотой рамке.

— Никак про сортир забыть не можете? — майор покачал головой. — А кто поднял Россию с колен? Кто, я вас спрашиваю! Ельцин ваш? Нет! — Михалыч кивнул на портрет. — Он! А какие Олимпийские

игры устроил! Страна расцвела, народ трудится, народ радуется! Почему об этом вы не пишете?

— Майор, — устало сказал я. — Эти строки были написаны в прошлом веке, когда этот, — я кивнул на стену, — капитаном невидимого фронта коммунистическую отчизну от врага защищал. В городе Дрездене.

— Вот ерничать только не надо, Константин Андреич! — обиделся майор. — С вами по-хорошему...

Я только сейчас обратил внимание на высокую печку-голландку, вделанную в стену и облицованную белым кафелем. Наверное, тут когда-то была одна из хозяйских спален. Тут когда-то спали люди, читали при свечах или газовом свете. Ласкали друг друга на мягких купеческих перинах.

— Майор, — голова начала болеть всерьёз, каждое слово отдавалось в затылке. — Проведите графологическую экспертизу. Это не мой почерк.

— Экспертизу? — майор быстро обошёл стол. — Графологическую? Проведём! Непременно проведём. Изменили почерк, пишете печатными буквами свои пасквили — думаете, что хитрее всех... Ну-ну!

— Послушайте...

— Нет! Это вы меня послушайте! — перебил майор. — Вы что ж думаете, если у вас пиндосский паспорт, то вам всё можно?! Что вы особенный? Неприкасаемый?

Он вдруг приблизил лицо, начал зло и быстро шептать:

— Ты свалил за бугор, ты продал родину, ты враг. Ты мой личный враг, понял? У тебя сегодня утром в номере уборщица найдёт оружие и взрывчатку. Вызовет полицию. При свидетелях и понятых проведут обыск. В твоём чемодане обнаружат карту московского метро с местами готовящихся взрывов. Найдут деньги и наркотики с твоими отпечатками пальцев. В чемодане...

— Майор, — перебил я его. — Нет у меня чемодана. Нету, понимаешь? С сумкой я прилетел.

13

Меня вытащили из автозака, повели через двор к грязному зданию. Я плёлся, едва переставляя ноги. В голове звенело, словно в мозг залетела настырная изумрудная муха. Связь с реальностью временами прерывалась, казалось, я глядел на происходящее извне, с рас-

стояния. Такие истории рассказывают пережившие клиническую смерть, как они парят над операционным столом, слышат врачей — Мы его теряем! Пульса нет!

Я споткнулся, грохнулся на щебёнку, брюки на колене порвались. Меня подняли. Пепельное небо светлело, наливалось жёлтой мутью, уже было душно. Почти волоком меня дотащили до дверей. Потом через тесный предбанник, потом я ковылял по каким-то бесконечным лестницам.

В коридоре конвоир снял с меня наручники.

— Где мы? — спросил я его, потирая запястья.

Он молча открыл грязную дверь, подтолкнул меня. Я сделал шаг, дверь сзади клацнула замком. Мне в нос ударил аромат спелой, сочной дыни.

Дело в том, что в Америке хороших дынь нет. В продуктовом можно купить мексиканскую дыню — серую, шершавую, идеально круглую, как корабельное ядро, что зашивают в парусину вместе с покойником, прежде чем выкинуть его за борт. Мексиканская дыня не пахнет ничем, на вкус она как перезрелый огурец, только с сахаром.

Я остановился на пороге. В камере, большой комнате, напоминавшей спальню в заброшенном пионерлагере, с двумя рядами двухъярусных кроватей справа и слева, оказалось человек двадцать, может больше. Тут было жарко, многие были без рубах, в нательных майках.

Разбитое колено пульсировало, горячая боль мешала мне до конца убедить себя, что я сплю. Или что я умер.

Ко мне подошёл невысокий парень, что-то спросил. У него было подвижное обезьянье лицо, короткая стрижка. Я отрицательно помотал головой, хоть и не понял вопроса. Он спросил что-то ещё, жёсткие волосы острым углом залезали на смуглый лоб, парень напоминал Дракулу, если бы Дракула был якутом.

Он что-то сказал. Кто-то сунул мне в руки веник. Я оглядел веник, поставил его к двери. На моём чёрном ботинке краснела яркая полоска, похожая на змейку. Я наклонился, задрал штанину, голень была в крови. Якут-Дракула плавно присел, словно собирался пойти в пляс. От удара в сплетение у меня перехватило дыхание. Согнувшись, я привалился к двери, пытаюсь вдохнуть. Потом сполз на пол.

Били ногами, но не сильно. Я молча прикрывал лицо руками, прижимая колени к груди. Когда они закончили, я хотел встать, припод-

нялся, дикая боль в колене ослепила меня. Я снова завалился на бок, теперь колено саднило постоянно. Пульсировало, будто моё сердце переключалось туда. Упираясь локтями и ладонями в шершавую стену, я кое-как выпрямился. Доковылял до пустой койки, сел. Тут же снова возник Дракула.

— Шконка чужая, дупель! — крикнул он и коротким ударом в ухо сбил меня на пол.

Все вокруг заржали. Я поджал колени, встать не было ни сил, ни желания. Во рту появился ржавый привкус крови, язык наливался пульсирующим жаром. Мне вдруг стало мерещиться, что я на школьном дворе, там, на Бронной, где меня однажды жестоко избили два старшеклассника. Они били с толком, больно, били в лицо, а я всё спрашивал — за что? Один заламывал мне руки, другой бил. Потом выяснилось, что они меня спутали с Сашкой Арбузовым.

И тогда, и сейчас меня сводило с ума чувство несправедливости, ощущение какой-то глобальной, космической ошибки. Тогда, сквозь боль и кровь, мне больше всего хотелось понять — за что? Сейчас — мне хотелось просто исчезнуть. Перестать быть. Прекратить существовать. Сказать Богу — а пошёл-ка ты на хер с таким мироустройством! С меня хватит!

Я выплюнул кровь на липкий пол камеры. Опёршись здоровым коленом, попытался встать. На меня смотрели с любопытством, кое-кто улыбался. Я выпрямился, громко и неспешно начал:

Извлекли покойненько
Из петли покойника.
Стало в морге солнечно,
Гутен морген, сволочи!

В камере повисла тишина. Снаружи долетал городской шум, у кого-то заклинило сигнализацию — сирена пела на все голоса. Я откашлялся и мрачно продолжил.

Мне говорят —
Надолбы морали осиль!
— Да! Надо бы!
Но что ж вы, суки,
Врали про синь?

Серый свет,
Серый день,
Серые недели.
И на сером
Серый след
Серой акварели.

В полной тишине вынырнул Якут-Дракула, я прикрылся локтём. Он бить меня не стал, а, ухватив за шкуру, потянул в сторону окна. Окно было забрано толстой решёткой, к окну был придвинут крашенный дощатый стол. На столе, в жестяной миске желтела здоровенная дыня килограмма на четыре. Она была взрезана, две сочных дольки лежали на салфетке, третью держал в руке пожилой мужчина, почти старик, похожий на моего нью-йоркского психоаналитика Саймона. Он (старик, не Саймон) держал жёлтый полумесяц в левой руке, в правой у него был перочинный нож, которым он счищал дынные семечки. Аромат от дыни исходил сказочный. Впрочем, больше меня удивил нож, вернее, само наличие ножа в тюремной камере.

— Твои стихи? — спросил старик.

Он поднял на меня белёдые глаза. Седая шевелюра напомнила мне Ельцина. Руки в старческой гречке были небольшие, но цепкие, с короткими пальцами и ухоженными ногтями. Он аккуратно вытер лезвие ножа о салфетку.

— Не мои, — ответил я.

Старик не сводил с меня взгляд. Я отвёл глаза, посмотрел в грязное окно, на дыню, на лезвие ножа.

— Ещё знаешь? — спросил он.

Я кивнул и пожал плечами одновременно. Начал:

Кто не торгует собственной душой
При жизни баловнем не будет славы.
Как мы привыкли
Коллективом слабых
Топтать того,
Кто сильный и большой.
Мы серые,
Нас много,
Нас не счесть.

Мы ловим кайф,
 Распяв таланты,
 И жрём друг друга,
 Злобные тарантулы,
 Вопя про долг, про совесть и про честь.
 Святая простота!
 Святая Русь...
 Всё это существует лишь в помине...

Я запнулся. Дальше была пустота, дальше я не смог вспомнить ни строчки. Не смог бы вспомнить, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Что в данном случае могло оказаться не просто фигурой речи, а вполне реальной жизненной коллизией.

Старик с сожалением взглянул на меня, аккуратно срезал с кожуры кусок дыни, поддел на лезвие и отправил в рот. Зубы у него были молодые и слишком белые. Он прожевал дыню, проглотил.

— Забыл? — спросил он.

Я снова пожал плечами. Он удручённо кивнул, поддел на остриё кусочек дыни.

— Куда ж один я прусь? — старик вопросительно посмотрел на меня, хрипловато продолжил:

Расквасят морду быстро
 В кровь и слизь.
 Но за спиной моей
 Быть может
 Легче будет?
 Быть может
 И найдутся ещё люди?
 Не может быть,
 Чтoб люди не нашлись!

Он улыбнулся, но не мне, а куда-то в пространство. Съел кусочек дыни.

— Хорошо, что ты не соврал, — старик посмотрел на меня. — Про авторство.

— А то бы вы меня... — я чикнул пальцем по горлу.

— Зачем? — он простодушно удивился. — Просто ещё раз разочаровался бы в человечестве... Я знал его, Горацио, — старик подмигнул мне, погладил ладонью бок дыни. — Мы с ним чалились в Восточно-свинцовом, на Енисее. Весовой человек был. Володя Кузнец, легендарная личность. Философ...

Он по-стариковски пожевал губами, припоминая что-то.

— А что с ним... — я запнулся.

Старик покачал головой.

— Один горлохват рассказывал, встречал его в Туве. Говорил, оттуда Кузнеца напрямиком в «Сычёвку» отправили.

— «Сычёвку»?

— Психушка под Смоленском. Времена настали вегетарианские, по пятьдесят восьмой зелёнку уже не прописывали. Вот Кузнец и загремел на лечение. Знаешь, что такое пять кубов галоперидола?

Он замолчал. Провёл ладонью по лбу, словно стирая пот. Неожиданно спросил:

— Хочешь дыни? — спросил весело. — Самаркандская — чистый мёд! Я кивнул.

Он воткнул лезвие в сочный ломоть, протянул. Я осторожно снял дыню с ножа, откусил. С подбородка потекло, я откусил ещё и ещё, не обращая внимания на сладкий сок, струящийся по шее. Сок щекотливой струйкой тёк под воротник рубахи, капал на пиджак. Мне было плевать и на рубаху, и на пиджак. Да и на всё остальное — такой божественной дыни я не ел сто лет, наверное, с самого детства.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Непредсказуемость моей родины обернулась неожиданным боком — меня выпустили на следующий день. Вернули паспорт, бумажник. Больше того — мне отдали тетрадь.

Из Матросской тишины («эм-тэ-централ» на местном сленге) я ехал в консульской машине, рядом сидела строгая тётка из юридического отдела, похожая на угрюмого бобра с редкими седыми усиками над верхней губой. Я тоже был небрит, от меня воняло тюрьмой, я старался держаться подальше от юристки, вжавшись в угол салона. Она иногда косо поглядывала на меня, по большей части смотрела в окно.

Мы заехали в гостиницу за моими пожитками, тётка не отходила от меня ни на шаг. Я хотел влезть под душ, спросил её — она мрачно буркнула: «Купаться будете дома. Ваш рейс в два тридцать».

Я скомкал одежду, побросал всё в сумку. Сунул туда же бритву и зубную щётку, сверху положил чёрную тетрадь. Я собирался почистить в самолёте, но меня сморило ещё до взлёта, едва я плюхнулся в кресло и пристегнул ремень.

Я проспал весь полёт. Проспал без кошмаров и сновидений. Проснулся, когда наш «боинг» уже выпустил шасси и, описав круг над игрушечным Квинсом, бодро пошёл на посадку. Брызнула мелким серебром рябь залива, замелькали белые треугольники парусов у пирса. Я вытащил из сумки тетрадь, чтобы просто удостовериться, что она со мной...

ОБ АВТОРЕ

Валерий Бочков — известный русский и американский писатель и художник-график. автор более десяти романов и сборника рассказов, завоевавших большую читательскую аудиторию и принесших автору заслуженную популярность. Лауреат «Русской премии» и «Премии имени Эрнеста Хемингуэя».

Его писательский стиль характеризует гармоничное сочетание философской глубины и психологизма с дерзкой остросюжетностью, динамикой и ярко-фактурными образами. Но главное свойство творчества Валерия Бочкова — абсолютная и вдохновляющая свобода, поднимающая читателя над условностями и страхами.

Валерий Бочков — постоянный автор нашего журнала.

Иван ГОБЗЕВ

КАК МЕНЯ ЗАВЕЛИ

РАССКАЗ

Вот моя история.

Я стоял в парке под звёздным небом, смотрел вверх и думал о том, о сём. И вдруг заметил, что звёзды в том месте, куда был направлен мой взгляд, как-то странно мигают. Не как обычно мерцают, а будто в особом порядке, сначала одна, потом другая, обрисовывая невидимый контур.

«Инопланетяне!» — подумал я.

Это была вполне естественная мысль, потому что чем ещё может быть невидимый объект, по краям которого мигают огни? Скорее кораблём инопланетян, чем природной аномалией.

И я засобирался домой. Я почувствовал себя немного неуверенно, потому что мне казалось, что я увидел нечто такое, чего видеть был не должен.

Я вышел из парка и чуть не попал под машину, которая очень быстро пролетела по дороге прямо передо мной. Я чудом остался жив, ещё пару сантиметров и всё! Почему-то мне пришло в голову, что эти события — мигающие звёзды и автомобиль — взаимосвязаны.

Я перешёл дорогу и оказался в тёмном дворе. Во дворе было непривычно темно — ни один фонарь не работал! Это тоже показалось мне подозрительным. Тем не менее я направился через тьму напрямик к моему дому.

Вдруг с неба ударил столп яркого света. Я оказался в центре этого столпа. Подняв голову, я увидел, что он исходит из какого-то круглого объекта. В этот момент силы меня покинули — я не мог более ни пошевелиться, ни даже открыть рот, и в таком безвольном состоянии вместе со всяким сором — пустой бутылкой, двумя банками из-под

пива, несколькими окурками, целлофановым пакетом из «Дикси» и презервативом — стал подниматься вверх.

В этот момент я услышал в голове голоса.

— Лучше бы мы его задавили той машиной! Он же видел нас!

— Каждый раз давить тех, кто видит нас?

— Учитывая их количество и развитие, почему бы и нет?

— Но ты же не будешь давить муравьёв просто так?

— Здесь не просто так, он нас видел!

— Ну и что он сделает с этим?

Оппонент помолчал. Потом слабо возразил:

— Но есть же инструкция... Ладно, что будем с ним делать?

— То же, что и с другими! Мы его заведём!

Так меня завели инопланетяне.

Планета, на которую я попал, земного типа. Флора и фауна, конечно, совсем иная, но в общем по тому же принципу. Сами инопланетяне тоже не похожи на людей, но устроены аналогично — конечности, глаза, поведение, только они намного умнее и общаются с помощью телепатии. Телепатия — это очень удобно, не нужно знать какой-либо язык, потому что язык телепатии универсален. Общение происходит за счёт обмена чистыми абстракциями, которые лежат в основе всех вещей, поэтому названия вещей не нужны. Я и не знал, что способен к телепатии! Просто я вдруг стал слышать их, а они меня. Правда, на всё, что я говорил, мои хозяева реагировали одинаково:

— Что это за бессмыслица? Он слабоумный?

Но потом они разобрались, что я не слабоумный, а просто типичный представитель человечества.

Дело в том, что эта раса инопланетян очень далеко отстоит в своём развитии от людей, мы для них примерно как обезьяны для нас. Поэтому в большинстве случаев я просто не понимаю, что они мне говорят, если речь не идёт о каких-то простых вещах, вроде есть, спать и пить.

Устроили меня неплохо. Я живу в отдельном прозрачном кубе со всем необходимым. Есть там что-то вроде постели, туалета и плошки, куда накладывают еду. Иногда к моим хозяевам, паре очень добрых в общем инопланетян, приходят гости. Конечно, меня сразу им показывают, потому что живой человек — большая редкость на этой планете. Они подходят вплотную к моим стенам и долго и с любопытством меня рассматривают. Поначалу это раздражало, но потом я привык. Правда, не ко

всему. Всё же я не животное, а человек, а это звучит гордо, и мне неприятно, что меня изучают, как в зоопарке, и ждут, когда я пойду есть или в туалет, чтобы посмотреть, как это происходит у людей.

Часто, глядя на меня, они обсуждают человечество. Мне почти ничего не понятно из их слов, но то что до меня доходит, вызывает гнев. Их суждения узки и нелепы — как если бы судили о нравах и обычаях вымерших видов по одной лишь сохранившейся челюсти.

— Я полагаю, человечество обречено! — говорит один.

— Почему вы так полагаете? — спрашивает второй.

— Это очевидно. Например, этот экземпляр, — они показывают на меня, — очень тупой. Кроме того, вместе с ним мы случайно захватили с Земли кое-что.

— Что?

— Пустую бутылку, пакет из магазина «Дикси», две банки из-под крепкого пива, три окурка и презерватив. Мы провели всесторонний анализ и пришли к этому печальному выводу.

Другие покивали головами:

— Да уж, перечень артефактов более чем достаточен!

Я возмутился и закричал:

— Да вы что?! Это же смешно? И только на этом основаны ваши знания о человечестве, о его богатейшей истории и культуре, о наших великих писателях и художниках? Как вы можете?!

Они переглянулись:

— Возбуждается почему-то часто. Надо ему капли дать.

Несмотря на капли, я спустя какое-то время стал тосковать. Потому что нельзя весь день проводить в четырёх стенах и только есть и спать. Да, они мне бросали игрушки чтобы развлечь меня, но я даже не понимал, что с ними делать. Однажды они подбросили мне что-то вроде куклы гуманоида. Не знаю, на что они рассчитывали, собравшись толпой и глядя, что я предприму. Я просто сидел в апатии и молчал.

Вскоре у меня пропал аппетит, и хозяева всерьёз обеспокоились. Посовещавшись, они решили выпустить меня погулять, разумеется, на привязи, чтобы не убежал.

Оказавшись снаружи, я был потрясён. Мне открылся совершенно удивительный и незнакомый мир. Всё было непонятно, неясно зачем и к чему, ничто привычное не окружало меня и на небе было три солнца.

Я ходил и принюхивался, и даже пометил какой-то столб, потому что не в силах был больше терпеть, а инопланетяне на улице останав-

ливались и рассматривали меня. Я слышал их мысли, кто-то из них полагал, что я очень уродливый и как моим хозяевам не противно меня дома держать, другие, напротив, считали, что я милый, только надо отрезать мне уши и нос, чтобы не портили внешность.

И вдруг я увидел её. Другого человека, такого же, как и я! Её вели в отдалении куда-то на поводке, и она меня не видела.

Тут я не знаю, что со мной случилось, дальнейшее я помню как в тумане. Я вырвался и побежал за ней.

— Стой! Стой!!! — кричал я.

Она обернулась, и я увидел девушку неопишуемой красоты. На её лице появилась удивление, а потом и радость. Она хотела сделать шаг ко мне, но её дернули за ошейник и потащили прочь. Она жалобно заскулила, и я заметил синяки у неё не шее! С ней плохо обращались!

И тогда я натворил нечто такое, чего совсем не помню. Но судя по виду моих хозяев, когда я очнулся в своем кубе, я их сильно покусал.

Они стояли за прозрачной стеной и задумчиво смотрели на меня.

— Что будем делать? — спросил один. — Не должны ли мы теперь его усыпить?

— Нет, это слишком. Но мы его стерилизуем!

Я упал в обморок.

Я сидел в чём-то вроде большой левитирующей сумки. Меня собирались везти на стерилизацию, чтобы я стал спокойнее и перестал испытывать стресс.

Это было ужасно. Я забился в угол, не зная что предпринять. На самом деле я и не мог ничего предпринять. Я обращался к своим хозяевам с мольбой оставить меня в покое, а ещё лучше — вернуть меня на Землю, но они только смеялись, удивляясь тому, какой я глупый.

— Стоимость полёта на Землю, — объясняли они, — превышает твою в миллиарды раз. Ты способен понять, что это неоправданно? А во-вторых, зачем тебе туда? Опять делать чепуху? И, в-третьих, ты напрасно боишься стерилизации. Ты сам не понимаешь, о чём говоришь! Тебе станет намного лучше, вот увидишь. А если не сработает, мы с помощью генной инженерии изменим тебя так, что тебе точно станет очень хорошо!

В общем всё было бесполезно, они прислушивались ко мне столько же, сколько прислушиваются к мнению трёхлетнего ребёнка.

Но человек всегда пытается приспособиться и во всем найти хоть какой-то плюс, чтобы имело смысл дальше жить. И я уже стал плани-

ровать, что буду утешаться философией, как некогда утешался Боэций, сидя в тюрьме в ожидании казни.

Но, к счастью, утешаться философией мне не пришлось.

Меня всё никак не везли, что-то случилось, вокруг было много суеты и разговоров. Я не мог понять их смысл, они использовали слишком сложные абстракции, но я уловил, что речь идёт о какой-то катастрофе, которая хоть и не угрожает им, но является печальным событием, которое, увы, следовало ожидать, и оно каким-то образом связано со мной.

— У нас плохие новости, — сказали наконец они, вынимая меня из переноски. — Мы не будем тебя стерилизовать.

— Но это же отличные новости! — обрадовался я.

— Дело в том... — они переглянулись. — Дело в том, что как стало известно только что... Человечеству пришёл конец!

— Как конец?

— Так. Люди устроили войну и уничтожили друг друга. Никого не осталось.

— Ну, не совсем никого, — успокаивающе возразил второй, — остались бактерии...

— Да, но только те, которые способны выживать в жерлах вулканов.

— Но почему же вы не предотвратили? Вы же там были, вы всё видели и знали... — заплакал я.

— Ну как же, дорогой, — заговорили они тем особым тоном, когда я говорил глупости, — а принцип невмешательства? Нельзя нарушать саморегуляцию экосистемы!

— И что же теперь? Это значит, я последний? — и тут же исправился, — то есть, крайний?

Они закатили глаза:

— Нет, предпоследний. Так что мы подумали-подумали и решили: а не возродить ли человечество? Ведь Земля когда-нибудь снова станет пригодной для жизни... Кстати, мы же не дали тебя имя!

— В самом деле! Как его назовём?

— Давай Адам! Я считаю, это будет остроумно в данной ситуации!

— Да, я тоже думаю, что это будет остроумно!

Теперь я живу вместе с той девушкой, которую однажды встретил во время прогулки и которая чуть было не стала причиной моей стерилизации. Мы любим друг друга, и мы счастливы. Раньше-то мне ка-

залось, что я знаю, что такое любовь, так вот — я ошибался. Любовь — это нечто такое, что даже жизнь на чужой планете среди инопланетян делает прекрасной.

Нас поместили в новый куб — он намного больше предыдущего, и в нём полно всяких удивительных штук, чтобы мы с ней не скучали. Наружу нас не выпускают по соображениям безопасности — ходят слухи, что к нам проявила интерес враждебная змеевидная раса.

У нас родился сын, и наши хозяева назвали его Каин, тоже сочтя это остроумным. Но мы зовём его иначе. Скоро родится второй.

В общем, жить можно. Мешает только одно — частые гости у наших хозяев. Они собираются у стен и чего-то долго ждут, глядя на нас. Что я только им не говорил и как их не обзывал — всё бесполезно, словно я обращаюсь к пустоте.

Я знаю, чего им надо. Они хотят наших детей для разведения — по всей планете все только о том и мечтают, чтобы завести себе людей, ухаживать за ними, а потом возить на выставки диковинных животных и получать за это призы.

Мои хозяева в какой-то момент тоже заразились идеей выставок и решили нас дрессировать, но мы упёрлись и не поддавались дрессировке ни в какую. Они списали это на природную отсталость хомосапиенс и успокоились. Но в редкие минуты взаимопонимания мы могли с ними поболтать нормально. И они обещали с помощью своих биотехнологий сделать так, чтобы мы с Евой дожили до того момента, когда на Земле возродится человечество.

ОБ АВТОРЕ

Иван Гобзев родился в 1978 году в Москве. Закончил философский факультет МГУ, защитил кандидатскую диссертацию по философии. Публиковался в журналах: «Дружба Народов», «Нева», «Новая Юность», «Дети Ра», «Юность», «Зинзивер», «Москва» и др.

Работал редактором отдела спецпроектов в «Литературной России». Ныне редактор отдела сетевого журнала «Luterrатура». Читает лекции по философии, логике и концепциям современного естествознания.

Валерий БАЗАРОВ

В ГОСТЯХ У ПАУКА

*«Приходи, красотка, в гости
Мухе говорил Паук».*

Мэри Ховит

Каждый день я получаю много писем.* Электронных и старомодных, в конвертах, расцвеченных марками разных стран мира. В каждом из них история еврейской семьи, расколотой молнией судьбы на отдельные части. В каждом из них просьба о помощи, просьба разыскать близкого человека, который еще может быть жив, или его могилу, если он погиб или умер, или его потомков, если он их имел. В любом случае — это просьба восстановить распавшуюся связь времен, иногда через несколько десятилетий после случившегося...

Поэтому, читая письма, я никогда не знаю, куда позовут они меня на этот раз — в украинское местечко, затихшее перед неизбежным погромом, в Варшавское гетто, охваченное пожаром восстания или в охваченную коричневой чумой нацизма Вену. А может быть, на улицы Чикаго двадцатых годов, где дети недавних иммигрантов учились из первых рук правилам выживания?

Для меня эта история началась с появления на моем рабочем столе письма от жителя Киева Николая Мокина.

|| *...вот уже двадцать лет,— писал Николай,— я ищу своего единокровного брата. Его зовут Фред, а фамилия, если он сохранил от-*

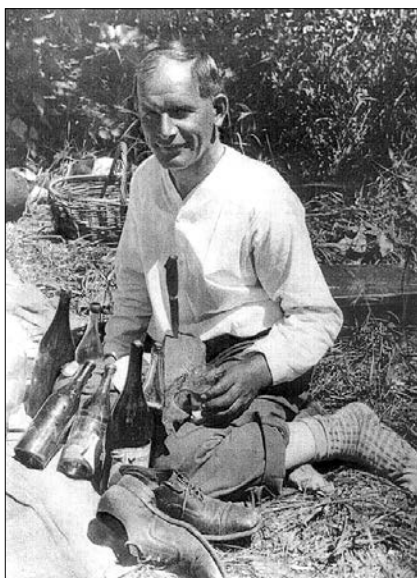
* Очерк был написан двадцать лет назад, когда я работал в ХИАСе директором Отдела поиска и семейной истории. С тех пор многое изменилось в жизни участников описываемых событий, а некоторых уже и нет среди нас. До неузнаваемости изменился и сам ХИАС.

цовскую, Мокинг. Мать Фреда — еврейка, но ее фамилию я не знаю. Фред родился в Соединенных Штатах и, если жив, то ему должно быть 70–75 лет. Его (и мой) отец, Джон Мокинг уехал в СССР в 1931 или 1932 году в качестве технического специалиста. Он закончил университет и знал несколько иностранных языков. Он работал в Семипалатинске, Петровске-Забайкальском и на Балхаше. В России он встретил мою мать и женился на ней. Я родился в 1934. В 1936 году мой отец поехал в Москву, чтобы связаться с Американским посольством и попытаться вернуться в Америку с новой семьей. Выполнить свое намерение ему не удалось, так как НКВД его уничтожило, чтобы запугать группу иностранных специалистов, которые были разочарованы в режиме и желали покинуть страну.

Джон Мокинг родился в 1890 году в Варшаве и эмигрировал в США между 1908 и 1914 годом...

Нечего говорить, письмо меня заинтересовало. Вот только скудость информации не позволяла надеяться на легкий поиск. И все же... Не стану будоражить читателя описанием гениальных догадок, за которыми следовали такие же блистательные находки. Все было гораздо проще. На поиск брата Николая Мокина ушло ровно три минуты. Дело в том, что на все пятьдесят Соединенных Штатов, которые я проверил по телефонному справочнику на Интернетe, оказалось всего три Мокинга — сам Фред, его сын Брюс и его дочь Барбара.

Братья были потрясены. Фред Мокинг недавно отметил свой восемьдесят первый год рождения. Он инженер, на пенсии. Жена умерла несколько лет назад. Свое время он проводит, занимаясь, как мы говорим, общественной работой — ведет в школе различные кружки по техническим наукам. Фред знал о том, что его отец уехал когда-то в далекую Россию и умер там. Он и понятия не имел, что у него есть русский



Джон Мокинг

брат. Действительно, русский, поскольку и сам Джон, и его вторая жена евреями не были. Но вот что любопытно — Николай всю жизнь ощущал, как он говорит, духовное родство с евреями и младшую дочь отдал в еврейскую школу. И когда сын Фреда, Брюс, отправился в Киев познакомиться с дядей, они с Сонечкой беседовали на иврите.

Николай, тоже инженер на пенсии (ну, просто клад для изучающих проблемы наследственности), знал об отце несколько больше. Он даже прислал фотографию отца, единственную, которую удалось сохранить. Все остальные фотографии и письма пришлось сжечь — в Советском Союзе было небезопасно иметь иностранца-родственника.

По рассказам матери, Николаю было только два года, когда погиб Джон Мокинг — отец разочаровался в большевиках вскоре после приезда. Их фанатизм, грубость и полное пренебрежение к основным правам человека раздражали Джона, уже привыкшего выражать свое мнение без страха. Прозрению способствовали условия жизни — особенно нестерпимые в тех дальних уголках России, куда его посылали, чтобы он и другие иностранные специалисты помогли Сталину превратить полуфеодальную страну в современную супер-державу. Джон решил вернуться в Америку. Когда в 1934 году родился Николай, Джон сказал Софии, матери Николая: «Я мечтаю вернуться вместе с вами. Хочу, чтобы Фред и Николай стали настоящими братьями».

По словам матери Николая, ее муж, который работал тогда на Балхаше, взял в марте 1936 года отпуск, но вместо Сочи поехал вместе со своим другом, тоже иностранным специалистом, словаком по национальности, в Москву. Джон хотел связаться с Американским посольством. Приехав в Москву, они остановились в гостинице. На следующий день в их номер постучались двое в штатском. Они спросили, кто из них Мокинг, Иван Николаевич. Когда Джон назвал себя, они очень вежливо сказали, что пришли за ним из Министерства, куда его срочно вызывают. Джон очень удивился, так как он никому не говорил о том, что едет в Москву, но пошел с этими людьми. Живым его больше никто не видел.

Друг Джона ждал его два дня. На третий день ему позвонили и попросили прийти в одну из больниц. Когда он пришел, его проводили в комнату, где на кровати лежал Джон Мокинг, вернее его тело. Он был мертв. Когда словак вернулся в гостиницу, ему позвонили и сказали, что такая же судьба ждет его и любого из группы иностранных специалистов, кто попытается уехать из Советского Союза. Перепу-

ганный словак вернулся на Балхаш и рассказал о случившемся жене Джона. Все ее робкие попытки узнать по официальным каналам о том, что произошло или хотя бы, где похоронен ее муж, были безрезультатны. Впрочем нет, кое-чего она добилась. Вскоре ей позвонили и «посоветовали» жить дальше, как будто в ее жизни никогда не было Джона Мокинга. Зная, где она живет, несчастная женщина так и поступила.

Прошло шестьдесят шесть лет со времени гибели Джона Мокинга. Но трагическая история человека, безжалостно стертого с лица земли, не давала мне покоя. Джон Мокинг ушел из жизни, оставив двух детей, разделенных океаном — не только в буквальном смысле, но и океаном исторических событий, в которых решалась судьба наций. Судьбы же отдельных людей подхватывались бурлящими волнами как камешки, перемешивались друг с другом и исчезали бесследно. Как проследить судьбу одного такого камешка среди миллионов ему подобных? Как вернуть Джона Мокинга из тьмы забвения?

И я сказал: Я найду, что случилось с Джоном Мокингом и отыщу тропинку к его могиле.

Откровенно говоря, я сам не ожидал от себя такой смелости. Уже давно не было в живых ни жертв, ни палачей, а архивы, хотя и приоткрывшие двери после развала Советского Союза, надежно хранят тайны подобного рода. Но отступить было поздно. И поиск начался.

Я стал думать над тем, что было известно о приезде Джона Мокинга в Америку. По словам Николая, помнившего рассказы матери, его отец приехал между 1908 и 1914 годами, завербовавшись на грузовой пароход кочегаром. При переходе через Атлантический океан с ним произошла история, точно списанная со страниц Джека Лондона или Джозефа Конрада. Однажды его заставили стоять вторую вахту — один из кочегаров заболел. Вахту в предутренние часы ненавидят моряки всего мира. Смертельно усталый Джон во время передышки прилег возле топки и... заснул. Давление в котле поднялось до опасного уровня. Неизвестно, что бы произошло, но тут его обнаружил помощник капитана. Разъяренный капитан приказал выбросить Джона за борт. Но за незадачливого кочегара вступился боцман, тоже русский.

Я знал, что пароходные манифесты включают списки членов команды, но не зная названия судна и даты прибытия, найти документ было невозможно. Как оказалось позднее, знание и того и другого мне не помогло бы никак.

Затем я подумал об отъезде Джона из Америки в 1932 году — дату я знал точно. Для отъезда ему нужен был паспорт. Я попросил Фреда Мокинга (такие запросы принимают только от родственников) написать в Госдепартамент. В это же время Николай послал запрос на последнее место работы отца. Вообще, у меня было больше надежд на Россию, где Мокинг провел последние пять лет своей жизни. Я считал, что если Джон Мокинг был убит, то в милиции должны остаться какие-то следы. Не то, чтобы я думал, что убийцу нашли или даже искали, если постановкой убийства занимались чекисты. Но хоть формальное дело должно же было остаться? Понимая, что несмотря на все изменения, обращаться в Министерство Внутренних Дел бесполезно, я стал думать, кто мне мог бы помочь связаться с милицией. И тут я вспомнил о недавнем визите в ХИАС заведующей отделом московского еженедельника «Иностранец». Я позвонил Наоми Зубковой, и она согласилась заняться расследованием.

Тем временем Фред переслал мне ответ, который он получил из Госдепартамента.

Дорогой Г-н Мокинг:

В ответ на ваш запрос от 18 февраля 2002 года о паспорте на имя вашего отца Джона Мокинга сообщаем, что среди документов за период с 1923 по 1940 г.г. мы не обнаружили записей, относящихся к Джону Мокингу.

Должен отметить, что из-за отсутствия свободного места в Архиве в середине 80-х годов Госдепартамент был вынужден уничтожить ряд документов, чтобы обеспечить хранение более поздних записей.

Поскольку тщательный поиск результатов не дал, приходится сделать вывод, что этот документ был уничтожен.

Сожалею, что не можем дать вам более удовлетворительный ответ.

С искренним уважением,

Начальник Отдела Информации Паспортного Ведомства».

Уважаемый начальник отдела информации был неправ — паспорт Джона Мокинга не сожгли. Его там не было совсем по другой причине. Но об этом позже.

Прошло два месяца, а из Москвы все не было ответа. Несколько раз я звонил Наоми, напоминая о себе, но она сухогато советовала набраться терпения.

Однако настало утро, когда, придя утром на работу, я застал короткое сообщение на автоответчике: «Позвони немедленно!». Сообщение было из Москвы от Наоми.

Я набрал номер телефона редакции «Иностранца».

То, что произошло дальше, уже случалось со мной не раз. Привыкнуть к этому нельзя. Совпадения, случайности, которые происходят настолько вовремя, что в них видишь какую-то мистику. Когда вслепую тычешь пальцем в клавиши компьютера и набираешь «Быть или не быть, вот в чем вопрос», можно, конечно, поверить в невероятное. И, скорее всего, окажется, что ваш приятель запрограммировал компьютер так, что куда бы не ткнул — получишь шекспировскую строчку.

Но тогда, кто запрограммировал вот такое?

Во-первых, Наоми рассказала мне, что все ее попытки добраться до милицевских архивов оказались бесплодными. Она уже потихоньку стала терять надежду, как однажды вечером... сидела она у себя дома и читала свежий выпуск своей же газеты «Иностранец». Перелистывала страницы, как вдруг в глаза ей бросилась знакомая фамилия. Она нашла это место и, еще не веря себе, прочла абзац с именем Джона Мокинга. Она прочла его несколько раз, чтобы убедиться, что это не галлюцинация.

Затем вернулась к началу статьи и прочла ее полностью. Статья называлась «В Москву за смертью» и была посвящена американцам, умершим в России в середине тридцатых годов. Автор статьи — Сергей Журавлев, доктор исторических наук. Среди американцев, чья смерть вызывает вопросы, Журавлев называет Джона Мокинга. Вот что он пишет:

«Не меньше вопросов вызывает смерть в Москве 12 марта 1936 45-летнего чертежника Джона Мокинга. В свидетельстве о смерти говорится, что причиной летального исхода стал «карбункул спины и сепсис». (Свидетельство о смерти № 758 от 8 апреля 1936, Кировское райбюро, ЗАГС Москвы). Мокинг прибыл в СССР в 1932 году по туристской визе, но нашел работу и решил остаться, затем даже вызвал жену с двумя детьми».

Несмотря на неточности, это был, несомненно, Джон Мокинг, которого я искал. Благодаря чудесам Интернета, уже на следующий день я разговаривал с Сергеем Журавлевым. Он охотно поделился со мной источником информации — Национальный Архив, Вашингтон, Округ Колумбия. Круг замкнулся.

По моему совету, Фред Мокинг написал запрос уже в «правильный» отдел и вскоре я получил шесть листов, относящихся к смерти Джона Мокинга.

Досье начиналось с сопроводительного письма Наркоминдела посольству Соединенных Штатов в Москве:

«Народный комиссариат по Иностранным Делах имеет честь препроводить при сем Американскому Посольству национальное Свидетельство за № 16 и свидетельство о смерти № 758 американского гражданина Джона Мокинга, умершего 12 марта, 1936.

Как сообщают подлежащие органы Союза ССР, имущество, оставшееся после умершего, находится в распоряжении жены и двух детей, проживавших совместно с гражданином Дж. Мокинг».

Хотя в письме Джон Мокинг назван американским гражданином, он им никоим образом не был. Национальный Сертификат оказался ни чем иным, как Аффидевитом, заменяющим паспорт. В этом документе, из которого можно было почерпнуть много ранее неизвестной информации, включая точную дату его отплытия из Америки на корабле Беренгария — 15 февраля 1932 года. Ясно значилось, что он «не стал гражданином Соединенных Штатов». Почему же его назвали «гражданином», по ошибке или умышленно? Давайте поразмыслим.

Поскольку Мокинг не являлся американским гражданином, формально он оставался русским подданным (он родился в Польше, которая в 1890 г. была частью Российской империи), и, следовательно, советские власти не были обязаны сообщать посольству о его смерти. Из статьи Сергея Журавлева я узнал, что власти зачастую не сообщали ничего посольству даже, если умершие имели американское гражданство. С чего бы такая забота?

Мой ответ — потому что хотели тихо закрыть дело без дальнейших вопросов и расследований. Русской жене заткнули рот быстро, но «подлежащие органы» отлично знали, что была еще и бывшая аме-

риканская жена и сын, которые могли задавать неудобные вопросы. Поэтому и поторопились власти сообщить о «естественной» причине смерти Джона Мокинга. Реакция посольства была именно такой, на которую рассчитывали «органы». Посольство предпочло «не заметить», что им послали информацию, не относящуюся к их сфере деятельности. Они просто оставили письмо без ответа, «чтобы не задеть чувства советских властей, указав им на их ошибку». Не заметили в посольстве и прямой лжи по поводу «личных вещей покойного», якобы посланных жене и двум детям. Ни в Америке, ни в России никто никаких вещей не получал.

Приведу еще один пример из статьи С.В. Журавлева, показывающий, как фатальные болезни с неизбежностью египетских казней настигали безумцев, желающих покинуть пролетарский «рай».

Американский специалист Давид Силверман прибыл в СССР в 1931 году. Он женился на русской женщине по имени Надежда, но когда его контракт закончился, ей не разрешили уехать с мужем. Находясь по разные стороны океана, они стали энергично добиваться разрешения на воссоединение. Наконец, показалось, что любовь победила — Наде разрешили уехать в Америку, Она приехала в Американское Консульство в Риге, чтобы закончить формальности и... исчезла. Позднее ее мужу сообщили, что Надежда Силверман, 19-и лет, скончалась в Рижской больнице от перитонита. Что ж, чем перитонит хуже сепсиса?

Кстати, Николай Мокин тоже получил копию свидетельства о смерти отца — из Москвы. Но вот, странно: в документе не значится причина смерти. Карбункул и сепсис — это для Американского посольства, для внутреннего употребления хватило простого факта — умер и все, а много будешь знать... Но мы с вами умеем читать между строк. И последнее. Николай получил также ответ на свой запрос с последнего места работы отца. Оказалось, что Джон Мокинг был уволен 26 марта 1936 года — через две недели после смерти, без указания причин, факт явно необычный в бюрократической кадровой системе.

По мере того, как мы узнавали все больше о Джоне Мокинге, я стал задавать себе вопрос, а как он собирался вернуться в Америку, не имея гражданства? А если он все-таки собирался это сделать, он должен был иметь какой-то официальный статус перед отъездом в Россию. В этом случае информацию следовало искать в архиве Им-

миграции и Натурализации в Вашингтоне. Я показал дело Джона Мокинга доктору Мэриан Смит, историку этого архива.

Через месяц я получил из Вашингтона большой пакет. Но прежде чем рассказать о его содержимом, я хотел бы кое-что разъяснить.

Предположим, что вы прибыли в Соединенные Штаты много лет назад, нелегально. Пожалуйста, не пугайтесь, не забудьте, что описываемые здесь события произошли около 90 лет назад, задолго до 11 сентября, и выражение «нелегальный иммигрант» не звучало так негативно, как сейчас (увы, как раз сейчас слово «нелегал» приобрело для властей преследуемых снова весьма положительное значение). Итак, вы прибыли нелегально, но прожив много лет в Америке, не совершили ничего противозаконного, наоборот, были человеком примерного поведения, много и плодотворно работали, создали семью, короче говоря, у вас появились корни. Теперь вы хотите легализовать свое положение и стать законопослушным гражданином Соединенных Штатов. В этом случае (этот закон вступил в силу в 1929 г.) вы подаете заявление в суд и, если суд устанавливает, что заявление соответствует истине, ваше прибытие в Америку считается установленным, и вам дают статус постоянного жителя. А это уже является первым шагом к получению гражданства.

В пакете, присланном мне из Вашингтона, было дело Джона Мокинга, пожелавшего легализовать свое положение. В деле было достаточно информации, чтобы воссоздать основные этапы его жизни — не без пропусков, конечно.

Джон Мокинг прибыл в Соединенные Штаты 27 октября 1913 года. В Антверпене он нанялся кочегаром на судно «Менони», идущее в Бостон — помните рассказ о том, что случилось с ним в открытом море? В Бостоне он сошел на берег и не вернулся на судно. Никто его не остановил, не спросил документы. Так началась его жизнь в Америке. Никто не знает, почему Иван Николаевич Мокин покинул Польшу, где он родился, и где жили его родители Николай Мокин и Варвара Ветвинова. Никто не знает, почему он прибыл в Америку под чужим именем — Семен Печеница. Может быть, чтобы избежать призыва в Русскую армию? Шел 1913 год, и война уже была не за горами. Осев в Америке, Джон вернулся к фамилии Мокинг. В это время ему было 23 года и на анкетный вопрос о профессии отвечает — «рабочий». Видимо, вначале он не был перегружен образованием. Одна-

ко, четыре года спустя Джон Мокинг становится членом Общества Американских Инженеров, еще до того, как он заканчивает занятия в университете в Вальпарайзо, штат Индиана. С этого человека Джек Лондон мог бы писать своего Мартина Идена. Друзья говорили о Джоне как о начитанном, образованном человеке, он знал несколько иностранных языков.

В университете Джон встретил Иду Ямпольскую. Ида была дочерью еврейских иммигрантов из Польши. Молодые люди поженились. Ида была на восемь лет моложе мужа. В 1921 году, когда они уже переехали в Чикаго, у них родился сын Фред. Джон работает инженером в различных фирмах. Отовсюду, где он работал, ему давали прекрасные отзывы — «способный и очень ответственный работник». Но приближались 30-е, а вместе с ними и Великая Депрессия. Джон Мокинг потерял работу. Увы, первыми теряли работу иммигранты. Вот тогда-то Джон и решил легализовать свое положение — после 17 лет жизни в Америке.

В этот тяжелый для него момент — больше года Джон был без работы — в игру вступает АМТОРГ, советская организация, занимавшаяся среди прочих дел вербовкой специалистов для работы в Советском Союзе. Рабочий контракт на год, солидная зарплата, кто бы отказался от такого предложения? Чтобы обеспечить возможность возвращения, Джон обращается и получает разрешение на повторный въезд в Соединенные Штаты. Такое разрешение позволяет постоянным жителям страны беспрепятственно покидать и возвращаться в Америку. Но такое разрешение действительно в течение года. Затем оно теряет силу. Но к этому времени Джон встретил Софию и решил остаться. Чем это закончилось, мы уже знаем.

Оставалось выяснить только одно — что случилось с телом Джона Мокинга, где его могила. Этого никто не знал — ни в Америке, ни в России. Мы обсуждали этот вопрос много раз с Николаем, и однажды он предположил, что тело его отца было кремировано. Это было похоже на правду, особенно, если шла речь о сокрытии следов. Но в то время в Москве был только один крематорий (помните у Ильфа и Петрова — «наш советский колумбарий») — Донской. Его создание привнесло некоторое возбуждение в жизнь московских граждан, но для властей это было удобное место, где бесследно исчезали жертвы политических чисток.

По моей просьбе Сергей Журавлев проверил эту догадку. Вот его письмо.

«Дорогой Валерий,

Как я и обещал, я провел поиск сведений о Джоне Мокинге в архиве Донского крематория. В соответствии с официальными записями в алфавитной книге кремированных, страницы 62–83 за март 1936 года, его тело было кремировано за № 68932. Поскольку урна с прахом не была востребована родственниками в течение года, она была захоронена в общей могиле № 1 Донского кладбища. Я был на этом месте и оставил там цветы. Можно установить табличку с его именем возле могилы. Там уже немало подобных табличек. В основном здесь похоронены жертвы больших чисток».

Это был последний штрих. Жизнь и смерть Джона Мокинга перестала быть тайной для его детей.

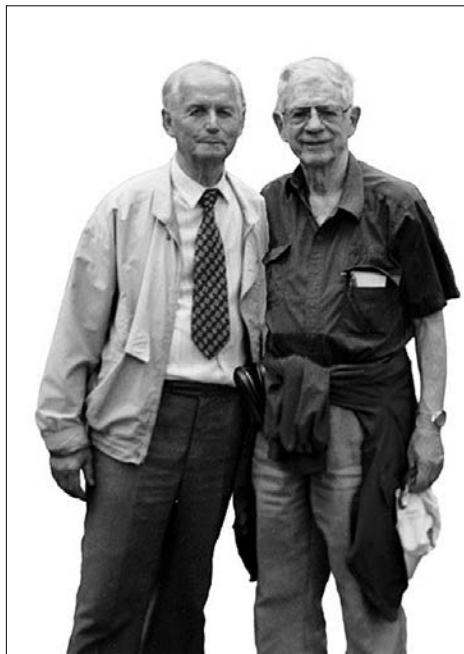
Но осталось еще кое-что требующее объяснений. Это жизнь, страдания и смерть тысяч американцев, безжалостно убитых в России. Никто не спросил у Американского правительства, что оно сделало, чтобы узнать о судьбах своих граждан, исчезнувших в дымах строительных площадок России. Никто не спросил у правительства Советского Союза, что оно сделало с теми, кто в тяжелейших условиях работал, отдавая свой талант, свой опыт, свое знание лучшей в мире технологии для превращения отсталой страны в промышленно развитое современное государство.

Может быть, почувствовав, что массовые убийства сходят ему с рук, Сталин легко решился на уничтожение 27 тысяч польских офицеров в 1939 году. Большевики были тогда союзниками Гитлера. После войны западные демократии предпочли забыть о Катыни. Понадобилось еще 60 лет, пока настойчивость Польского правительства и мировое общественное мнение не заставили Горбачева признать ответственность коммунистов за это преступление.

...Вся Америка отмечает печальные годовщины трагедии 9/11. А ведь количество американцев, умерших в России, либо потому, что им не разрешили вернуться, либо были убиты, либо замучены в ГУЛАГе, возможно во много раз превышает число погребенных под развалинами башен. Разве имеет значение, что тела их не лежат в одной братской могиле, а разбросаны по необъятным просторам России

Николай Мокин и Фред Мокинг —
братья, увидевшие друг друга в первый раз

от Донского крематория до Колымы? Дети и внуки этих людей прожили свои жизни, не зная, как умерли их близкие и где они похоронены. Те же, кто как Николай Мокин родились в России, всю жизнь скрывали правду о своем рождении. Теперь они стараются восстановить прошлое. История Джона Мокинга показывает — люди не исчезают бесследно. Пора задавать вопросы — в обеих странах. Начать никогда не поздно.



А тем временем, далекий от всех политических наслоений этой драмы, Фред Мокинг не терял времени. На восемьдесят втором году жизни он погрузился в изучение русского языка. И поехал. Так впервые встретились братья — над могилой отца, которого при жизни им не довелось узнать.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

О том, что в тридцатые годы в Советском Союзе работали американские технические специалисты, знают многие. Далеко не так широко известен масштаб этого явления. В ходе работы над материалами о Джоне Мокинге я узнал о фактах, которыми хотел бы поделиться с читателями.

В конце 20-х — начале 30-х годов в Соединенных Штатах разразилась Великая Депрессия. Лишенные возможности найти работу, многие высококвалифицированные инженеры и рабочие поехали из Соединенных Штатов в Россию, принося с собой на строительные площадки заводов, дорог, мостов, зданий по всей огромной территории России невиданную там до тех пор технологию. До сих пор Рос-

сия отрицает свою зависимость от капиталистов, а Америка не хочет признаться в своем участии в построении советской промышленной мощи.

Тем, кто простаивал в очередях за благотворительным супом, советские гарантии всеобщей занятости казались голосом с небес. До какого отчаянья дошли люди, говорит количество заявлений на выезд в Россию, полученных Амторгом в 1931 году — сто тысяч. К этому времени многие американцы, уже имевшие «советский опыт», пытались сообщить о том, что ожидает желающих поработать с большевиками. Однако их мнение очень мало влияло на решение отчаявшихся американцев: *«Мы пытаемся предупредить о трудностях, которые ожидают их в России, но они очень подозрительно относятся к таким предупреждениям, говоря, что никакие русские трудности не могут сравниться с горечью американской безработицы и ограниченный рацион работающего лучше бесплатного куска хлеба, полученного от Армии Спасения»*. Еще один американец признался в 1931 году: *«Мне наплевать на политику. Единственное, что мне нужно — это работа и трехразовое питание»*.

Первую часть обещания большевики выполнили полностью. Все, кто приехал, были обеспечены работой. И практически все они очень быстро поняли, что совершили роковую ошибку. Несмотря на то, что статус иностранных специалистов давал им доступ к лучшему питанию и жилищным условиям по сравнению с местным населением, это привилегированное положение было намного ниже уровня, к которому они привыкли в Америке. Один из них писал, что они живут «как полуголодные животные». Другой сообщил в Государственный Департамент, что «за последние два месяца семеро американцев умерло от тифа». Неудивительно, если вспомнить, что в то время в России за пределами больших городов не существовала канализация.

Разочарование распространялось из дома на рабочие места. Американцы чувствовали, что их квалификация и знания не только не используются как нужно, но зачастую их предложения по улучшению работы встречаются в штыки. По существу, типичная ситуация янки при дворе короля Артура, когда туземцы всячески противились техническим новшествам, нарушавшим их привычный допотопный уклад. Прогресс шел медленно и обходился очень дорого. Но он шел.

Усилиями американцев и местных энтузиастов новые навыки постепенно из исключений становились правилами, внедрялись, становились привычными. Многие предприятия, созданные с помощью американцев, могли использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Горьковский автозавод мог выпускать танки, пушечные лафеты, детали самолетов. Магнитогорск был построен как составная часть тяжелой промышленности за Уралом и в Сибири, недостижимой для любого агрессора, способной снабжать страну вооружением в любых количествах. Промышленность, расположенная вдали от фронтов, сыграла огромную роль в отпоре, который получили немцы во время Второй мировой войны. Правда, та же промышленность снабжала стратегическими материалами гитлеровские полчища, топтавшие Европу, вплоть до 22 июня 1941 года.

Многие американцы, прибывшие по контракту, сумели, отработав срок (обычно от одного до трех лет) вернуться в Соединенные Штаты. Это то, что ожидали инженеры, подписавшие контракт с Амторгом. Увы, большинство из них оказались сметены жестокими чистками, не щадившими ни граждан, ни иностранцев. Именно здесь осуществилось то равенство, о котором так оглушительно трубили коммунисты — равенство не труда и вознаграждения, а равенство произвола, рабского труда и казней.

В 1937 всем американцам приказали выехать в течение 48 часов. Альтернатива — принятие советского гражданства. Попробуй за 48 часов добраться до границы из какой-нибудь русской глухомани. А у многих были русские жены и дети. Воспользоваться этим шансом на спасение сумели немногие. Остальные, обменяв паспорта, стали легкой добычей чекистов. Для начала их полностью лишили связи с бывшей родиной. На Горьковском автозаводе американским рабочим сообщили, что за письмо, отправленное домой в Штаты, виновные отправятся в тюрьму на 10 лет. Лишь немногим счастливым удалось уцелеть во время войны, и считанные люди добрались до дома после ее окончания. Многие — сколько их, неизвестно, — те, кто получил Советское гражданство, не желая покидать свои русские семьи, ушли на фронт и погибли с оружием в руках, защищая не ненавистный строй, а цивилизацию, в том числе и своих соотечественников-американцев.

Не существует сколько-нибудь надежных цифр, говорящих, сколько американцев уехало в Россию, сколько вернулось и сколько погиб-

ло, пав жертвами безжалостного режима. Но даже самые осторожные подсчеты говорят о многих тысячах убитых, умерших и пропавших без вести американских граждан.

Я знаю сына такого американца, погибшего в 1941 году, сражаясь с фашистами. Моррису Гершману, которого привезли в Россию ребенком, понадобилось 63 года, чтобы добраться домой в Америку. Двадцать четыре из них он провел в ГУЛАГе — за то, что он — американец. Остальные годы он потратил, доказывая Советским властям, что как американец, он должен ехать домой, в Штаты.

ОБ АВТОРЕ

***Валерий Базаров** родился в 1942 году в Алма-Ате. Вырос в Одессе. Окончил Одесский государственный университет. Был учителем английского языка.*

В США с 1988 года и с того же года работал в ХИАСе. Руководил отделом поиска и истории семей, и в свободное (равно как и в несвободное) время писал, вернее, описывал результаты своей работы. Печатается в русскоязычной и англоязычной прессе, в журнале по еврейской генеалогии Avotayni, выступает на конференциях. Основная тема его многочисленных статей определена работой — поиск и воссоединение еврейских семей, разъединенных порой десятилетиями.

Валерий Базаров пишет и публикует стихи.

В 2013 году вышел на пенсию и переехал в Калифорнию.

Виктор ФЕТ
СТИХИ

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ В КРЫМУ
(наброски к поэме)

* * *

Сквозь поросль нового посева
мой правнук, может быть, узрит
клад, что между корней зарыт
давно засохнувшего древа
познания. Его плоды
рассыпались безвкусной пылью,
поражены сухой гнилью.
Но сохраняются следы,
как на поверхности слюды:
следы, описанные мною
в союзе с памятью земною.

Не дух, но плоть; не огонь, но слово;
не бесконечность дней, но миг,
вскипевший в строках древних книг
в процессе времени земного,
мною узнан и поставлен рядом.
Иным умом и новым взглядом,
не замедляя свой полёт,
меня мой правнук превзойдёт,
сто лет спустя. Быть по сему:
Всё завершается в Крыму.

* * *

Всё начинается в Крыму,
где древнегреческие боги
стоят по краешку дороги
и вглядываются во тьму.

Они из камня и из глины,
разрозненной величины,
и в наши были и былины
по-прежнему вовлечены,

Всё начинается в строке,
которая ещё не скрыта
между молекул алфавита
на незнакомом языке.

Быть может, время есть тот склад,
где счёт ведется нужным звукам,
когда выходит срок наукам,
и мы выходим в дивный сад.

Так вот в чём смысл и лет, и света,
дней очерёдности; так вот
зачем волна о берег бьёт,
жемчужной пеною одета.

* * *

Так славно понимать и странно,
что в следующие века
нам стать героями романа
в стихах, а может, и венка
сонетов скучных. Так цветка,
зажатого в страницах тома,
не сохраняются окрас

и запах. Но, возможно, это
неважно для грядущих рас,
не различающих ни цвета,
ни запаха.

* * *

Когда-то, дома,
лет девяти, моим примером,
моим Руссо, моим Вольтером
был Петр Семёнович Паллас.
Уже старик, за шестьдесят,
он брал в экскурсию ребят
за ящерицами, червями,
бродя меж пыльными камнями
у старой крепости в Крыму.
Первопроходец наших стран,
Гомер Сибири и Булгара,
Орфей, пришедший из Тартара!
Я жадно следовал ему
сквозь букв готических туман
екатерининской печати;
всё шло мне впрок, всё было кстати.

* * *

Мы двигались на рубеже
своей империи и мира,
но кантемирова сатира
была написана уже.
Третьяковский дал нам слог;
фраз кристаллические друзья
растили немцы да французы—
а Ломоносов дерзко смог
презреть умом земные узы...

* * *

Малозаметные дороги,
от судеб мира далеки,
питают наши каталоги
и заполняют дневники.

Былые формулы забыты.
На диком и прекрасном берегу
растут иные алфавиты,
что начитаются с омеги.

Я словно сплю, и в этом сне
мне видны (и не только мне)
судьба и сущность всех событий,
что заполняют бытиё,
весь шифр переплетённых нитей,
тончайшее златошитьё.
Согласно плану моему,
всё начинается в Крыму...

* * *

Мы видим, что его рука
металась по листу тревожно,
и часто было невозможно
прочесть весь текст наверняка.

Но записи не уцелели.
Дом был сожжён. Сад был заброшен.
Сюда захаживал Волошин,
и сохранились акварели.

Апрель-май 2021

НОВЫЙ ПРОЕКТ Д-РА КУЛАКОВА

Есть у меня харизма,
я свой в любой стране;
марксизма-ленинизма
давно не надо мне.

В женевских штольнях ЦЕРНа
я обитать готов,
где пролита цистерна
постдоковских потов,

где физики не шутят,
а изменяют мир,
где черти воду мутят
в пределах чёрных дыр,

где возле русла Роны
подземною трубой
адронов эскадроны
летят в последний бой.

Есть у меня частица,
открытая в Перми:
её не знал Капица,
её не знал Ферми.

Её хранил Минатом
в советские года,
я заплатил ребятам
и взял её сюда.

В труде благоговейном
я радостно солью
Эйнштейна с Франкенштейном
в единую струю.

Пущу мою частицу,
послушную рабу,
летучую, как птицу,
в швейцарскую трубу!

Лети, моя частица,
продли блаженный миг!
Пусть в водах отразится
сердитый Божий лик.

По подземельям ЦЕРНа
пройдет святая дрожь —
ни Цюриха, ни Берна
на карте не найдёшь.

Гуд бай, дымы отечеств!
я вглядываюсь в даль,
грядущих человечеств
мне, может быть, и жаль,

но свет Большого Взрыва
влечёт меня сильнее
прощального призыва
береговых огней.

А может быть, не стоит
испытывать судьбу?
пускай безумцы строят
ненужную трубу.

Пока не все открыты
частицы и поля,
пока ещё с орбиты
не струнулась Земля,

пока моя частица
в кармане у меня,
пускай ещё продлится
очарованье дня,

где, солнцем осиян
над пеленой тумана,
вздывается Монблан
над гладью Лак-Лемана.

2008–2010

МАТЕРИЯ

На краю аэродрома,
ойкумены на краю,
я из молнии и грома
тку материю свою,
из простого палиндрома
строчки ровные крою.

Я ещё и шью немного:
разложу свою треногу,
вспыхнет магний, грянет глянец,
в фокус глянет иностранец.
От овального мелка
след останется слегка.

Наметаю не спеша
всё, в чём держится душа.
Все стежки пересчитаю,
узелочек завяжу,
на катушку намотаю
всё, чего ещё не знаю,
всё, чем вчуже дорожу.

ЕВГЕНИЮ РЕЙНУ,*

одному из «ахматовской четвёрки»

О чём лепечете вы, бывшие витии,
Куда вас привела имперская стезя?
России больше нет. Нет прошлого России.
И будущего нет. И быть ему нельзя.

Мицкевич вам писал, две сотни лет назад:
Протрите взгляд и сохраните честь.
Но вы замкнули слух. И вот — дорога в ад
Открыта для страны — палаты номер шесть.

Вы предали ее — Ахматову свою,
Вчера ещё могли спасти вы ваши души,
Но вам опять нужна одна шестая суши,
И я бесовские личины узнаю.

Пока ещё перо сжимается в руке,
Пока толпитесь вы у дьявольского трона,
Я проклинаю вас на русском языке.
Мы сохраним его в руинах Вавилона.

4 марта 2022

ОБ АВТОРЕ

***Виктор Фет** — поэт, биолог (1955 г.р.). Окончил Новосибирский государственный университет (1976), аспирантуру в 1984. До 1987 года работал в заповедниках Средней Азии, с 1988 — в университетах Северной Америки. Специалист по систематике и эволюции скорпио-*

* Евгений Рейн подписал «Обращение писателей России по поводу специальной операции нашей армии в Донбассе и на территории Украины»

нов. Преподаёт биологию в Университете Маршалла (Хантингтон, Западная Виргиния).

Стихи публиковались в периодике США, Германии, России, в основном в журналах «Литературный европеец» и «Мосты» (Франкфурт), в литературных ежегодниках «Встречи» и «Побережье» (Филадельфия), «Альманахе Поэзии» (Сан-Хосе), «Зеркало» (Лос-Анджелес), в ежегодном альманахе НГУ «К востоку от солнца».

Корреспондент журнала «Литературный европеец» в США.

Один из авторов антологии «Общая тетрадь. Из современной русской поэзии Северной Америки» (М., 2007).

Автор книг «Под стеклом» (2000), «Многое неясно» (2004), «Отблеск» (2008), «Известное немногим» (2013).

Первым (1982) перевёл на русский язык поэму Л.Кэрролла «Охота на Снарка» (опубликована в 2001 г.). Переводчик стихов Роальда Хоффманна.

Стипендиат международного Хоторнденского фонда литераторов (Шотландия, 2001). Основатель студенческого театра «Феномен» (НГУ, 1975–1976).

ВОЛШЕБНЫЙ ПОМОЩНИК И НАУЧНЫЙ КОММУНИЗМ

Чудеса — составная часть моей жизни. Всякий раз, когда мне необходим ответ на серьёзный вопрос, появляется нужная книжка или человек, который даёт ответ или подсказывает, где его искать. Или легко находит выход там, где я видела глухую стену. Так, случайно, мимоходом.

Какой-то период моей жизни эту роль Волшебного Помощника регулярно выполняла Наталья Марковна Ботвинник, приятельница моих родителей, занимавшая по возрасту промежуточное звено между нами. Она преподавала классическую литературу и языки в Ленинградском университете, где я училась на вечернем отделении факультета русской филологии.

Я искала приработков, чтобы летом поехать в Среднюю Азию. И всё не находилось ничего. Случайно, на Невском, мне встретилась Н.М. и сказала: «Кстати, не хотите подзаработать? Мои знакомые ищут репетитора по русскому языку для дочки».

Мне надо было срочно отпечатать работу, а машинки не было. Случайно, на Невском, мне встретилась Н.М. и сказала: «Кстати, вам не нужна печатная машинка? У нас оказалась одна лишняя — приятель отдал».

Одно время я работала дворником при детской поликлинике, к которой был приписан сын Н. М. Для того, чтобы попасть к специалисту, надо было с утра успеть взять номерок. И родители, а чаще бабушки и дедушки, приходили в поликлинический двор затемно и мёрзли пару часов, чтобы оказаться первыми у окошечка регистратуры.

А кто встаёт раньше дворника? Никто. Так что, когда Ромке, сыну Н.М., нужен был ЛОР, я брала им этот номерок, потом из телефона-автомата звонила Н.М., и они приходили как белые люди, к приёму и брали у меня в дворницкой номерок. Было приятно, что я могу хоть мелочью быть полезной.

В 1979 году я подала документы в ОВИР, на выезд в Израиль. При подаче надо было указать своё место работы или учёбы. Я указала место тогдашней работы (некую контору, где я работала уборщицей), а из университета ушла просто, без объяснений.

В январе 1980 я получила отказ — начался Афганистан, СССР прекращал международную торговлю своими евреями. Формулировка отказа была такой: «Ваш отъезд противоречит интересам СССР». Я вышла из ОВИРа с ощущением своей исключительной значительности.

Ну, раз так, надо восстанавливаться в университете.

Совершенно случайно Н.М. зашла в деканат, попав прямо на такой разговор: «Нет, Разумовскую восстанавливать нельзя. Вероятно, она собиралась в Израиль и потому забрала документы». Глазом не моргнув, Н.М. вскричала: «Что вы? Какой Израиль?! У девочки — личная драма! Один офицер её соблазнил, увёз во Владивосток, а там бросил! Она пыталась покончить собой — из петли вынимали!»

Когда я пришла в деканат за ответом, ко мне бросились все административные дамы. Они смотрели на меня нежно, жали мне руки, поздравляли с восстановлением, уверяли, что я — молода и моя жизнь ещё только начинается... Я совершенно ничего не понимала — Н.М. мне рассказала эту историю только несколько лет спустя.

И вот подошло время последних университетских экзаменов. Я всё сдала, дипломная моя работа была защищена с блеском и рекомендована к печати. Остался один только государственный экзамен по Научному Коммунизму.

Надо признаться, что, перейдя на вечернее отделение, я совершенно обнаглела. Стипендия мне была уже не нужна, так что я не ходила ни на какие лекции по идеологическим дисциплинам, а когда подходило время экзамена, просто клала зачётку на стол преподавателю и говорила: «Мне нужна тройка». Экзаменаторы подмахивали подпись — им же хлопот меньше — и всё. Так я до сих пор ничего не знаю о диамате, истмате и уж не помню, что там ещё такое изучали.

Но за всё в жизни надо платить. Годы неупражнения мозга в этой сфере подвели меня ко времени, когда надо было сдавать Научный Коммунизм. Честные попытки вчитаться в текст учебника и что-то запомнить обернулись полным фиаско — к концу страницы я полностью теряла логическую связь с её началом.

Я пришла к родителям и объявила, что диплома не будет — я не в состоянии выучить Научный Коммунизм. Папа на меня очень рассердился.

— Что за безволие такое? Не терять же из-за этой ерунды диплом! Сядь, выучи, сдай — на другой день всё забудешь!

— Я пробовала. Не могу.

Папа сказал:

— Дай сюда учебник. Я тебе сейчас краткий конспект составлю.

Папа придвинул к себе пачку бумаги и решительно открыл красненькую книжечку учебника. А я пила чай и смотрела на него с интересом. Прошло полчаса. Папа зевнул. Потом ещё и ещё. Потом сказал:

— Я, пожалуй, пойду вздремну немного...

Больше со мной о Научном Коммунизме не заговаривали. Я веселилась в дружеских компаниях, пила кофе в «Сайгоне», об экзамене старалась не думать.

Наступил день экзамена. До сих пор не знаю, что меня толкнуло туда вообще пойти, в этом не было ни логики, ни смысла. Студенты толпились перед дверями аудитории — зелёные, с мешками под глазами, судорожно листали конспекты и учебники, а я стояла просто так, с высокомерной улыбкой отличницы. Вышедшие из зала, где проходил экзамен, говорили, что списать нет никакой возможности: за столом комиссии — двенадцать экзаменаторов — вся кафедра Научного Коммунизма, а готовятся студенты за одним единственным столиком, стоящим в центре.

Вдруг из экзаменационного зала вышла Н. М. Увидела меня, спросила:

— А вы что тут делаете?

— Экзамен пришла сдавать... А вы?..

— Преподавателей университета обязуют помогать на государственных экзаменах. Вы какой билет знаете?

— Никакой...

— Понятно.

Н.М. вернулась в аудиторию, а я всё ломаю голову, когда же мне туда сунуться, чтобы получить свою двойку и свалить.

Н.М. вышла вторично и громко сказала мне официальным противным голосом:

— Разумовская! Пройдите со мной, нальёте воду в вазы для цветов.

Я пошла за ней, недоумевая. За углом Н.М. сунула мне листочек.

— Здесь три вопроса семнадцатого билета. Идите в читальный зал, выучите — приходите.

— А если этот билет возьмут?

— Не возьмут, я его в сумочку спрятала.

Обалдевшая, я пошла в читальный зал.

Отвлекусь, чтобы рассказать здесь одну историю. В какой-то момент некто бдительный обнаружил, что там нет портретов основоположников. В читальном зале филологического факультета университета им. А. А. Жданова — какой позор!

Начальство перепугалось, и портреты немедленно повесили. В центре, понятно, Ленин. Справа — Энгельс. Слева ... — тоже Энгельс, в другом ракурсе. Друзья мне не верили, уверяли, что я всё это выдумала, и я приводила их на экскурсию. Так эта красота провисела несколько дней, пока не спохватились и дубль Энгельса не убрали. А Маркса так и не повесили. Каждый раз, глядя на сиротливый гвоздик слева от Ильича, я давилась хохотом.

Так вот, выучила я первый вопрос билета. Выучила второй. Чувствую, не могу больше — тошнота подступает. Пошла сдавать.

Вхожу в аудиторию — да-а... Столы экзаменаторов стоят буквой «п» и торжественно затянуты зелёным плюшем. На столах равномерно расставлены букеты. Экзаменаторы все в тёмных костюмах, белых рубашках, при галстуках.

Один стол для готовящихся и ещё один, на котором разложены билеты. Задача Н.М. записать фамилию студента и номер выбранного им билета. Подхожу я к столику и думаю, где же он — мой семнадцатый-то? Наверно тот, что поближе ко мне. Потянула я его, а Н.М. как зашипит злобно:

— Это не ваш билет. Вот — ваш.

И даёт мне его.

Ну, пошла я готовиться. А чего мне сидеть, время тратить? Свернула прямо к экзаменаторам.

— Вы что, без подготовки будете отвечать?

— Да.

Отбарбанила я первые два вопроса, глядя на свои туфли. Вижу краем глаза, вся комиссия счастливо кивает на каждое моё слово.

— А третьего вопроса я не знаю.

— Ну, что вы! Вы так прекрасно отвечали! Давайте, мы вам зададим дополнительный вопрос — на пятёрку?

— Не-е-ет! Не надо!

Схватила я свою зачётку и, ещё не веря произошедшему, помчалась к друзьям — отмечать. По дороге позвонила родителям.

— Провал?

— Четвёрка!

Потом Н. М. мне сказала:

— Таня, надо быть полной кретинкой, чтобы в такой ситуации не сдать на пять!

— Да зачем мне эта пятёрка?

Так я получила диплом.

Не могу не добавить, что, вдохновенно проворачивая эту авантюру, Наталья Марковна серьёзно рисковала. Поймай её на этом, она потеряла бы работу — с волчьим билетом.

И так она была на кафедре белой вороной: еврейка, дочь бывшего лагерника, наделённая живым умом и острым языком, которые многим не по вкусу...

КАК ЧУТЬ БЫЛО НЕ БЫЛ СОРВАН БАЛЕТ «ДОН КИХОТ»

Жил в Ленинграде необычный человек. Звали его Яков Израилевич Найшулер, известный как «дядя Яша». Миллионы зрителей видели его в сотнях фильмов, но при этом никто его не знал, на улицах не останавливал, автографов не просил...

Яков Израилевич заведовал всеми конюшнями города. Он приводил, когда было нужно, лошадей на Ленфильм, там его переодевали в «ваньку» или жокея, или конюха. Он снимался в эпизодах, где-нибудь на облучке или в конюшне, обихаживал своих четвероногих питомцев во время съёмок и учил актёров обращаться с животными.

Моя подруга Алёнка училась в школе при Академии художеств, и в старших классах у них была практика по классу рисунка в зоопарке. Там она познакомилась с Яковом Израилевичем, который на детской площадке распорядился пони, запряжёнными в тележки.

Алёнка с ним подружилась, и Яков Израилевич пригласил её и меня, за компанию, проехаться верхом по городу, когда он поведёт лошадь и ослика в Мариинский театр, на балет «Дон Кихот».

Мы встретились незадолго до начала спектакля. Алёнка залезла на «Росинанта», а я — на ослика Санчо Пансы, и по Адмиралтейскому проспекту, мимо Исаакия, по набережной Мойки мы медленным шагом направились к Мариинке. Яков Израилевич, маленький, сухонький, седой, был уже переодет в испанский костюм. Он вёл под уздцы коня и ослика, и все вместе мы, конечно, представляли занятную группу.

Для себя я уяснила, что езда на осле — ужасно неудобная штука! Сидишь как на бочонке, врастопырку, да еще и ноги надо задирать, чтобы не шкрябать каблуками по асфальту. Но всё равно поездка была восхитительной! Не каждому довелось проехать на ослике по самому центру Северной столицы, да ещё во время белых ночей, когда гранит набережных бережёт дневное тепло, а длинная-предлинная верховая тень сопровождает тебя всю дорогу, избегая на стены дворцов или изгибаясь на горбатых мостах.

В Мариинку мы вошли через служебный вход. Прозвенели звонки на первое отделение. Яков Израилевич повёл коня и осла за кулисы, а мы с Алёнкой тихонечко пошли за ним. Дон Кихот, удлинённый высоким шлемом и котурнами, взгромоздился на Росинанта, Санчо Панса — на ослика. В нужный момент Яков Израилевич вывел под уздцы на сцену обоих четвероногих вместе с всадниками, сделал широкий круг и увёл их за кулисы. Там артисты слезли, а мы всей компанией отправились в отведённое помещение ждать второго выхода в начале второго отделения. Заодно, я, с интересом оглядываясь вокруг — первый раз за кулисами Мариинки! — отметила, что балерины вблизи — совсем не те волшебные феи, какими их видишь из зала. Мускулатура как скрученные верёвки, выпирающие сквозь трико рёбра, торчащие ключицы, запавшие щёки. Грубый сценический макияж — вокруг глаз нарисованы огромные синие круги, чтобы и с галёрки было видно. И острый, довлеющий над всем запах пота. Я тогда впервые поняла, какой это тяжёлый труд — балет.

Ожидая второго выхода, мы разговаривали. Яков Израилевич рассказал, что «Росинант» — старый цирковой конь, списанный по возрасту и получивший новую профессию: выходит на сцену в этом балете и ещё в «Князе Игоре». Я заговорила о джигитовке, стала восхищаться виртуозным мастерством джигитов, которое видела в фильмах. Вдохновленный присутствием двух молодых барышень, Яков Израилевич заявил, что он и сам в молодости занимался джигитовкой, да и сейчас ещё не всё забыл.

И тут же, ловко вскочив на коня, стал демонстрировать свое искусство: падал справа, слева, вскакивал в седло обратно, пролез под брюхом удивленного Росинанта...

Мы с Алёнкой восхищались и аплодировали. Вдруг в помещение ворвался разъяренный потный человек и заорал:

— Вы где?! Через минуту ваш выход!!!

Оказалось, за джигитовкой мы прослушали все звонки. Вместе с конём и осликом мы помчались по огромным коридорам к сцене. Дон Кихот стал неуклюже влезать на Росинанта, подгоняемый криками со всех сторон, но... было уже поздно! Музыкальный момент, когда должен был быть выезд на сцену, был пропущен. Тогда распорядитель, сидящий за пультом, с мигающими лампочками, дал какой-то сигнал в оркестр... и впервые, со времени написания балета Людвигом Минкусом, отрывок был повторён — дирижер не сплеховал.

Но тут перенервничавший Дон Кихот дает коню шпоры. Конь вырывает уздечку из рук Якова Израилевича и скачет на сцену. На сцене конь вспомнил своё цирковое прошлое и стал не просто скакать, а пританцовывать. От него отпрыгивают перепуганные балерины, делая вид — вот она балетная школа! — что они совершают какие-то красивые па. Дон Кихот мотается на коне, истерически вцепившись в гриву, и ясно, что он сейчас грохнется.

Тогда Яков Израилевич надвигает поплотнее на лоб свою испанскую шляпу и решительно бросается на сцену — ловить Росинанта. Причём он тоже помнил, что идёт балет, зал полон зрителей, поэтому, несясь за конём огромными прыжками, он руками делает какие-то взмахи — вроде бы так положено по замыслу. Поймал уздечку, вывел коня со сцены. Бедный Дон Кихот сполз с Росинанта пузом и сел на пол. Маленький Яков Израилевич налетел на него и выговорил всё, что он думает о кретинах, которые, не умея сесть на коня, дают животному шпоры!..

Думаю, такого балета в знаменитом Мариинском театре не было никогда!

САМИЗДАТ

Учась на вечернем отделении ЛГУ, я два года подряд работала дворником. Почему? Потому что дворнику давали ведомственную площадь, а я, по вредности характера, ушла из родительского дома в самостоятельную жизнь.

Дворницкая моя была в дивном месте, на Фонтанке, напротив квартиры Муравьёвых, рядом с Аничковым мостом. Прилипала она одной стеной к торцу Шереметевского дворца и относилась к детской поликлинике, расположенной в глубине двора.

В одной из трёх комнат моей шикарной подвальной дворницкой стоял кабинетный рояль, оставшийся от предыдущих дворников-музыкантов, он не влез в их новое место работы и остался у меня вплоть до их отбытия за кордон. На этом рояле играли все, кто хоть как-то умел трогать клавиши, и вообще у меня постоянно были гости: всякий, кто проходил по Невскому, забегал на чаёк — а кто же из ленинградцев не проходит раз в день по Невскому?

Этот временной кусок моей жизни был плотно набит людьми и событиями, как это бывает в двадцать лет, но я расскажу только одну историю.

Дело было зимой. В дворницкую ввалилась очередная компания друзей, и я выскочила в магазин за какими-то продуктами. Для неизбежных очередей у меня в сумке всегда было какое-нибудь чтиво. В тот раз это был тамиздатный «Карантин» Максимова, который мне дали на пару дней, и я, обернув обложку газетой, считала себя полностью защищённой от пристального глаза Большого Брата.

Вернулась с полными пакетами в дворницкую, и начался наш обычный весёлый дым коромыслом: трёп, чтение стихов, споры, шарады, вперемежку с варёной картошкой, квашеной капустой и докторской колбасой. Интересно, что мы тогда не пили спиртного совершенно, редко кто приносил бутылку вина, и она разливалась большой компании, просто чтобы не пропадал продукт, а нам было хорошо и весело всегда, на чае и дефицитном кофе. Водки — впервые в жизни — я выпила уже в Израиле.

Сквозь хохот пробился слабенький звонок входной двери. Это было непривычно: дверь была не заперта, и все друзья входили без звонка. Я взбежала по нескольким ступенькам вверх и открыла дверь.

За дверью стоял мой папа. Это было так неожиданно и странно, что я просто не поверила глазам. Папа, огорчённый моим уходом из дома и при этом уважая моё право на независимость, не приходил ко мне никогда.

Не заходя, папа спросил:

— Где твоя сумка?

— Дома...

— Принеси.

Я пробежалась по своим хоромам, уже понимая, что сумки там быть не может, и вернулась к двери, где под косым снегом продолжал стоять папа.

— Папа, что случилось?

Папа сунул мне мою сумку и сказал жёстко:

— Твой идиотизм мог обернуться арестом. Подумай об этом.

И ушёл.

Машинально я открыла сумку. Там было всё: кошелёк, ключи, записная книжка, студенческий билет. И толстенький «Карантин», обёрнутый в газету «Известия», о котором я напрочь забыла.

Позже папа рассказал мне, как всё было. Он работал в мастерской. Телефонный звонок. Незнакомый мужской голос говорит:

— Здравствуйте! Скажите, у вас есть дочь Таня Разумовская?

— Да.

— Приезжайте, пожалуйста, в гастроном на Невском проспекте, зайдёте ко мне, в кабинет заведующего.

Папа бросил глиняную модель, даже не замотав ее мокрыми тряпками, и рванул в этот гастроном.

В кабинетике, похожем на кладовку, его встретил заведующий гастрономом, старый еврей. Посмотрев на папу с пониманием и сочувствием, он спросил:

— Как ваше имя-отчество?

— Лев Самсонович.

— Лев Самсонович, счастье, что сумку вашей дочери покупатель принёс мне. А мог бы отнести совсем в другое место... Там я нашёл эту книжку.

Он передал папе злополучный «Карантин».

— ... В студенческом билете было имя. А в записной книжке на букву «п» было написано «папина мастерская». И я вам позвонил. Вы уж скажите вашей девочке, что такие книги не нужно таскать в сумке.

— Спасибо вам огромное... как вас по имени-отчеству?..

— Семён Исаакович. Не за что, я же понимаю, я сам отец. Но вы ей всё-таки скажите, они же думают, что всё знают...

Папа тут же в гастрономе купил самый дорогой коньяк, который там был, и отнёс Семёну Исааковичу. Они пожалы друг другу руки.

СОВСЕМ НЕ ТИПИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Ночью мама отнесла пятилетнюю Ентеле на ближайший хутор. Хозяйка, литовская крестьянка, взяла девочку, дочку сельских учителей. Взяла, хотя своих в доме мал мала меньше. Взяла, хотя каждый день объявляли по всем ближайшим деревням, что каждый, кто поможет евреям, будет уничтожен вместе со всей семьёй.

Что было дальше с родителями девочки — это как раз очень типично для времени, и мой рассказ не об этом. Ентеле осталась на хуторе. Но соседи, как всегда, всё знают. И периодически докладывали в гебитскомиссариат, что в доме прячут еврейку. Но когда приходили с облавой, девочка пряталась. В отхожем месте, под доской. И всё было хорошо.

Но однажды дети заигрались, и спрятаться Ентеле не успела. На хутор пришли местные литовские полицаи под командованием немецкого офицера. Всё семейство выгнали во двор.

И вот стоит литовская крестьянка, а рядом пять её детей, от тринадцати — до трёх, все белоголовые, голубоглазые. И среди них чёрный смуглый воронёнок — Ентеле.

Офицер посмотрел на них, посмотрел. И сказал: «Ну, до чего же люди подло врут! Ведь девочка — вылитая мать!»

И все ушли.

Эта Ентеле, когда выросла, стала женой моего троюродного дяди. Так что это, можно сказать, часть истории моей семьи.

ОБ АВТОРЕ

Татьяна Разумовская родилась и выросла в Ленинграде, училась в Тартусском и Ленинградском университетах, по образованию — русский филолог. Окончила искусствоведческие курсы Эрмитажа и пять лет водила экскурсии, вплоть до отъезда в Израиль в 1988 году. Живёт в Иерусалиме.

Подборки стихов и проза печатались в журналах «22», «Акцент», «Портрет», в «Иерусалимском альманахе», в литературных приложениях израильских газет «Вести», «Время», «Новости недели», а также в русскоязычной периодике США: «Бостонский курьер», «Новое русское слово» и в альманахе «Арена». Мемуары «Пушкинские горы» вышли в петербургском журнале «Зинзивер» и в литературном альманахе «Белый Орёл», 2011.

Регулярно участвует в ежегоднике шутливой поэзии и прозы «Иерусалим улыбается». Внесла свою лепту в литературные стилизации на тему «Колобка», часть из них вошла в сборник «Парнас колобком», вышедший в Москве в 2007 году.

Сборник стихов «Через запятую» вышел в свет в Петербурге (1998), фантастическая повесть «Самое настоящее колдовство» (в Сети она вывешена под названием «Я—ведьма») в Волгограде (2009).

Произведения последнего времени (рассказы, эссе, сказки, стихи, пародии, лимерики и пр.) можно посмотреть в литературном интернетовском журнале «Сетевая словесность», а также в Живом Журнале.

Член СП Израйля.

Раиса Сильвер

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

1

До чего же я люблю самое начало весны, а точнее, середину марта! И не только потому, что в марте у меня день рождения. Родилась я семнадцатого, но всем знакомым с гордостью сообщаю, что восемнадцатого, то есть в день Парижской коммуны. Нет, я не врушка, просто немного выдумщица, или, как говорят интеллигентные люди, сочинительница.

Я просыпаюсь в этот день раньше обычного. «Ну и чудеса, тебя будто подменили», — удивляется мама. Обычно она меня и за кудри дёргает, и за плечи трясёт, пока добудится. Мама меня крепко целует и вручает пакет. А в пакете чудесные подарки: томик стихов Надсона, дореволюционный ещё, с «ятями» (где только она его достала?) и фильдеперсовые чулки. Чулки я, конечно, тут же натягиваю, а Надсона откладываю подальше. У меня сегодня такой сумасшедший день, что дышать некогда будет, не то что книжки читать.

Я быстренько допиваю чай с именинным пирогом, запикиваю в портфель книги и, застёгивая на ходу пальто, несусь галопом вниз с четвёртого этажа, перепрыгивая через две ступеньки (через три не получается — можно пятки отбить). Толкаю с размаху тяжёлую входную дверь — и в лицо мне ударяет необыкновенно вкусный, свежий, чуть влажный мартовский воздух. Ах, какое невероятно синее небо, как солнце сияет — красота! Легкий морозец пощипывает ноги сквозь тонкие чулки. Да ничего, до школы добежать — каких-то пять минут, не замерзну.

Какой красивый сегодня день! Как по заказу. И мне сегодня исполнилось шестнадцать лет, а вчера ещё было пятнадцать. И это небо, и этот воздух...

«Пить хочется воздух пьянящий, будто не воздух, чаша вина...» — бормочу я строки, которые вот уже третий день не дают мне покоя. Я, правда, вина не пила, да ещё чашами. «Долгожданная, настоящая — наконец-то пришла весна!» — сами собой складываются в моей голове слова. Получилось! И я несусь, размахивая портфелем, по улице, успевая прокатиться на всех наледях, которые дворники ещё не успели сколоть и засыпать песком, чтобы не падали пешеходы. Да не падать надо, а катиться, скользить — вот так! И я чуть не сшибаю с ног двух мальчишек, которые идут мне навстречу в соседнюю мужскую школу. — Извините, здравствуйте, — бросаю я и спешу дальше.

— Вот малахольная, — говорит один.

— А клёвая девчонка, — добавляет другой.

Я всё это слышу и улыбаюсь. Клёвая — значит стоящая, симпатичная. Значит, девчонка что надо! Я успеваю вовремя прибежать в школу и даже списать задачку по физике, которую дома не могла решить, у нашей отличницы, Лили Суперфин, Супки, как её все зовут. Я про себя её называю Кюхлей. Она такая же нескладная, долговязая и очень добрая, как Кюхельбекер, друг детства Пушкина. Лет через десять Лилька станет замечательной красавицей, защитит докторскую степень по экономике, но пока она просто Супка в коротком форменном платье, из которого давно выросла.

2

День проходит на редкость удачно. Английский я не учила, а меня и не спрашивали. По биологии получила пятёрку. На истории писала стихи... Стихи — это моя слабость, моя радость, моя жизнь. Возможно, с возрастом это пройдет. А пока... пока я зачитываюсь Пушкиным, бормочу про себя Тютчева, переписываю в тетрадку Есенина. Ни в библиотеке, ни в книжных магазинах Есенина не достанешь. Его поэзия проникнута, оказывается, упадочными настроениями, она зовет назад, она не вдохновляет читателей на трудовые подвиги. Потом она, правда, снова стала вдохновлять, но это произошло немного позже.

Придя из школы, я наскоро обедаю и, бросив грустный взгляд на томик Надсона, иду в кухню греть воду. Сегодня наша очередь убирать квартиру.

Уборка — вещь серьёзная. Плохо вымоешь — заставят перемыть. Я щедро лью на некрашенные половицы крутой кипяток, сыплю сти-

ральную соду и ожесточенно тру пол веником. Ну как быть чистоте? Кухня крошечная, в квартире четыре семьи. Четырнадцать человек, двадцать восемь ног. Вот потеха, как у сороконожки!

«У сороконожки народились крошки», — весело горланю я, приплясывая на горячем, скользком венике. Допеть песню мне не удаётся. Кто-то стучит в дверь. Вот некстати, кого там ещё нелёгкая принесла? «Нелёгкая» принесла симпатичную белокурую женщину очень делового вида. В одной руке у неё туго набитый портфель, в другой — бумажка с адресом.

— Скажи, здесь живет Рая? — и она называет мою фамилию.

— Д-д -да, это я, проходите, садитесь, пожалуйста, — растерянно бормочу я, подвинув соседский табурет на единственный сухой, ещё не мытый кусочек пола.

— Спасибо, не надо, я очень тороплюсь. Я — Жирмунская из детской редакции Всесоюзного радио. Завтра в четыре часа дня мы ждём тебя в студии звукозаписи. Это на Страстном бульваре, за памятником Пушкину. Будешь читать стихотворение для передачи «Пионерская зорька». — Она уходит. А я, бросив тряпку, иду в комнату и сажусь на стул, положив на колени мокрые распаренные руки.

Я буду читать стихи по радио! Может мне всё это почудилось? И поделиться не с кем. Мама на работе, я одна дома. Нет, кажется не одна. Кажется, дядя Изя дома.

Дядя Изя — брат нашей соседки, тихий одинокий человек. Его жена и две дочки погибли в Минске, в самом начале войны, а он уцелел, так как в это самое время как враг народа был сослан в Казахстан. А потом его выпустили. Он оказался не враг. Но жить в Москве с единственным близким человеком, родной сестрой, ему не разрешили. Дядя Изя живёт где-то в трёх часах езды от Москвы, а по выходным приезжает к сестре. Ему даже ночевать у сестры нельзя, он ведь непрописанный! Но он, конечно, ночует, а соседи делают вид, что они не в курсе.

Мы с ним друзья. Он никогда не смеётся над моими, как мама говорит, фантазиями, называет меня доченькой и угощает конфетами. Мой папа тоже называл меня доченькой. Папа мой умер от сердечного приступа за неделю до окончания войны. Я вытираю насухо руки и подхожу к соседской двери: «Дядя Изя, можно к вам?»

Недавно на школьном вечере я читала своё стихотворение. А после вечера ко мне подошел незнакомый дяденька и стал с пристрастием допрашивать, какие у меня отметки и кем хочу стать, когда вырасту. Потом мне сказали, что это корреспондент «Пионерской зорьки».

А через несколько дней в кабинет к моей маме (мама работает начальником АХО небольшого завода на окраине Москвы), прервав на полуслове ответственное совещание по подготовке к весне, ворвется уборщица Дуся и закричит не своим голосом:

— Да включите же вы радиву, Циля Константинна, Раечку вашу передают!

И мама торопливо повернёт рычажок приёмника и услышит мой срывающийся от волнения голос. Я буду читать стихотворение «На уроке географии»: входит в класс учитель, берёт в руки указку, «И следя за кончиком указки, на большую карту смотрит класс. Карта оживает словно в сказке. Мы уже не школьницы сейчас. Мы плывём всё дальше, дальше к югу, к новой неизведанной земле. Ты теперь не школьная подруга, ты теперь — матрос на корабле! А на карте землю полукругом охватили линии широт... Ты теперь не школьная подруга, бортмеханик ты, а я пилот!»...

И впервые с тех пор, как умер отец, моя стойкая мама заплачет крупными слезами. Она не плакала, когда её уволили из ВЦСПС (оттуда в сорок девятом выгнали всех евреев), и она полгода не могла устроиться на работу, и мы в буквальном смысле слова сидели на хлебе и воде... И вместе с ней и даже ещё громче, чем она, зарыдают уборщица Дуся и кладовщица Нюра.

А садовник Василий Иванович, brave инвалид войны на уродливом протезе, будет с недоумением на них глядеть. «Ну и бабы! Радоваться надо, а они ревут как белуги».

Есть в центре Москвы у Кировских ворот маленький тупиковый переулок Стопани. Туда по пятницам в старинный особняк (в нём размещается московский Дом пионеров) съезжаются со всех концов Москвы девчонки и мальчишки, одержимые любовью к литературе. Мы пишем, мы читаем, мы критикуем. И одно занятие не похоже на другое. Руководитель кружка Вера Ивановна Кудряшова из журнала

«Колхозница», её почти не видно и не слышно. Но ребята — какой поток поэзии и прозы, какой фейерверк мыслей и идей!

Меня в литкружок как магнитом тянет. И каждый раз, когда я везу туда новые стихи, мне очень тревожно: что-то мне сегодня скажут? То, что мне не очень нравится, вдруг похвалили: «Молодец, говоришь своим голосом!» А то, что я под гром аплодисментов читала на школьном вечере, так высмеяли, что я потом ночь не спала.

Героиня этого стихотворения, колхозная звеньевая, радостно шла к своим телятам на молочно-товарную ферму. Колосились в полях пшеница, рожь и овёс, пел в вышине оптимист — жаворонок, и жизнь была прекрасна и удивительна.

Когда я закончила читать стихотворение, в комнате стояла такая гробовая тишина, будто я сообщила им о смерти близкого человека. И так как высказываться никто не пожелал, мы перешли к обсуждению произведений следующего автора. А через несколько минут я получила записку, написанную полудетским почерком Володьки Амлинского: «Советую послать сей опус в «Комсомольскую правду» на папильотки редактору».

4

Я обиделась. Тоже мне критик нашёлся, от горшка два вершка, а советы даёт. Володя был моложе меня на год. Такой симпатичный, тщательно причёсанный восьмиклассник в аккуратной курточке. Мне всегда казалось, мама его умыла, причесала и велела пораньше приходить домой.

После занятий мы не расходимся сразу, а шумной гурьбой идём по спящим улицам. Не все стихи ещё прочитаны, не все споры завершены. И мы ещё такие молодые. У нас всё только начинается, у нас всё впереди.

Поздний вечер. Крутятся в воздухе редкие снежинки. Подмораживает. Мы идем к трамвайной остановке. Самые ярые спорщики, как всегда, шагают впереди, остальные чуть поодаль. Я в споры не вступаю — робею. Они все такие умные, куда мне до них. Рядом со мной, думая о чём-то своем, идет Сусанна Печуро. Она мне очень нравится — добрая, порывистая, остроумная. И стихи у неё такие же — тёплые, искренние, талантливые.

Ну вот хотя бы это:

В классе окно распахнуто,
Льётся голубизна.
Зеленью в классе пахнет,
Будто сейчас весна.
Хочется вылететь птицей,
Спрятаться в стройных ветвях,
Листьями их укрыться.
Солнце и зелень в глазах...

— Почему ты молчишь, — спрашиваю я Сусанну, — что-нибудь случилось?

— Да нет, — просто так, — уклончиво отвечает она. — Давай лучше Сашу послушаем. Саша Тимофеевский, долговязый, тёмноволосый, отчаянно спорит с Владиком Фурманом.

— Как ты не понимаешь, Владик, — горячится он, — важно овладеть вниманием людей, дать им в тебя поверить. А уж если они поверят, тогда...

— А тогда, как у тебя, Саша, в стихах говорится:

Скажи им только: «Я гений», —
И они построятся и пойдут!

Мне кажется, ты в корне неправ, Саша. В стихах это одно, в жизни — совсем другое, поверь.

Владик доброжелательно смотрит на Сашу сквозь толстые стёкла очков. Он среди нас самый старший. Ему восемнадцать лет. Он никогда не повышает голоса, иронически улыбаётся, словно все тайны жизни ему известны и он лишь снисходит к нам, непосвященным.

— Лучше послушайте, какие стихи Боря написал! Давай, Борис, не стесняйся.

И Боря Слуцкий, очень серьёзный мальчик, (однофамилец и тёзка известного поэта), читает нам стихи о своём отце, который погиб, защищая Москву, зимой сорок первого.

Я тоже расту без отца, я очень сочувствую Боре, но не могу этого сказать — стесняюсь.

Я иду сзади, притопываю замёрзшими ногами и тихо повторяю за Борей последние строки:

...Пусть снег метёт и заметает рвы
У маленькой могилы капитана,
Погибшего на подступах Москвы...

5

Поздний вечер, редкие машины, спящий город. Что ждало нас в будущем, девчонок и мальчишек из литкружка московского Дома пионеров?

Саша Тимофеевский станет известным киносценаристом. Его весёлую песню «Я играю на гармошке у прохожих на виду» запоёт вся страна. Володя Амлинский — популярным детским писателем. Спустя много лет, когда рассказ моей пятнадцатилетней дочери будет опубликован в газете «Московский Комсомолец» на одной странице с очерком Володи, меня это так взволнует, что я отважусь послать ему коротенькое письмецо. Ответа я не получу... Известные писатели — народ очень занятой, всем не отвечаешься. Нас, читателей, много, а они, писатели, одни...

Владика и Борю расстреляют через пару лет за участие в подпольной антисоветской группировке. Сусанну пожалеют, её приговорят к двадцати пяти годам... в лагерях строгого режима.

...Мама уже спит. Стараясь не шуметь, я тихонько раздеваюсь и ныряю в постель. Я так продрогла, что, кажется, никогда не согреюсь. События дня проносятся в моей усталой голове. Тётяшка с портфелем, грустный Боря Слуцкий, читающий стихи на трамвайной остановке... Внезапно начинает звонить звонок. Он трезвонит так настойчиво, что я, наконец, просыпаюсь. Не открыв ещё глаза, я торопливо натягиваю халатик и бегу открывать дверь. Кто это может быть так поздно, в полдвенадцатого ночи!

— Кто там? — спрашиваю я.

— Откройте, милиция, — слышится за дверью.

У меня начинают дрожать руки, я бестолково смотрю по сторонам. Хоть бы кто-то из взрослых проснулся, но все спят, ничего не слышат. Из соседней комнаты торопливо выходит дядя Изя. Он в зимнем пальто, из-под которого видны полосатые пижамные брюки.

— Подожди минуточку, пока я выйду, — шепчет он мне.

Пока я вожусь с крючком и открываю цепочку, он проходит через кухню и скрывается за дверью чёрного хода. Наконец все замки

открыты. В коридор входят дворничиха тетя Дуня и участковый милиционер Кузьмин. (Когда я была маленькая, нянька меня пугала: «Не будешь есть кашу, придет участков и заберёт». Я долго думала, что Участков — его настоящее имя.)

— Кто есть в квартире из непрописанных граждан? — громко спрашивает Кузьмин и уверенно направляется к двери комнаты, из которой только что ушел дядя Изя. Горит настольная лампа, сидят в кроватях полуодетые растерянные сестра дяди Изи и её дочери — школьницы.

— Никого нет, — сам себе отвечает Кузьмин и укоризненно смотрит на тётю Дуню.

В каждом московском доме есть своя тётя Дуня. Наша — живая история дома. Когда февральской ночью тридцать восьмого года арестовали мужа сестры дяди Изи, наша дворничиха была «понятой». Когда много лет спустя у меня начались схватки, а дома никого не было, тётя Дуня отвела меня в роддом, так что дочь моя родилась не без её косвенного участия. Не шутите с тетей Дуней!

...Они уходят. Я закрываю за ними дверь и стою в каком-то оцепенении, никак не могу придти в себя. Из кухни выходит бледный растерянный дядя Изя. Он подходит ко мне и гладит по голове.

— Спасибо тебе, доченька!

— Да что вы, дядя Изя, за что спасибо, — растерянно бормочу я. Я иду в нашу комнату, бухаюсь в постель и засыпаю как убитая. Меня уже ничто не может разбудить — звони, кричи, пали из пушек... Самый счастливый день в моей жизни кончился!

Александр ЦАРОВЦЕВ
ЮВЕЛИРИКА

ЗРЕЛОСТЬ

Отложения скорбей
да забытых оскорблений
Скарб — в прямом и переносном
наживая на пути
Празднуй праздность и забей
предаваясь неге лени
Всё равно покажет нос нам
Некто (Господи, прости)

Поезд М-ва — С-Пб, 27 июля 2006 г.

* * *

Оказалось, долгая жизнь длится не так уж и долго
(К тому же с риском прерваться задолго до выплаты Долга...)

С-Пб, 27 октября 2007 г.

* * *

Фаршированная рыба
гниёт с хвоста
Рыжий кот-хвостун
как воплощение власти
Жизнь — фуршет,
и сто́ит ли до ста
Двадцати
экономить на любви и страсти?

С-Пб, 7 октября 2008 г.

GRACEFUL AGING?

Херово получается
красиво стареть
Чтоб как бывало прежде
оставалось и впредь
Хотя б наполовину
ну хотя бы на треть!..
Или чтобы с зеркала
память стереть

С-Пб, 14 октября 2008 г.

ИМЕНИ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Жили-были — сперва в симбиозе
после в законном браке
Покуда каждый не стал для другого
что чемодан без ручки
Всё реже бились лобками, зато
иногда доходило до драки
В итоге устав держаться за́ руки
плавно дошли до ручки

С-Пб, 14 февраля 2010 г.

ГРАММАТИЧЕСКОЕ БЕЗВРЕМЁНЬЕ

Какое-то оно несостоявшееся — настоящее
 Не стоящее стенаний, как будто ненастоящее
 И прошлое пошлое — звук звякающих в подкладке монет
 А будущее... Так его и вообще как известно нет

М-ва, 14 ноября 2016 г.

ПЕРПЕНДИКУЛЯР

Страсть — это сладость опасности но и напасть
 Ведь самой непонятно — хотела, блядь, не хотела
 Объятыя — что клинч в извечной борьбе за власть
 С женской душой за её же безгрешное тело

С-Пб, 16 марта 2018 г.

* * *

Непросто быть поэтом, му-
 Зыкантом, мудрецом
 И все они поэтому
 Балуются винцом
 А кто обжётся Светом — у-
 Тешается свинцом

С-Пб, 20 апреля 2018 г.

НЕ ДЛЯ МАЛОДУШНЫХ

Свобода — как вздох и взлёт, вроде воздуха духа
 Без которого может вдруг задохнуться душа
 Ведь нужны не только вода, еда, молодуха
 Но и лёгкость в лёгких чтоб воспарить не спеша

С-Пб, 21 мая 2018 г.

НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

Памяти Андрюши Сучилина

Нет бы вечно петь-
выпивать
Чтоб друзей воспеть
успевать
А приходится
отпевать
И как водится
горевать

С-Пб, 25 июня 2018 г.

ДРОВА ЗАБВЕНИЯ

Смерть забирает плоть у всех — без разбора —
Душ (до Суда под расписку: мера за меру)
Дразнит свобода с той стороны Забора
Вера за веру и тело в залог за химеру

С-Пб, 5 августа 2018 г.

* * *

Трудно карабкаться, ещё сложнее спускаться со склона
Юность множит препятствия, старость итожит нули
Из жизни в жизнь всё тот же маршрут — из лона в лоно
Из натруженной матки матери в блядское нутро Земли

С-Пб, 23 октября 2018 г.

ДОРОГОЙ БЛИННОЮ ИЛИ БАЛЛАДА О ЧЕТЫРЁХ БЛИНАХ

Первый блин выходит ещё не набившим оскомину комом
 Другой с пылу и с жару уже почти что в балансе искомом
 Следующий сбоку припёка млеет в печи уютно-знакомой
 Последний блин обычно кончается комой

Ашдод, 1 июля 2019 г.

РАСТРОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Голова моя
 В американских облаках
 Сердце моё
 У Израиля за пазухой
 А х... мой
 В несусветной России

Ашдод, 25 июля 2019 г.

* * *

Страх порождает страх приближает крах
 Неумолимо дух превращает в прах
 Что ж мы тогда — в молитвах, трудах, пирах —
 Пуще всего страшимся забыть про страх?

Ашдод, 16 июня 2020 г.

* * *

Населенье Земли преуспело в одном —
 От души поливает друг дружку говном
 Как же братцы достичь примирения?
 Превращая говно в удобрения!

Ашдод, 22 июня 2021 г.

* * *

Вы не лейте слёз напрасных, не лейте
Лучше, милые, себя пожалейте
Лучше в пляс да чтоб с прихлопом-притопом
Не страшась ни бурь ни мора с потопом
Не накрылась чтоб вселенная разом
Ни проказой ни другим медным тазом
Не покрылась чтоб ни пеплом ни кровью —
Только жалостью и нежной любовью

Ашдод, 12 августа 2021 г.

ПОВАСЕНКИ

Поздно ли после драки махать кулаками
Стóбит ли выть по-волчьи, живя с волками
Умничать молча чтоб быть в ладу с дураками
Или веками витая над облаками
Жар на Земле загребать чужими руками?

Ашдод, 16 сентября 2021 г.

* * *

Это неправда что нас ломает судьба —
Просто сжимает в жарких объятьях страстно
Жители Севера знают что жизнь — борьба
Жители Юга знают что жизнь прекрасна

Ашдод, 22 сентября 2021 г.

ОБ АВТОРЕ

Александр ЦАРОВЦЕВ — поэт, певец, сочинитель и интерпретатор песен, работающий в различных жанрах фолк-, рок-и этно-му-

зыки, а также радио- и телеведущий. Родился в Ленинграде, где получил музыкальное образование.

В 1980–1982 годах являлся составителем (совместно с Виктором Резунковым), главным редактором и одним из участников неподцензурного альманаха «Лабиринт», где были собраны поэзия, проза, драматургия и тексты песен молодых авторов из Ленинграда, Москвы и Прибалтики, не имевших возможности издаваться официально.

В 1987 году после восьми лет «отказа» эмигрировал в США и поселился в Нью-Йорке; в 1995 году принял американское гражданство. В нулевые и десятые годы много времени проводил в Москве-Питере, а в декабре 2018 года репатриировался в Израиль и поселился в Ашдоде.

В 2000 году в петербургском литературном журнале «Нева» была напечатана подборка стихов; в 2004–2005 годах избранные стихи и переводы регулярно появлялись в московском альманахе «Внеклассное чтение». Публиковался в журналах «Метро», «Крещатик», «Аврора», в израильских изданиях «Артикль» и «Квадрига Аполлона».

В издательстве «AlterEgo» вышел его сборник под названием «Ювелирика», куда вошли стихи, созданные за тридцать лет сочинительства, а также «Копилка» — состоящее из кратких прозаических фрагментов трудноопределимое по своей жанровой принадлежности произведение, в котором собраны мысли, догадки и многолетние наблюдения автора. В том же издательстве вышло второе — исправленное и дополненное — издание этого сборника, а в 2012 году — третье.

Алекс ЩЕГЛОВИТОВ
ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

НО КАК Я ЛЮБИЛ ВАС

За гранью обнажённого стекла,
отчётливей видны чужие лица.
Дней череда случайной вереницей
опять куда-то память унесла.

На улице свирепствует январь,
камин дымит... паук, немой сожитель...
а время то стремительно кружится,
то тащится в хвосте едва-едва.

Мелькает силуэт знакомых рук
и исчезает невесомой тенью.
И, как всегда, скрипят вослед ступени,
а время начинает новый круг
за гранью обнажённого стекла...

Не надо притворяться и лукавить...
плеча коснуться нежными руками...
и пыль смахнуть с кухонного стола...
кукушка отхрипит двенадцать раз...
рябит стекло — всё в нитях паутины...
как любим мы отыскивать причины...
как любим мы... но как любил я Вас...

Ноябрь

Холодным стал ноябрь, но снега нет.
Канадский фронт сражается с Гольфстримом,
А тот себе, как допотопный примус,
Подогревает воду много лет.

Подогревает целый океан,
Куда там современный waterheater!*

Но всё-таки ноябрь тепло похитил —
Надолго — у беспечных горожан...

Сорвал листву и бросил на асфальт —
Мазками ярко-красной, спелой охры,
Взревел ветрами так, что все оглохли,
Всем показал и власть свою, и фарт.

Ноябрь, Studeni, долгий Листопад —
Прогон незамерзающей премьеры,
Он месяц-праздник, он не знает меры
И этому, похоже, очень рад.

ГОРОД ПАМЯТИ

Переулки памяти,
Закоулки совести,
Площади отчаянья,
Скверики надежд...
Чердаков фантазии,
Ярких окон новости,
И подъездов сладости,
В шорохе одежд.

* waterheater (англ.) — водонагреватель.

**И БЕЖИТ КАРАНДАШ
ПО БЕЗМОЛВИЮ СНЕЖНЫХ СТРАНИЦ**

Я открою окно, прикоснусь к полумраку рассвета,
пропущу его в дом и разбавлю мерцанием свечи.
Камертон тишины чутко слушает позднее лето,
и рубцы моих ран не желает упрямо лечить.

На коленях блокнот, пляшут вязью неровные строчки.
В сигаретном дыму растворяется контур окна.
Ты опять далека, и опять не поставишь мне точку,
и опять эта ночь не оставит мне места для сна.

Силуэты гардин удлиняют пространство мгновений,
вижу в трещинах стен очертанья утерянных лиц;
ты, как кошка, любила запрыгивать мне на колени,
...и бежит карандаш по безмолвию снежных страниц.

Оплывает свеча, догорает последнее лето,
то ли сплю, то ли нет, и желанье глотает крючок.
Слышу шум за окном — может, тыква, а может, карета,
значит, завтра найду на ступенях я твой башмачок.

Все пороки мои застывают в расплавленном воске,
но свеча, догорая, меня очищает от них...
заалела заря очень робкою первой полоской...
из пороков моих — непорочный рождается стих.

ПРОСТИ, ЕСЛИ МОЖЕШЬ

Прости, если можешь и, если не можешь, — прости.
 Зима наступила, завьюжила белой разлукой,
 И реки замёрзли, деревья заломлены руки...
 Уйду не прощаясь, сжигая надежды мосты.

Позёмка очертит шагов неуверенных цепь,
 Свеча задрожит на ветру мотыльковой тенью,
 Ещё я надеюсь твоё получить всепрощенье,
 И может быть, где-то на гранях судьбы уцелеть.

Прости, если можешь и, если не можешь, — прости.
 Скитаться по свету издревле — мужская забава,
 Так часто меняются женские слёзы на славу,
 Но так тяжело эту славу по жизни нести.

И кто-то опять наполняет мечтой паруса,
 И кровь закипает опять в набухающих жилах,
 А я измениться никак, очевидно, не в силах...
 Но снова и снова мои произносят уста:
 Прости, если можешь и, если не можешь, — прости...

ЕЩЁ РАЗ О СМЕРТИ

Ушедшим друзьям и близким

Мы всю жизнь провожаем... А нас провожают одиножды.
 По заслугам и речи. А может, не будет речей...
 Вот в кофейне столы, после кладбища, наскоро сдвинуты,
 И волнение слов догорает в мерцанье свечей.
 Это было не раз. — В чём-то были, конечно, отличия.
 Только, Боже ж ты мой... — А какой? Я не знаю и сам.
 Смерть — почти как любовь — каждой буквой неистово-личная.
 Не согласных со мной обратиться прошу к небесам.

ПАМЯТЬ

Я помню наши разговоры,
Задворки, пение сверчков.
Уходят в вечность коридоры
За неимением чердаков.

Я помню бабушкины руки,
Её, с прищуром, мягкий взгляд.
Года — предвестники разлуки —
За всё потом вознаградят...

А память птицей в небо рвётся,
Сквозь чёрно-белых снимков рой.
Всё, что ты помнишь, остаётся
Твоей распиской долговой.

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА

Растаял лёд кристальной правды,
Водой наполнились ручьи.
А кто без правды станет правым,
Сменив орала на мечи?
Рвут крики ткань притихших улиц,
Мембраны тонкие витрин
И солнце в страхе ужаснулось
С тоской глотая анальгин.
Растаял лёд кристальной правды
Осталась ложь правдивых СМИ.
Не знаю я, что будет завтра...
Дай Бог, чтобы не жизнь взаимы.

Три спички

Всю ночь скрипит сверчок на антресолях,
Из-под обоев выбились газеты...
Листки календаря февраль мусолит,
Отодвигая наступленье лета.

Я весь продрог. В углах ютятся тени.
Погасла печь. Ловлю тепло губами.
Февраль лютует, кровожадный гений,
Но — нечего во мне уже убавить...

Огонь свечи — маяк переживаний,
Всего три спички, чтоб дожить до лета.
Душа в холодном теле на диване,
Да крошки от надкушенной галеты.

Для тебя

По узким тропинкам, усеянным летним дождём,
Пронзающим лес, словно струны таинственной арфы,
Мы, за руки взявшись, гуляли сквозь время вдвоём,
Глинтвейн заедая изысканным сыром швейцарским.

Ты слушала молча стихи незаконченных фраз,
Мой голос звенел, отражаясь пронзительным эхом.
Пытался сказать я...пытался сказать и не раз,
Но ты обрывала меня заразительным смехом.

Потом ты уехала. Лес пожелтел и поник.
И спутались сразу все струны таинственной арфы.
Сюда прихожу я, мой голос печален и тих,
Давно зачерствел так любимый тобой сыр швейцарский.

В ТЁМНОМ ТЕРЕМЕ...

*Дай запру я твою красоту
В тёмном тереме стихотворенья.*

Борис Пастернак

Из кирпичиков строк, да из брёвнышек слов
На высоком холме тёмный терем срублю.
Не вымаливай слов как тебя я люблю,
Я для фраз этих просто ещё не готов.
Я твою красоту описать не смогу,
Растерял все слова — негде новые взять?
Гонит ветер волну, морщит озера гладь,
Да стожки разбросал на пустом берегу.
Ты смелее меня, я тебе не наказ,
Когда руки твои обгоняют ответ.
Младше ты на незнамо количество лет
Старше ты на незнамо количество ласк.
На двери в тёмном тереме тёмный замок,
Все слова изменились в угоду телам.
Новых слов для тебя я без счёта создам,
Красоту твою спрячу в плетении строк.

СТАРЫЕ ДВОРИКИ

Люблю я старых дворики уют,
Приправленный желтком вечерних окон,
Где патефоны хриплые поют
О гармонисте грустном, одиноком.

Где знали обо всех из первых уст, —
Мембраны стен не берегли секретов!
Один на всех и праздник был, и грусть...
Прошло полвека, но я помню это.

А у мальцов была своя возня:
 Чердак, подвал, садов чужих заборы.
 В жару купалась в речке ребяшня,
 А в стужу заполняла коридоры.

Бежали дни, меняя двор и нас,
 Страна менялась, судеб не жалея...
 И вместо «Большевички» — «Адидас»
 Нас приодел, лампасами белея.

Дворы исчезли, будто никогда
 Их не было в природе и в помине!
 ...Из прошлого приходят поезда,
 Да на висках белеет свежий иней.

ОБ АВТОРЕ

Алекс Щегловитов родился в Харькове в 1951 году. Окончил Харьковский Политехнический институт.

В США с 1992 года. Живет в Нью-Йорке.

Писать начал давно, но с 1987 по 2000 годы был перерыв, разделивший его творчество на Раннее и Нынешнее. Автор тематических сборников стихов «Целая жизнь» (2016), «Пролог» (2017), «Две ступеньки вверх» (2018), сборника стихов «В созвездии рака» (2008), соавтор нескольких коллективных сборников «Облако в стихах» (2002), «Стихия I» (2004), «Америка моя...» (2018) и «Альманах Клуба Русских Писателей Нью-Йорка» (2019).

Трижды Лауреат международного литературного конкурса «Пушкинская Лира» (Нью-Йорк 2016, 2017 и 2018 годы), Член Литературного клуба Нью-Йорка и Клуба Русских Писателей. Публикации в русскоязычной прессе Нью-Йорка, в литературных журналах, альманахе «Золотое Руно», Международном поэтическом альманахе «45-я параллель», в интернет-журнале «Зарубежные Задворки», Литературной газете, «Интеллигенте» СПб, англоязычном журнале «Poets of the World».

Семён РЕЗНИК

ЭСЕРЫ В РОЛИ ЗАЛОЖНИКОВ

К 100-летию первого театрализованного процесса в Стране Советов

ОТ АВТОРА

Предлагаемая вниманию читателей статья была написана через год с небольшим после моей эмиграции из СССР. Опубликована в одном из ведущих изданий русского зарубежья, журнале «Форум», выходившем в Мюнхене (1984, № 9, стр. 192–204). К сожалению, этот журнал давно уже не выходит. Текст воспроизводится с мелкими поправками; к новой публикации подобран иллюстративный материал.

* * *

Борьба за власть между большевиками и эсерами — одна из самых захватывающих и вместе с тем наиболее искажаемых в Советском Союзе страниц современной истории. В советской печати — не только широкой, но и «узкой», рассчитанной вроде бы только на специалистов, — эсеры обязательно характеризуются как «реакционеры», «предатели», «банда убийц», «агенты Антанты». Что же касается исторической литературы русского зарубежья, то проблема борьбы большевиков и эсеров в ней не занимает того места, какого она заслуживает.

Партия социалистов-революционеров (кратко эсеров) образовалась в России почти одновременно с другой революционной партией — эсдеков, социал-демократов. Цели у обеих партий были одни

и те же: построение социалистического общества. Но если социал-демократы, в соответствии с установками марксизма, именовали себя партией рабочего класса, который в то время составлял не больше 7 процентов населения страны, то эсеры, как наследники народо-вольцев, считали себя партией всех трудящихся, подавляющее большинство из которых составляло крестьянство.

Партия эсеров пользовалась гораздо большим влиянием, чем партия эсдеков. Она опиралась на более широкие слои населения, имела более гибкую организационную структуру и, допуская в своей среде разногласия мнений, не тратила львиную долю сил на внутривнутрипартийную борьбу, как это приходилось делать эсдекам, у которых фракции большевиков и меньшевиков постоянно ссорились между собой.

В составе партии эсеров действовала строго законспирированная боевая организация. Она подготавливала и проводила террористические акты против тех представителей администрации, которые считались крайними реакционерами. Эсерами были убиты министр внутренних дел Сипягин, другой министр внутренних дел Плеве, московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович... Эсеры подготовили несколько покушений на царя, но они были предотвращены провокатором Евно Азефом, проникшим в руководство боевой организации.

Хорошо известно, что эсдеки — и большевики, и меньшевики — отвергали тактику индивидуального террора. Ленин неоднократно писал, что политические убийства ведут только к усилению реакции и к неоправданным жертвам в рядах революционеров. В этом, однако, лишь одна сторона правды. Мало кто в дореволюционной России одобрял террор. Однако и те, кто его не одобрял, видел в нем крайнее выражение народного недовольства существующими порядками. Поэтому, вопреки Ленину, невозможно отрицать, что террор сыграл немалую роль в создании тех настроений, которые привели Россию к революции 1905-го, и затем и 1917-го годов.

В 1908 году Азеф был разоблачен Владимиром Бурцевым — близким к эсерам историком и публицистом. Известие о том, что главарь боевой организации оказался агентом охраны, потрясло партию социалистов-революционеров. Эсеры утратили значительную часть своего влияния и престижа, их деятельность была почти полностью парализована. Однако со временем партия сумела преодолеть кризис и снова стала одной из ведущих политических сил в стране. После

отречения от престола Николая II, в марте 1917 года эсер Александр Керенский вошел в состав первого Временного правительства, а после реорганизации правительства — большинство мест в нем заняли эсеры, причем Керенский стал премьер-министром.

В России установился режим практически неограниченной политической свободы. Правда, такой «свободолюбец» как В. И. Ленин, утверждал, что «полной политической свободы нет у нас». Но и он признавал, что «такой свободы, как в России, сейчас нигде нет».* Ленин разъяснял пролетариату (то есть партии большевиков), что не воспользоваться этой ситуацией для захвата власти было бы преступлением.

Захватив власть, большевики срочно стали уничтожать ту свободу, которая позволила им совершить переворот. Они закрывали небольшие органы печати. Производили аресты всех подозрительных. Разогнали избранное всенародным голосованием Учредительное Собрание. Создали грозную ВЧК, ставшую главным орудием подавления, основой карательной системы такого размаха, какого прежде не знала история. Целей своих большевики не скрывали: им надо было любой ценой удержать власть, свобода же была удобна для захвата власти, а не для ее удержания.

Опаснейшими политическими противниками большевики считали эсеров, против них и использовали все доступные им средства подавления.

Поставленные фактически вне закона, эсеры вынуждены были вести подпольную борьбу. Однако относительно средств и методов этой борьбы среди них не было единодушия. Эсеры много раз заявляли, что оставляют за собой право на вооруженную борьбу с большевиками; но тут же разъясняли, что они вовсе не намерены организовывать вооруженные выступления: только если вспыхнет стихийное восстание масс, они готовы его возглавить.

Такая непоследовательность объяснялась тем, что свою борьбу против большевиков они считали борьбой «внутри класса» и полагали невозможным использовать против них такие крайние меры, какие они использовали до революции против «вражеских классов». В частности, они не решались пустить в ход против большевистских лидеров такое испытанное средство борьбы, как индивидуальный террор.

* В. И. Ленин. Сочинения 1917 года, Москва, 1937 г., т. 1, стр. 206.

Фанни Каплан



Зато большевики каждый террористический акт против своих «вождей» немедленно объявляли делом рук эсеров и использовали его в качестве повода для новых беспощадных репрессий против них. Так, в июне 1918 года в Петрограде был убит Комиссар по делам печати В. Володарский. Террорист (впоследствии выяснилось, что им был молодой рабочий Никита Сергеев) скрылся, напасть на его след чекистам не удалось. Тем не менее, было объявлено, что Володарский стал жертвой заговора партии эсеров.

30 августа 1918 года произошло сразу два террористических акта: утром в Петрограде был убит Председатель петроградской ЧК Урицкий, а вечером в Москве ранен Ленин. В обоих случаях террористы были задержаны. Один из них, поэт Леонид Каннегисер, оказался членом малочисленной группы «народных социалистов». По взглядам эта группа была близка к эсерам, но организационно никак не была с ними связана и действовала совершенно независимо. Другая террористка — Фанни Каплан.

30 августа 1918 года произошло сразу два террористических акта: утром в Петрограде был убит Председатель петроградской ЧК Урицкий, а вечером в Москве ранен Ленин. В обоих случаях террористы были задержаны. Один из них, поэт Леонид Каннегисер, оказался членом малочисленной группы «народных социалистов». По взглядам эта группа была близка к эсерам, но организационно никак не была с ними связана и действовала совершенно независимо. Другая террористка — Фанни Каплан.

О Фанни Каплан я опубликовал в 1983 году статью в «Новом русском слове», где приводил свидетельства «старого большевика» Виктора Еремеевича Баранченко, которые проверил по всем доступным источникам, подтвердившим достоверность его воспоминаний. Суть их в том, что Фанни Каплан была анархистской и к тому же она была почти слепа. В 1908 или 1909 году у нее в руках разорвалась бомба, которую она готовила для покушения на какого-то царского сановника, вследствие чего она потеряла зрение. Частично оно было восстановлено летом 1917 года после удачной операции в Харькове, куда она поехала из Крыма по совету Дмитрия Ильича Ульянова — родного брата Ленина. Однако и после операции у Фанни было восстановлено лишь силуэтное зрение, чем и объясняется тот факт, что, стреляя с трех шагов, она дважды попала Ленину в руку, а третий раз промахнулась. Почти стопроцентная слепота террористки исключала версию

о том, что она могла быть использована в качестве исполнительницы заговора какой-либо организацией, тем более такой, как партия эсеров, имевшей в своем распоряжении достаточно средств и людей для осуществления любой акции такого рода.

Однако оба покушения — Каплан и Каннегисера — были приписаны эсерам, на которых и была обрушена основная тяжесть «массового красного террора».

Несмотря на всё это, когда летом 1919 года армия Деникина подходила к Москве и для эсеров был особенно удобный момент выступить против большевиков, их руководители заявили, что партия временно прекращает борьбу «внутри класса», ибо видит главную опасность — в «реакции».

Казалось бы, у эсеров уже накопилось немало горького опыта, чтобы понять, что никакая реакция по суровости и жестокости подавления всех инакомыслящих не может сравниться с большевистской диктатурой. Но догматизм «классового» мышления имел такую большую инерцию, что оказался сильнее конкретных фактов. В Сибири эсеры вместе с большевиками боролись против Колчака, а в Причерноморье — против Деникина. Когда же одерживали победу, все плоды ее доставались большевикам, чему эсеры оказывались бессильными противостоять.

Всё это привело к тому, что к концу гражданской войны были разгромлены не только армии Колчака, Деникина, Врангеля, но и партия социалистов-революционеров. Большинство ее лидеров либо эмигрировало, либо томилось в застенках ЧК. Казалось бы, эсеры перестали представлять для большевиков какую-либо угрозу. Однако у большевистских лидеров было достаточно оснований думать иначе.

Если после октябрьского переворота эсеры боролись за власть Учредительного Собрания и на этом основании большевики объявили их врагами Советской власти, то в 1919 году руководство эсеро-вской партии выразило готовность признать Советскую власть и прекратить всякую нелегальную деятельность, если им будет предоставлено право легального существования и легальной работы. Вот как это предложение эсеров излагалось их непримиримым противником, крупным большевистским функционером Н. В. Крыленко:

|| *IX Совет партии предъявил Советской власти ультимативные условия: «Мы согласны разрешить наш спор с вами через свобод-*

*но избранные советы. Дайте нам гражданские свободы, гарантируйте свободу выборов в советы, пусть эти свободно избранные советы соберутся и разрешат наш спор. Мы этому решению подчинимся».**

Как видим, даже в изложении Крыленко позиция эсеров выглядит достаточно ясно. Они не враги Советов как власти трудящихся. Они лишь враги такого положения, когда одна партия, силой захватив власть, навязывает себя Советам, не дает трудящимся возможности свободно выбирать в Советы наиболее желательных кандидатов.

Большевики, конечно же, отвергли предложение эсеров, что Крыленко оправдывал «теми политическими и стратегическими условиями, в которых тогда находилась Советская Россия».**

Почему в критической ситуации великим народом должны руководить не свободно выбранные им представители, а кучка самозванных «выразителей» «интересов рабочего класса», Крыленко не объяснял, хотя в одном он был, несомненно, прав: положение большевиков в 1919 году действительно было критическим.

Однако в 1921–22 годах ситуация стала иной. Гражданская война окончилась. Стремясь как-то наладить жизнь в голодающей стране, большевики отказались от мысли о немедленном введении социализма; они взяли курс на новую экономическую политику (НЭП). На международной арене они стали добиваться признания Советской России, прилагали усилия к получению иностранных концессий. Столь привычный для них язык пулеметов приходилось менять на обычный человеческий язык, которым они владели намного хуже. В этих условиях оправдывать дальнейшее сохранение диктатуры одной партии становилось всё труднее — во всяком случае, до тех пор, пока существовала другая партия, да не «буржуазная», а социалистическая, которая критиковала правление большевиков и предлагала свое решение стоявших перед страной проблем. Надо было окончательно ликвидировать эсеров как возможного политического противника и конкурента.

И вот 28 февраля 1922 года в большевистской печати появилось следующее сообщение:

* «Известия», 30 июля 1922 г.

** Там же.

От Государственного Политического Управления.

Сообщение о контрреволюционной и террористической деятельности партии социалистов-революционеров.

В распоряжение Главного Политического Управления в последнее время поступил ряд важных и ценных материалов, подтверждающих имевшиеся давно сведения о террористической и боевой деятельности партии с.-р. в годы гражданской войны. За границей на днях опубликована брошюра Г. Семенова (Васильева), бывшего начальника центрального летучего отряда п.с.-р. и руководителя террористической группы, организовавшей покушение на советских вождей, в частности на тт. Ленина, Троцкого, Зиновьева, Володарского, Урицкого, и ряда экспроприаций. В этой брошюре, вышедшей под названием «Военная и боевая работа п.с.-р. в 1917–1918 гг.», сделаны обширные разоблачения о действительной роли п.с.-р. в гражданской войне и ее методах борьбы с Советской властью. Печатаемый ниже документ — показание одного из бывших крупных деятелей п.с.-р. Лидии Коноплевой, подтверждает данные брошюры Семенова.

Ввиду того, что имеющиеся в распоряжении Государственного Политического Управления материалы с несомненностью устанавливают преступления п.с.-р. перед пролетарской революцией, центральный комитет этой партии и ряд ее активных деятелей предаются суду Верховного Революционного Трибунала.

Государственное Политическое Управление призывает гражданина Семенова (Васильева) и всех с.-р., причастных к деяниям этой партии, но понявших преступные контрреволюционные методы борьбы, явиться в суд над партией социалистов-революционеров.

Президиум Главного Политического Управления.

Москва, 27 февраля 1922 года*

В том же номере «Известий» и в «Правде» были опубликованы обширные показания Лидии Коноплевой, которая давно уже находилась под арестом. В них говорилось об организации покушения на

* «Известия», 28 февраля 1922 г.



Лидия Васильевна Коноплева и Григорий Михайлович Семенов (Васильев)

Ленина, Урицкого, Володарского, то есть подтверждались все те обвинения, которые большевики постоянно выдвигали против эсеров, но которые сами эсеры решительно отвергали.

А на следующий день в «Известиях» стала перепечатываться брошюра находившегося в эмиграции Г. Семенова (Васильева), в которой с подробностями излагались те же факты, что и в показаниях Коноплевой.

То, что ЧК и ГПУ умеют выколачивать из некоторых подследственных нужные «признания», уже в то время не было слишком большим секретом. Поэтому показания Коноплевой немного стоили. Однако брошюра Г. Семенова оказалась потрясающей сенсацией. Как проникли к нему агенты Дзержинского, какими угрозами и посулами заставили совершить предательство — это долго еще будет оставаться тайной — до тех пор, пока не станут доступными для исследователей самые секретные архивные фонды КГБ. В одном лишь не может быть никакого сомнения: брошюра Семенова была так же инспирирована ГПУ, как и показания Коноплевой. В одновременности их появления, как и в том, что в предисловии к «исповеди» Семенова употреблена та же формулировка, что и в сообщении ГПУ («...по первому требованию Верховного Революционного Трибунала сочту себя обязанным вернуться в Советскую Россию и понести заслуженное наказание»*) видна работа режиссера, оставшегося за кулисами.

Карты организаторов процесса были несколько спутаны теми шагами, какие Советское руководство предпринимало на международной арене. В Берлине пытались договориться о единстве дей-

* Известия, 1 марта 1922 г.

ствий представители трех интернационалов: Второго, Третьего и так называемого Двухполовинного (Венского), промежуточного между Вторым и Третьим. Когда появилось сообщение о предстоящем процессе над эсерами, партнеры по переговорам заявили представителям Коминтерна, что подсудимым должно быть дано право свободного выбора защитников и, кроме того, должны быть даны гарантии, что им, по крайней мере, будет сохранена жизнь; в противном случае соглашение о единстве действий трех интернационалов окажется невозможным.

Разумеется, ни о каком единстве с западными социалистами большевики не помышляли. Но переговоры им были важны как средство, позволяющее «разоблачать» перед рабочими Запада «оппортунизм и предательство» социалистов-соглашателей.

Делегацию Коминтерна на совещании представляли Н. И. Бухарин и Карл Радек. Они поторопились дать требовавшееся от них обязательство, за что тотчас получили выволочку от Ленина, который квалифицировал предоставление обвиняемым права на защиту и согласие сохранить им жизнь как *«политическую уступку, которую революционный пролетариат сделал реакционной буржуазии»*.*

Тем не менее, Ленин не считал возможным аннулировать подпись III Интернационала под достигнутым соглашением.

Социалисты западных стран направили на процесс своих защитников, и советские власти вынуждены были допустить их к участию в суде. В качестве адвокатов решили выступить крупнейшие представители международного рабочего движения: председатель Второго интернационала Эмиль Вандервальде, Теодор Либкнехт и Курт Розенфельд.

Люди эти были известны всему миру: десятки лет их деятельность привлекала к себе внимание широкой общественности.

Но это не помешало большевистским газетам обрушить на них поток самой непристойной брани. К их приезду в Москве была проведена особая подготовка.

|| *«К вокзалу стекаются рабочие, работницы и пролетарская молодежь Москвы, — живописали «Известия». — Вот перед группой рабочих плакат:*

* «Известия», 11 апреля 1922 г.

- Долой Соглашателей!
- Долой предателей рабочего класса!
- Они нам ненавистны!

... На пути проезда Вандервальда устанавливаются шпалеры рабочих с многочисленными плакатами: «Адвокат контр-революции г. Вандервальд, когда же вы будете перед судом трибунала?» «Теодору Либкнехту: «Каин, Каин, где твой брат Карл?», «Теодор Либкнехт, брось защиту недостойных, не позорь славных вождей рабочего класса, Вильгельма и Карла Либкнехта!»

... Перед Вандервальдом и его спутниками, как только они вышли на привокзальную площадь, предстал плакат с изображением красного слона и лающих на него двух маленьких желтых мосек. Вслед за этим к ногам Вандервальда работницами был брошен букет из крапивы и желтых увядших болотных цветов, воздух огласился свистками, ироническими возгласами. С подавленными улыбками, скрестивши руки, Вандервальд и его спутники уселись в закрытый автомобиль. Дежурившая у вокзальной площади конная милиция с трудом проложила дорогу автомобилю Вандервальда, вслед которому долго неслись свист и улюлюкание».*



На следующий день Вандервальде и его спутники посетили наркома юстиции Д. И. Курского и вручили ему декларацию. Они благодарили советские власти за защиту, но в то же время указали, что «при-

* «Известия», 27 мая 1922 г.

*нятые полицейские меры оказались бы лишними, если бы в коммунистической прессе ... не помещались статьи, рисующие нас изменниками делу социализма, врагами русской революции и сообщниками контрреволюции за то только, что мы согласились взять на себя защиту обвиняемых в московском процессе... Дело идет не о том, чтобы спасти от заслуженного наказания людей, являющихся в действительности виновными. Но в настоящем процессе предстоит именно выяснить, виновны ли обвиняемые в инкриминируемых преступлениях».**

Но подобные «увертки оппортунистов» не могли, разумеется, воздействовать на настроение обрабатывавшихся в течение многих месяцев «широких масс пролетариата».

Судилище продолжалось почти два месяца.

34 подсудимых резко делились на две группы. В первую входили А. Р. Гоц, Е. М. Тимофеев, Д. Д. Донской, М. А. Лихач и другие члены ЦК партии эсеров. Они отрицали правомочность суда и называли его не иначе, как «расправой временно победившей партии над временно побежденной партией».

Вторую группу составляли Г. Семенов (Васильев), Л. Коноплева, К. А. Усов, Ф. Е. Ставская и ряд других действительных или мнимых членов боевой организации. Они охотно признавали себя виновными во многих злодеяниях, в том числе в подготовке и осуществлении покушений на Ленина, Урицкого, Володарского, Троцкого, Зиновьева. При этом они утверждали, что действовали с ведома и по заданию ЦК партии эсеров.

Защитники тоже делились на две группы. Н. И. Бухарин, М. П. Томский и ряд других видных большевиков взяли на себя защиту второй группы обвиняемых — тех, кто признавался в подготовке и совершении злодейских убийств. Бухарин и его товарищи по защите считали, что поскольку эти люди раскаялись, они заслуживают всяческого снисхождения.**

Другую группу адвокатов составляли защитники членов ЦК. В нее входили иностранные социалисты, а также некоторые беспартийные адвокаты, известные еще с дореволюционных времен. Председатель-

* «Известия», 28 мая 1922 г.

** «Известия», 3 июня 1922 г.



Слева направо: Г. Л. Пятаков, Н. В. Крыленко, М. Н. Покровский, А. В. Луначарский

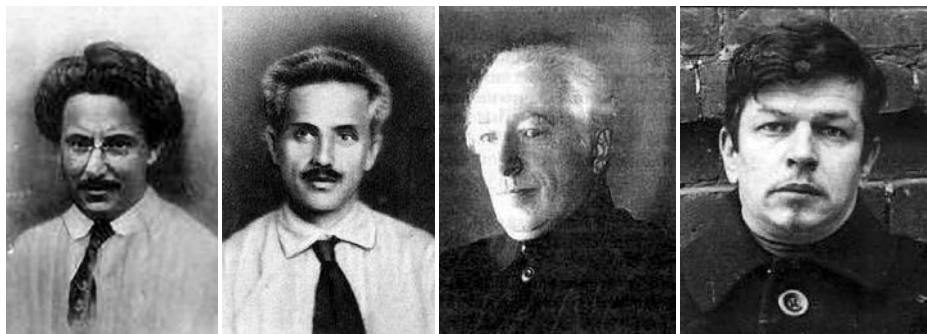
ствовавший Г. Л. Пятаков при открытии процесса заявил, что все эти защитники хотя и допущены к участию в процессе, но «не пользуются доверием суда».

Главным обвинителем выступил Н. В. Крыленко. Обвинителями были также А. В. Луначарский, М. Н. Покровский и другие известные большевистские ораторы.

Иностранные социалисты, с одобрения обвиняемых, уже через неделю демонстративно покинули процесс, заявив, что не считают возможным участвовать в суде, где чинится расправа, а не выясняется истина. Еще через неделю, с одобрения подзащитных, заявили о своем уходе и другие защитники членов ЦК, так что в итоге партия эсеров осталась совсем без защиты.

То, что обвинение шито белыми нитками, организаторы процесса скрыть не могли. Г. Семенов (Васильев) показывал, что сам был инициатором и организатором большинства террористических актов, которые якобы подготавливала и совершала его «боевая организация». Что же касается членов ЦК, то они, по признанию самого Семенова, либо возражали против проведения этих актов, либо отвечали неопределенно.

Впрочем, когда Гоц, Донской или Тимофеев просили уточнить, когда, где и при каких обстоятельствах Семенов обсуждал с ними эти вопросы, тот сбивался и настолько запутывался, что становилось ясно: никаких обсуждений вообще не было. В обвинительной речи, построенной почти целиком на показаниях Семенова, прокурор Крыленко должен был долго распространяться о несовершенствах человеческой памяти, которая может упускать «детали», из чего не следует, что ей нельзя доверять «в главном».



Слева направо: А. Р. Гоц, Е. М. Тимофеев, Д. Д. Донской, М. А. Лихач

Однако о том, что «процесс» был заранее подготовленной комедией, яснее всего говорит даже не ход разбирательства, а приговор и опубликованное одновременно с ним постановление ВЦИК.

Как и следовало ожидать, большинство подсудимых были признаны виновными в терроре, шпионаже, проведении диверсий и приговорены к смертной казни. Но одновременно суд «возбудил ходатайство» о смягчении приговора «раскаявшимся» боевикам, а президиум ВЦИК, рассмотрев это ходатайство с молниеносной быстротой, постановил не только сохранить им жизнь, но и немедленно освободить из-под стражи. Эта сверхъестественная «милость» к «убийцам» большевистских вождей ясно изобличала сговор между судьями и судимыми провокаторами. К тому же, сразу после суда, помилованные эсеры-убийцы получили большевистские партбилеты и были направлены на различные партийно-государственные должности.*

Что касается не раскаявшихся членов эсеровского ЦК, которые если и признавали себя виновными, то только в том, что в борьбе с большевиками не были последовательными и отдавали ей недостаточно сил, то вынесенный им смертный приговор ВЦИК утвердил. Однако исполнение его было отложено на неопределенный срок. Эту дань большевистское руководство должно было заплатить за подписи, поставленные в Берлине Бухариным и Радеком от имени Третьего

* Так, Фаина Ставская, сразу после суда была направлена на партийную работу в Крыму, где познакомилась с В. Е. Баранченко и вскоре стала его женой.

Интернационала. Однако и из сохранения жизни лидерам эсеровской партии большевики извлекли максимум возможной политической выгоды. В решении Президиума ВЦИК разъяснялось:

«Если партия социалистов-революционеров фактически и на деле прекратит подпольно-заговорщическую, террористическую, военно-шпионскую, повстанческую работу против власти рабочих и крестьян, она тем самым освободит от высшей меры наказания тех своих руководящих членов, которые в прошлом этой работой руководили и на самом процессе оставили за собой право ее продолжать.»

*Наоборот, применение партией социалистов-революционеров методов вооруженной борьбы против рабоче-крестьянской власти неизбежно приведет к расстрелу осужденных вдохновителей и организаторов контр-революционного террора и мятежа».**

Таким образом, лидеров эсеровской партии оставили в качестве заложников. Они могли быть расстреляны в любой день и час, когда большевикам вздумалось бы заявить, что эсеры «продолжают» борьбу с ними.

Этот приговор окончательно парализовал волю эсеров к борьбе. В январе 1924 года, убедившись, что эсеры больше не представляют никакой опасности, Президиум ЦИК СССР заменил смертный приговор заложникам пятилетним заключением.

Так был закончен этот судебный спектакль, оказавшийся лишь репетицией к другим, более пышным и грандиозным инсценировкам, в которых принимали участие многие из тех же лиц, но уже в других ролях.

Во второй половине 30-х годов Пятаков, Бухарин, а чуть позднее и сам Крыленко вынуждены были «признаваться» в «шпионско-диверсионной», «террористической» и иной «преступной» деятельности против «власти рабочих и крестьян». К сожалению, мы никогда не узнаем, вспоминали ли они, делая эти признания, давний процесс эсеров; сознавали ли, что являются жертвами той страшной системы, которую сами же создавали.

* «Известия», 9 августа 1922 г.

ДОБАВЛЕНИЕ 2021 ГОДА:

После отбытия пятилетнего срока заключения каждый из осужденных членов эсеровского ЦК, постановлением ГПУ отправлялся в ссылку на три года; затем ссылка продлевалась и фактически стала пожизненной. В 1937-м году те из ссыльных эсеров, которые до него дожили, были снова арестованы, обвинены в «антипартийной», «террористической», «шпионской» деятельности и тотчас расстреляны. Такая же участь постигла и другую группу обвиняемых, то есть «раскаявшихся боевиков», ставших большевиками-ленинцами. Их поснимали с партийно-государственных постов, арестовали и присудили к высшей мере. В числе расстрелянных Лидия Коноплева, Григорий Семенов, Фаина Ставская и остальные «боевики», не успевшие к тому времени умереть.

На сегодняшний день все участники той драмы — и жертвы, и палачи — «полностью реабилитированы за отсутствием состава преступления».

Стефано БЕННИ

СКАЗКА О КОНЦЕ СВЕТА

— Папа, ты расскажешь мне сказку о людях двухтысячных годов?

— Расскажу. Но после этого ты будешь спать, договорились?

— Договорились.

— Ну так слушай. В двухтысячных годах у людей чего только не было: снотворное, чемпионат по футболу, показы мод, силикон, компьютеры...

— А пицца у них была?

— И пицца была. Но, несмотря на всё это, их жизнь постепенно становилась всё хуже и хуже. И всё не закончилось бы так печально катастрофой, сообрази они вовремя, к чему всё идет и попытались бы изменить что-то в своем образе жизни. Но к этому времени они уже свыклись с мыслью, что история подобна автомобилю, который с каждым разом должен быть круче и современной, хотя дорог, по которым он был бы способен ездить, становилось всё меньше и меньше. Окружающая среда и погода сошли с ума, но люди, казалось, радовались тому, как один за другим падали температурные рекорды по жаре и холоду. Метеорология стала единственным видом спорта, в котором показатели постоянно росли, и никто не требовал принятия антидопинговых мер. Дышать в городах становилось всё проблематичней: практически весь воздух был приватизирован. Те, кто располагал большими деньгами, пользовались баллонами с горным воздухом. Молодежь носила на плече модные рюкзаки с колбами, наполненными дыханием любимых рок-звезд. Население победнее довольствовалось дешевыми накопителями воздуха, позволявшими делать четыре вдоха в минуту. Периодически случались засухи. Сельское хозяйство пришло в беспорядок, ученые придумывали всякую ерунду, типа всесезонного сельдерея или свиней с ручками для их переноски.

— Мой дружок Понди, который очень много знает, потому что живет в старой библиотеке, сказал мне, что в двухтысячных годах люди больше всего боялись трех вещей: миксеров, морщин на лице и скваттеров.*

— Вот именно! Тогда никого не волновало, что банки, строительные компании или промышленные группы захватывают целые города, сносят целые кварталы, делают их непригодными для жизни. Но когда слышали, что кто-то занял пустующий дом, приходили в бешенство и выли словно гиены. В общем всё пошло кувырком — через одно место — наступил сплошной хаос. Транспорт становился всё медленнее и непредсказуемей. Поскольку в моду вошли эзотерика и гадания, газеты публиковали расписания самолетов и поездов, основываясь на показаниях карт Торо. Кое-кто отправлялся в аэропорты только для того, чтобы провести там всю ночь, обменявшись парами... А еще было много пожаров.

— И как их гасили?

— Кто как, в основном, задували. Как только начинался большой пожар, все начинали ругаться друг с другом: региональные власти обвиняли в нем министра, министр — региональные власти, а затем каждый и все вместе обвиняли внезапно задувший сирокко. Армия не помогала, сидела в казармах, охраняя фикусы своих полковников.

— И это все проблемы?

— Нет. Были и посерьезнее. Атомные бомбы по-прежнему готовы были взорваться, но существовали скорее как средство сдерживания, войны становились всё более технически оснащенными, торговцев оружием называли экспортерами военных технологий. Только убитых упрямо продолжали называть убитыми. Отчаявшиеся люди из бедных стран пытались найти убежище в богатых странах. Но получали пинок под зад и возвращались домой. Потому что богатые страны боялись всего: африканского комара, азиатской биржи, черных, за исключением футболистов, белых, за исключением русских. Поэтому придумали магическую фразу: чрезвычайная ситуация, или ЧС. Озоновая ЧС, пожарная ЧС, мафиозная ЧС, иммигрантская ЧС. Чрезвычайные ситуации означали: «Без паники, это скоро закончится!». В конце концов, дело закончилось объявлением Чрезвычайной ситуации в связи с Чрезвычайной ситуацией, и люди перестали выходить из дома.

* Люди, самовольного заселяющие покинутые или незанятые здания

— И никто не протестовал против такого?

— Конечно, протестовали. Снимали осуждающие власти фильмы-катастрофы, устраивали благотворительные концерты и конгрессы ученых, на которых каждый из участников выражал тревогу по поводу сложившейся ситуации. Это было забавное зрелище, кто-то кричал в финале: гол!, кто-то клекотал орлом, после чего довольные расходились по домам. А так телевидение транслировало сотню каналов, и на каждом были одни и те же лица. И люди говорили: раз уж они всё время на экране, значит с ситуацией в стране всё в порядке. Может быть, если бы они увидели, как ведущего охватило пламя, или некоего политика смыло волной, или посреди викторины показали, как тонет лодка с беженцами, кто-нибудь и забеспокоился бы. Но страсти-мордасти показывали только в новостях, которые теперь воспринимались как дурной анекдот.

— И чем всё это закончилось?

— Я же тебе уже рассказывал. Однажды растаял Северный полюс, и море поднялось на семь метров. Всё затонуло за тридцать секунд прямо в прямом эфире. Остались только плавающие обломки и плот с каким-то дискотечным диджеем и албанцем, которые успели на него забраться. Затем всё стихло. Спаслись только мы, и жизнь на Земле продолжилась.

— Стало быть, папа, мне очень повезло, что я родился мышью.

— Да, сынок. Кстати, ты выучил уроки на завтра?

— Конечно. В истории эволюции мышей можно выделить три основных периода: неандертальский, симментальский и теперешний эмментальский.*

— Умница! Я горжусь тобой. А теперь давай спать. Спокойной ночи.

* По названию сыров

Виктор ДАЛЬСКИЙ

БРЕДНИ КАРАНТИННОГО ПЕРИОДА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

История эта сравнительно недавно приключилась, по соседству. Жили-были два брата-близнеца. Никто их с детства отличить не мог, даже мать родная. И потому подарила им два одинаковых браслета, одному — малахитовый, другому — аметистовый. Братья с детства смекалистые были, быстро сообразили, как подарками правильно пользоваться. На свидания друг вместо дружки ходили и экзамены сдавать, да и старенькую бабульку дурачить любили. Проще простого было, браслетами махнулись и готово дело...

...Женились тоже на близняшках, в один и тот же день и час. И стали жить-поживать. А между делом родную науку — биологию — прославлять. С вирусами успешно бороться, инфекциями разными. И так случилось, что после международного симпозиума в Женеве одного в Калифорнию работать пригласили, где он и осел, а второй так и остался на исторической родине, на берегах Невы. Но скучал каждый по половинке своей отчаянно, по телефону братья чуть не ежедневно беседовали, и в отпуск встречались каждый год — то в Европе, то на всём готовом — в Мексике или Доминикане. И, понятное дело, не только выпивали там и закусывали, но и на политические темы жарко беседовали, хотя и договорились не заводитьсь сверх меры. Иногда, случалось, так расходились, что крепко ссорились, однажды полгода не разговаривали. Насилу жёнушки спорщиков помирили.

И вот однажды приехал меньшей погостить, в Америку. И где-то перед самым его возвращением домой, приговорив на двоих штоф виски, братья опять не удержались — к политике обратились.

И молвил один: «А президент-то вновь избранный — того, слабак. На ногах едва стоит, в именах путается, и сынок его на Украине взят-ток нахватал. Сам — марионетка и страна в тупике — на грани развала, во власти недоумков и невежд».

И отвечивал второй: «Спорить не стану, всё правда. А тот, другой, что тебе по вкусу — пахан в законе и свобод душитель! Вся страна в страхе — кого отравили, кого в тюрьму засадили, кой-кого из страны насильно выдавили. Воры в законе легализованы. И страну, ресурсами богатейшую, под его водительством олигархи придворные разворовали...»

«Но зато он — лидер, настоящий мужик. В прорубь ныряет, со стерхами летает, и в ночном хоккее шайб поболее олимпийских чемпионов забрасывает! Его полстраны уважает».

«Зато вторая и свободный мир ненавидят. Даже в Давос не приглашают, не то, что в Белый дом. Нерукопожатный он, только диктаторы кровавые с ним дружбу водят».

«Так-то оно так, но и эта страна в пропасть катится. Многое непоравимо. До чего дошли — полицейские комиссары на колени перед бандитами шмякаются, ботинки целуют. И толерантность грёбаная до чего довела — все друг перед другом грешны и репарацию требуют. Чистый идиотизм! А Конгресс карикатурный какой — чистый дом престарелых, болото затхлое. Молодую порось ни в жизнь к кормушке не подпустят, только когда мастодонты вымрут...»

«А в России что, дума не посмешище? Зоопарк! Горлопан вечно-го призыва — народу на потеху, боксёр с лицом убийцы, фигуристка недалёкая. И ещё эта — гимнастка каучуковая из варьете, чудеса политической гибкости проявляет. Хотя ей подобные выкрутасы не в диковинку — с детства прогибаться учили. Пенсионерам на копейки, потом и кровью заработанные, не прожить. Наука в захирении, все деньги на оборонку кидают. Своего, считай, ничего конкурентноспособного не производится, один пшик. Молодёжь, кто не спился, поголовно в загранке, на заработках».

«А тут-то благотворительность в почёте, на культуру жертвуют, бездомных кормят, жильё им бесплатное предоставляют и медицину».

«Ну, да, а они как валялись на улице, так и валяются, пейзаж городской да воздух портят, а жильё своё сдают и деньги на наркоту пускают».

В общем, спорили они — спорили, и у каждого свои неотразимые аргументы были. И орали друг на друга, и обзывали по-всякому отборно, и по столу кулаками молотили. Так незаметно и вторую бутылочку отборного Макаллана к штофу под стол отправили. И как-то так вышло, доподлинно неизвестно, что спровоцировало, младшенький предложил странами проживания поменяться. Отличить их невозможно, и биологи оба, а браслетами и поменяться недолго, как в детстве. Добавлю, чтоб понятнее читателю было, каждый свою страну последними словами охаивал, а чужую — едва ли не до небес восхвалял. Невероятно, но факт.

Словом, ударили по рукам, инструкции по выживанию на новых рабочих местах написали, браслетами поменялись, паспортами да ключами от машин, обнялись- прослезились... Да вот ещё, напомнили друг другу, что у питерской близняшки родинка под правой грудью, а у американской — наоборот, над левой. На дорожку присели и в аэропорт покатали, благо американская жена в командировке заграничной была.

И стали жить-поживать в полном с собой согласии, хотя и недолго. У нового русского одной бессонной белой ночью внезапное прозрение наступило. Бросился в одночасье единокровному звонить. Но поправить, как ни старался, ничего не удалось. Новый американец рогом упёрся, ослом заупрямился. И климат ему в Калифорнии нравился, и бенефиты рабочие. Да и к жене новой сильно прикипел — умнице и разумнице. И не стерва, как законная.

УПЁРТЫЕ СОСЕДИ

Случай этот совсем недавно произошёл — в нашем доме, во время эпидемии.

Столкнулись у лифта двое соседей — назовём их **Он** и **Она**. Оба — почтенного возраста, давно друг друга знающие. И ждали лифта, а тот всё не приходил, застрял, видно, между этажами. А может, задержался, пока другие жильцы тележки с продуктами и всякой всячиной неспешно разгружали. Наконец, лифт приехал и двери свои распахнул. И тут-то всё началось.

При пандемии строго-настрого разрешено было в лифте по одному только перемещаться. А тут сразу двое — заслуженных, законных

претендентов. И оба устали и раздражены, и каждый на первенство претендует...Ну и начали оба одновременно права качать да доказывать. Упёртые оказались индивидуумы.

«Это я должен первый ехать!», — доказывал **Он**. «Я первый свою тележку прикатил!» «Э, нет, так у вас не выйдет!» — веско возражала **Она**. «Я — женщина, нам в нашей стране почёт и уважение. И право первого проезда!»

«Давайте-ка без демагогии, милочка!», — начал распалиться **Он**. — Я — старше, ветераны — вне очереди!» И начал уж было в лифт протискиваться.

«Накось выкуси!» (*это я с английского перевожу.*), — успела оттеснить конкурента **Она**. — Ещё неизвестно, кто моложе. Это я сохранилась неплохо, выгляжу хорошо. А на деле — мне скоро сто!» И ужаснувшись сказанному, с силой отбросила **Его** тележку своей, тяжело гружёной. И покатались овощи и фрукты вместе с куриными ножками...

«Ах ты, клюка старая!» — пуще прежнего распалился **Он**. — «Я те сейчас покажу, как мои покупки выбрасывать!» — и недвусмысленно показал — фу, не по-джентльменски, решительно осуждаем! — соответствующий оттопыренный палец. И не только показал, но и недвусмысленную фигу к груди Ее приставил.

«Ах, вот ты как?», — вздыбилась **Она**. — На личности переходить? Хулиганить?»

И пошло-поехало!.. Едва до драки не дошло.

Видя такое, подтянувшиеся к лифту другие жильцы пытались любыми средствами это безобразие и позор дома прекратить. И просили, и урезонивали, и, с риском для жизни, пытались разнять. Ничто не помогало, а только ещё больше градус сражению добавляло. И, не видя иного выхода, кто-то догадливый решил в полицию позвонить — 911.

...Вот такая история в нашем доме случилась. Не лишним будет добавить — лифтов в доме три, и за время, что эти двое препирались да сражались за право именно в тот, первый подъехавший, войти, несколько жильцов два оставшихся использовали.

Ну что тут скажешь? Пандемия...

И НАСТАЛО ВРЕМЯ ЗВЕРЕЙ

В некой далёкой стране, в период всеобщего карантина, люди были наглухо заперты в домах и квартирах, а особо привилегированные — бездомные — в фешенебельных гостиницах. Улицы опустели, и мало-помалу власть в городах взяли дикие животные. Сначала просто бегали взапуски по пустынным улицам и плескались в фонтанах, потом — начали мародёрствовать и пьянствовать, разграбив пустующие магазины и базы. И тогда собрание царей зверей приняло соответствующие жёсткие меры.

Львы и озверевшие от людей волкодавы служили полицейскими; немедленно загрызали и бросали на растерзание проголодавшихся мародёров и нечистых на лапу жуликов, антилопы-гну и лоси, запряжённые в тройки с бубенцами, в форменных фуражках, колесили по городу взад-вперёд вместо автобусов и такси. Специально отобранные, самые упёртые бараны и ослы стояли на въезде в город вместо шлагбаумов и неподкупно боролись с контрабандой нелегального алкоголя и стероидов для повышения мелкого пищевого поголовья.

Волки в овечьих шкурах и чепцах с красными крестами — работали санитарями. Жирафы — светофорами и регулировщиками движения звериных потоков. Голуби и страусы организовали курьерскую почтовую службу. Дятлы — службу информации и оповещения. Пони и обезьяны за бесценок выкупили у владельцев цирки, театры и ночные клубы, где развлекали посетителей различного рода шоу и танцами со стриптизом. Бурые медведи служили у них гардеробщиками и швейцарами, лисы — билетёрами, попугаи — конферансье.

Кенгуру на рынках торговали диковинными товарами из своих сумок, хомяки отвечали за расфасовку и складирование продуктов, а прожорливые гиены и шакалы неустанно следили за чистотой улиц, подчистую уничтожая отходы и ошмётки. И, приходится признаться, получалось у зверей гораздо лучше, чем у людей.

... Слоны, бараны и ослы заседали в законно избранном, без подтасовок, сенате, где был принят целый ряд жизненно важных звериных законов. И куда, как почётный председатель, единственным представителем двуногих, с помпой был принят всемирно известный президент соседней процветающей страны мистер Рональд Трак — основа-

тель теории импульсивных движений и полемики по правилам джунглей. Скоро, однако, был оттуда с позором изгнан — за неприкрытое хамство и кумовство.

В общем, «ни в сказке сказать, ни пером описать...» — какой порядок был. Почти всеобщее благоденствие. И маленьких зверюшек бесплатно подкармливали, и поголовную бесплатную медицину животному миру обеспечили. И даже мясные и овощные пайки многодетным матерям и одряхлевшим собратям регулярно выдавали.

Но тут, на беду, карантин отменили и люди, пусть с огромным трудом и при помощи второй поправки в Конституции, сумели у зверей свои территории отвоевать. И что из этого получилось? Сами знаете, особенно жители мегаполисов. По сторонам оглядитесь...

ПЕТИЦИЯ

Разные слои населения от эпидемии пострадали. Целые отрасли так и не оправились, обанкротились. Другие кое-как удержались на плаву, и, чтобы выжить, на государственную помощь уповали. Была среди таких и национальная ассоциация проституток и девиц лёгкого поведения по вызову «Ненапрасный труд». И издали дамы единодушный отчаянный крик о помощи, написав коллективное письмо вышестоящим органам.

Президенту страны уважаемому Эндрю Терра Инкогнито
Губернатору нашего имперского штата Ипполито де Пласидо
Директору банка «Последняя надежда» Артуру Палмеру
Уважаемые господа! Отцы нации! Мужчины!

Крайняя нужда вынуждает просить о немедленной помощи и поддержке наших малых, находящихся в трагическом упадке, частных бизнесов-предпринимательств и обществ с ограниченной сексуальной ответственностью. Уже полгода тела наши и рабочие приспособления простаивают, отчего сильно запылились, потеряв былую производительность, эластичность и форму.

Сегодня, когда населению приказано соблюдать социальную дистанцию, не снимать перчаток и масок, а зачастую и галош, невоз-

можно стало профессионально выполнять свои профессиональные обязанности, заниматься любимым делом. А каковы перспективы? Бесконтактный дистанционный секс привел к обилию конкуренции со стороны неумелых безработных любительниц приключений, готовых безлицензионно удовлетворять примитивные плотские запросы наших клиентов по бросовым ценам...

В таких нечеловеческих условиях даже мы — виртуозы своего дела — в сексуальном упадке, на грани банкротств, климактерических расстройств и депрессии. Полностью утрачена мотивация к совершенствованию трудовых навыков. И абсолютно нечем платить рент, кроме натуры. И, пользуясь моментом, сволочи-сутенёры и вышибалы в матерной форме постоянно требуют деньги бесплатного секса — с извращениями и до изнеможения. А нам себя для рядового посетителя и вас, господа во власть выбранные, лелеять и беречь надобно.

...Хотим особо напомнить и подчеркнуть, именно мы, чей девиз «Нет табу на секс!», не жалея сил и времени, всегда стояли на переднем фронте отрасли сексуальных развлечений, верой, правдой и телами самозабвенно служа делу неотложных потребностей трудового населения и политиков высшего эшелона. Безотказно, по первому заказу и вызову, в любое время дня и ночи, независимо от природных катаклизмов, засухи и забастовок на транспорте, добившись идеального соответствия количества сексоискателей и давателей.

Убедительно просим сжалиться, войти в положение, не погубить, не дать пропасть нашим многогранным талантам, призванию и дорогостоящему инструментарию. Срочно выделите займы, предусмотренные государством на поддержку малых бизнесов, кои необходимы на проведение интенсивных тренировочных занятий, санацию инвентаря и рабочих мест, презервативы и постельное бельё.

Мудрейшие и глубокоуважаемые отцы страны и региона! В связи с колоссальными нашими потерями и обнищанием клиентов также умоляем, дайте статус благотворительных организаций и освободите на год от уплаты непосильных налогов. И не забудьте про гранты на развитие нашей экспериментальной школы начинающих эскортниц «Делай как я, делай лучше. Твори!» Талантливой молодёжи жизненно необходимы регулярные медосмотры, наглядные пособия, секс-игрушки и стажировки у легенд бизнеса. А нашему древнему, как мир, бизнесу — возможность цвести и процветать!

С надеждой на лучшее, человечность и приятные воспоминания,

Члены ассоциации «Ненапрасный труд»

— подписи, фото в кружевных negligé и адреса.

ОБ АВТОРЕ

Виктор Дальский (Рашкович) — литератор, сценарист, драматург. До эмиграции публиковался как сатирик в «Литературной газете» и других изданиях. По его сценариям снято немало телевизионных и документальных фильмов. Перевёл на русский язык популярные английские пьесы, с успехом идущие в ведущих театрах России, Украины, Беларуси.

Ещё в России он начал активно работать в качестве импресарио. В 1993-м, после переезда в Нью-Йорк, стал со-основателем (с А. Журбиным) и директором первого в стране русско-американского театра «Блуждающие звёзды». Он — президент основанной им компании *Lege Artis Entertainment*, которая успешно продюсировала гастроли в США, Канаде и Европе израильского театра «Гешер», известных российских театров и актеров. Он неоднократно и успешно сотрудничал с нью-йоркскими международными фестивалями искусств.

— Так, что же ты хочешь, старый скот? — не глядя на посетителя, прохрипел подполковник из Ленинграда, и дед добросовестно перевёл немцу эти слова.

— Я прошу порядка и справедливости, — с достоинством отвечал тот, стараясь не обижаться на раздражительных бойцов Красной армии. — Я настоятельно прошу вернуть мне зеркало. Это зеркало старинной работы и очень ценно.

— Хаим, — вновь заскрипел зубами господин комендант, — у меня нет сил разбираться с ним. Возьми его, Хаим, и сделай с ним, что хочешь.

Михаил Гончарок

— Это кто такой? — тихо спросил Кончак, не отводя взгляда от человека на столе.

— Ваш клиент, — прошипел ему в ухо Петухов.

— Вы что, хотите сказать, что опыт будет проводиться на живом человеке?

— Именно так.

— Но ведь он же... умрет.

Внутри у Кончака все похолодело.

— Скорее всего, — ответил Петухов.

— Но ведь это незаконно!

— Послушайте, Кончак, бросайте эти ваши буржуазные штучки! Законно-незаконно... Вам за это ничего не будет!

Майк Логинов

*А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси...*

Юрий Нестеренко

— Ты свалил за бугор, ты продал родину, ты враг. Ты мой личный враг, понял? У тебя сегодня утром в номере уборщица найдёт оружие и взрывчатку. Вызовет полицию. При свидетелях и понятых проведут обыск. В твоём чемодане обнаружат карту московского метро с местами готовящихся взрывов. Найдут деньги и наркотики с твоими отпечатками пальцев. В чемодане...

— Майор, — перебил я его. — Нет у меня чемодана. Нету, понимаешь? С сумкой я прилетел.

Валерий Бочков

Атомные бомбы по-прежнему готовы были взорваться, но существовали скорее как средство сдерживания, войны становились всё более технически оснащенными, торговцев оружием называли экспортерами военных технологий. Только убитых упрямо продолжали называть убитыми.

Стефано Бенни

Я знаю сына американца, погибшего, сражаясь с фашистами. Моррису Гершману, которого привезли в Россию ребенком, понадобилось 63 года, чтобы добраться домой в Америку, Двадцать четыре из них он провел в ГУЛАГе — за то, что он — американец. Зато остальные годы он потратил, доказывая советским властям, что как американец, он должен ехать домой, в Штаты.

Валерий Базаров